

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія»

*Харківський
історіографічний
збірник*

Випуск 9

Харків
Видавництво НУА
2008

УДК 930
ББК 63.3я5
Х21

*Рекомендовано до друку Вченою радою ХНУ імені В. Н. Каразіна
(протокол № 4 від 28 березня 2008)*

Редакційна колегія:

д-р іст. наук, проф. С. І. Посохов (головний редактор); д-р іст. наук, проф. В. І. Астахова; д-р іст. наук, проф. А. Г. Болебрух; канд. іст. наук, доц. В. Ю. Іващенко; д-р іст. наук, проф. О. Д. Каплін; д-р іст. наук, проф. І. І. Колесник; канд. іст. наук, проф. С. М. Куделко; канд. іст. наук, доц. О. Г. Павлова (відповідальний секретар); д-р іст. наук, проф. В. В. Петровський; д-р іст. наук, проф. Р. Я. Пиріг; доц. В. Г. Пікалов; д-р іст. наук, акад. НАНУ П. Т. Тронько

*Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8073 від 29. 10. 2003 р.
Додаток до постанови Президії ВАК України про реєстрацію від 10. 12.
2003 р. № 1-05/10 (булетень №1, 2004)*

Х21 Харківський історіографічний збірник. — Х.: Вид-во
НУА, 2008. — Вип. 9. — 262 с.

ISBN 978-966-8558-75-7

У черговому випуску наукового збірника зібрано статті з широкого кола проблем теорії та історії історичної науки та освіти.

Для викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться історіографією.

УДК 930
ББК 63.3я5

ISBN 978-966-8558-75-7

© Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна, 2008

© Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія», 2008

Розділ 1

**Проблеми теорії
та методології**

А. Г. БОЛЕБРУХ

ИСТОРИЯ ИСТОРИИ: МУКИ ПОВТОРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Хорошо известно, что историческая наука только в XIX ст. ощутила необходимость в специальной дисциплине, которая приняла бы на себя обязанность подведения итогов сделанного, его оценки и выявления круга нерешенных вопросов в познании прошлого. Такая дисциплина родилась примерно во второй четверти XIX в., но становилась долго и трудно на ноги. Во второй половине столетия уже появились некоторые обобщающие историографические труды, авторы которых (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, К.Н. Бестужев-Рюмин, В.С. Иконников, М.О. Коялович и др.) преодолели библиографические пристрастия предшественников и начали разрабатывать принципы научного анализа результатов исторических исследований.

Процесс дисциплинарного формирования историографии был существенно заторможен кризисом исторической науки в конце XIX — начале XX в., вызываемым прежде всего Первой мировой войной и социальными потрясениями (революциями, гражданской войной и т. п.). Эти потрясения заронили в сознание не только рядовых граждан, но и профессионалов-историков сомнения в возможностях исторической науки раскрыть закономерности общественного развития. Крупный либеральный историк той драматической эпохи Н. Кареев писал: «Задачи истории не в том, чтобы открывать какие-либо законы (на то есть социология), а в том, чтобы изучать конкретное прошлое без какого бы то ни было попользования предсказывать будущее, как бы изучение прошлого не помогало в других случаях предвидению того, что может случиться или наступить. Если данными и выводами истории воспользуется социолог, политик, публицист, тем лучше, но основной мотив интереса к прошлому в истории, понимаемый исключительно в качестве чистой науки, имеет совершенно самостоятельный характер: его источник в том, что мы называем любознательностью на разных ее ступенях — от простого любопытства до настоящей и очень глубокой жажды знаний» [4, с. 72]. Позже, в 1923 г., Кареев, оставшийся позитивистом, в своих воспоминаниях отразил специфику общественного отношения к истории в революционное время: «Как только началась в 1917 году революция, ко мне стали совершенно так же, как это было в 1914 году, в начале войны, обращаться с вопросом о том, в каком порядке будет протекать наша

революция. Я будто бы должен был это знать как историк, специально занимавшийся Французской революцией. Ответ я давал тот же, что и в 1914 году, история — зеркало, хорошо ли, дурно ли отражающее то, что было, но тотчас же покрывающееся каким-то матовым налетом, как только оно бывает обращено к будущему. И чаще, чем прежде, приходилось слышать вопрос: «К чему же существует эта ваша наука, и неужели вы не жалеете, что потратили жизнь на занятие такой бесплодной наукой?» [3, с. 289–290].

Кареев был последовательным сторонником понимания истории как научной дисциплины, занимающейся главным образом поиском и изучением конкретных фактов прошлого, а задачу выяснения законов социальной эволюции возлагал на социологию. Его позиция наблюдателя революционных событий, как видим, раздражала даже его знакомых, ждавших от истории более общественно активного отношения к современности.

Неукоснительное следование позитивистской доктрине уберегло Кареева от горечи профессионального разочарования, какое пришлось испытать В. Ключевскому в конце жизни, ибо он при истолковании прошлого не ограничивался исторической «любопытностью» и накоплением фактов, применяя к ним «теорию факторов», методы «социально-исторической психологии» [1, с. 28].

А в межреволюционное время Ключевский в дневниковых записях свидетельствовал, что он перестал видеть в истории иную цель, кроме простой фиксации происходящего... Как писал В.А. Муравьев, «...историческая концепция Ключевского стала отставать от нового исторического вызова. В работах самого Ключевского, в его записях, сделанных в последнее десятилетие жизни, появились, с одной стороны, элементы разлада с собственной прежней концепцией, с другой — черты его неудовлетворенности и современной ситуацией, и современной наукой» [6, с. 222]. Ту же мысль М. Нечкина продемонстрировала словами самого Ключевского: «Мы знаем, что в исторической жизни, как и во всем мироздании, должна быть своя закономерность, необходимая связь причин и следствий. Но при наличных средствах исторической науки наша мысль не в состоянии уловить эту связь, проникнуть в эту логику жизни и довольствуется наблюдением преемственности ее процессов» [7, с. 421]. Следовательно, крутой поворот, который переживала страна в начале XX в., до определенного времени — до утверждения исторического материализма господствующей доктриной — не затрагивал профессиональные интересы последовательных позитивистов, однако ученые (типа Ключевского), которые стремились не только восстановить фактическую канву событий, но и «вышить» на ней причинно-следственные «узоры», оказавшись не в состоянии понять суть происходящего, обреченно заговорили о всего лишь регистрирующей миссии своей науки.

Часть современников Ключевского и Кареева квалифицировали то, что бурлило вокруг, как «апокалипсис» (напр., М. Волошин); подобное

настроение перекинулось и на некоторых историков, которые стали писать о принципиальной непознаваемости мотивов человеческих поступков и социальных процессов вообще. Так, А. Лаппо-Данилевский в «Методологии истории» [5] преувеличивал субъективность восприятия прошлого и, следовательно, приуменьшал возможность познания реального исторического процесса.

Тем не менее, среди отечественных историков (и русских, и украинских) периода империализма набирали силу поиски выхода из теоретического тупика [10, с. 209–210], одним из них был переход на материалистические позиции в интерпретации исторических явлений.

Сложные и разнонаправленные тенденции в развитии исторической науки, острейшие дискуссии по философии истории мало способствовали становлению историографии. И только после войны, в 1960–1970-е годы, когда советская историческая наука «освоилась» с марксистской концепцией и одновременно нашла возможности избегать ее крайностей, вновь был поставлен вопрос о дисциплинарном оформлении историографии, определении ее предметных рамок. В то время общественные и гуманитарные науки приоткрыли дверь в мир самостоятельных (без опасных оглядок на партийные указания) теоретических поисков; и хотя первые опыты звучали в неперменном сопровождении заверений в верности марксистскому учению, сама логика этих разведок влекла к «еретическим» («ревизионистским», по официальной терминологии) мыслям и наблюдениям. Как удачно сформулировали это ученые исторического факультета МГУ, создание «фундаментальных, обобщающих исследований, что является важнейшей задачей исторической науки, немислимо без теоретического осмысления динамики развития общества», без «творческой [выделено мною. – А. Б.] разработки марксистско-ленинской методологии истории...» [2, с. 3].

Безусловная уверенность в познаваемости прошлого и в возможности научной мысли постоянно продвигаться по направлению к достоверному знанию, постановка крупномасштабных задач обусловили актуальность разработки теоретических проблем исторического познания и создания специальной дисциплины, фиксирующей и анализирующей процесс изучения прошлого.

Впервые в советской историографии научное определение предмета историографии дал Н. Рубинштейн в «Русской историографии» (1941 г.): «...задача историографии как истории исторической науки – не простое подведение итогов и суммирование накопленных исторических знаний – она изучает рост науки в развитии ее содержания, историю творческого пути в развитии научной мысли» [9, с. 7]. Весьма глубокое определение Рубинштейна, к сожалению, почти на полтора десятилетия «зависло» в литературе в одиночестве.

И только с середины 1950-х годов разворачивается работа ученых по формированию дисциплинарного пространства историографии.

Л. Черепнин в курсе лекций «Русская историография до XIX века» (1957), прочитанном студентам Московского университета, повторил в основном формулировку Рубинштейна, одновременно высказав весьма плодотворную мысль о том, что предмет историографии тесно связан с общим представлением о социальных функциях исторической науки. Автор сосредоточил свое внимание на вопросе о том, «что такое историческая наука, каковы ее задачи, так как лишь исходя из них, можно определить круг вопросов, стоящих перед историографией, изучающей развитие исторической науки» [12, с. 4]. В самом деле, то или иное понимание задач исторического исследования, методов исторического познания, предопределяет трактовку предмета и задач истории исторической науки, то есть историографии.

На объективном характере исторических знаний, что выступает теоретической предпосылкой выводов историографа, настаивал А. Данилов (1958).

Л. Черепнин, движимый, в частности, учебными требованиями, перечислил основные задачи историографии: 1) изучение вопроса о ходе накопления знаний, о расширении фактической основы научной работы; 2) изучение «развития техники и методики анализа исторических источников»; 3) исследование причин изменения проблематики исторических исследований; 4) выяснение теорий, с помощью которых историки изучали исторический процесс, и созданных на основе такого изучения концепций. «Историография, — заключал Л. Черепнин, — должна выяснить, как в разные эпохи представителями разных общественных групп и течений осмысливался исторический процесс и насколько они приближались к познанию объективных явлений прошлого» [12, с. 5]. Точка зрения Черепнина легла в основу оживленных дискуссий по данной теме, развернувшихся в 60 — 70-х годах; в них принимали участие С. Дмитриев, Л. Дербов, И. Ковальченко, С. Шмидт, М. Нечкина, А. Сахаров, В. Сарбей, М. Варшавчик, К. Петряев, В. Астахов и др.

Наиболее удачно обобщить и развить изложенные соображения удалось Сахарову, чьи публикации 1960 — 70-х годов были признаны научным сообществом в качестве вполне приемлемых по выводам на том историческом этапе. Он поддерживал трактовку предмета историографии как истории исторической науки, включая в сферу ее «ведения» только профессиональные взгляды и более четко обозначив ее элементы. Ту же процедуру Сахаров произвел с задачами историографии, взяв за основу своих рассуждений наработки М. Нечкиной и Л. Черепнина. Убедительная аргументация и выверенная логика мысли способствовали широкому распространению предложений Сахарова.

По его мнению, историографический анализ следует начинать с *проблематики исследований*, поскольку она непосредственно связана с запросами общественной жизни определенной эпохи.

Затем нужно рассмотреть состояние *источниковой базы* науки и «развитие источниковедения и всех специальных исторических дисциплин», а также методики анализа источников.

Важная задача историографии, по Сахарову, — изучение истории развития *методологии* исторической науки, потому что в противоборстве и «смене методологических принципов познания и осмысления прошлого изменялась качественная характеристика исторической науки», а это способствовало «приближению к познанию объективной истины прошлого».

Однако главной целью исторического исследования, считал Сахаров, является анализ *концепций* как ведущего фактора в истории науки.

Фактически на историографию возлагалась ответственная роль «проверки и оценки всего исследовательского процесса». Суть данной «проверки и оценки» Сахаров видел в том, чтобы историограф установил степень научной и социальной значимости полученных ученых выводов. «Анализ концепции, — писал он, — позволяет оценить место и значение ее в общественно-политической жизни. Если историографическое исследование начинается с анализа тех целей изучения истории, которые выдвигаются общественно-политическим развитием страны на определенном этапе, то естественно и логично оно должно дать ответ на вопрос — как, каким образом наука отреагировала на потребности общества, какое место она заняла в *общественной жизни*, какое *влияние* она оказала на нее. Именно историография как история исторической науки раскрывает во всех аспектах органическую связь между изучением истории и современностью» [11, с. 50–57].

Таким образом, в российской и украинской историографической науке в течение 70 — 80-х годов преобладала изложенная выше трактовка предметного содержания и задач историографии. Она базировалась на принципиальном признании достоверности и объективности результатов исторического познания, важной социальной функции истории и оценочно-контролирующем призвании историографического исследования.

После того, как в 1991 г. распался СССР, а свои господствующие позиции утратила КПСС, рухнула также идеологическая основа советского общества — марксизм-ленинизм. Серьезные изменения охватили и историческую науку, которая начала — в острых спорах и дискуссиях — избавляться от явно обветшавших методологических стереотипов. Разочарование в способности исторической науки раскрыть истинный смысл и причины исторического развития, как отечественного, так и всемирного, вынудило одну часть общества обратиться к трудам выдающихся дореволюционных ученых (С. Соловьева, В. Ключевского, Н. Костомарова, М. Грушевского и др.), а другую — к распространенным в зарубежной гуманитаристике теориям, наиболее яркой среди которых был постмодернизм. В работах молодых историков конца 1980-х — начала 1990-х годов запестрели имена видных представителей постмодернизма Бара, Бодриера, Дериды, Клосовски, Лиотара, Уайта, Фуко и т. д., все чаще излагались

положения их сочинений. В связи с этим среди части молодых ученых распространялись идеи о недостоверности исторического знания, о неразличимости исторического и художественного текста, о множественности исторических истин, об отсутствии общих закономерностей общественного развития и проч.

От очевидных перегибов постмодернистской парадигмы пришлось постепенно отказываться в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Выработывалась так называемая «средняя позиция», которая превратилась в своеобразную конвенцию между «традиционалистами» и «новаторами». Своеобразие этой конвенции состояло в том, что она способствовала сложному сочетанию положительных элементов прежних и новых интерпретационных схем в отношении прошлого. Как и почти все иные, данная конвенция оказалась трудной для ее неукоснительного исполнения, сползание то в одну, то в другую сторону происходит постоянно, что и неудивительно, поскольку новые принципы исторического познания зачастую просто декларируются (а не демонстрируются в конкретных исследованиях), а традиционные — не осмысливаются должным и непредубежденным образом. Мешает также не преодоленное до конца недоверие обеих сторон друг к другу.

Их сближению, а главное — формированию и утверждению новейших принципов исторической методологии наилучшим образом благоприятствуют проблемные или теоретико-обобщающие исследования с всесторонне продуманной аргументацией и развернутыми выводами.

Отрадным явлением, свидетельствующим о продвижении в этом направлении, о переходе от дискуссии к институциональному закреплению того образа исторической науки, который сформировался в процессе переосмысления постмодернистской концепции, стал почти одновременный выход из печати в Москве и Киеве двух учебных пособий нового поколения, в которых предложена принципиально иная — сравнительно с 1980-ми годами — трактовка предмета и задач исторической науки и одной из ее дисциплин — историографии. Речь идет об «Истории исторического знания» Л.П. Репиной, В.В. Зверевой и М.Ю. Парамоновой (М., 2004; 2-е изд. — М., 2006), а также о «Вступі до історії» Н.М. Яковенко (К., 2007). В обеих книгах, очень разных по замыслу и исполнению, предложена весьма новаторская точка зрения на проблемы исторического познания, причинно-следственные связи в истории, роль социально-культурной среды в общественном развитии, а отсюда — на предметную сторону историографии. Вместе с тем ценные и глубокие в научном отношении издания содержат и некоторые дискуссионные, с моей точки зрения, моменты.

Оценивая в целом «Историю исторического знания», следует непременно пояснить, что авторы считают не соответствующим современным методологическим представлениям прежнее название дисциплины «История исторической науки» и вместо него выдвигают свой вариант —

«История исторического знания» как более точно выражающий то обстоятельство, что ныне в исследовании истории самого исторического постижения «акцент переносится на изучение функционирования и трансформации исторического знания в социокультурном контексте» [8, с. 3]. Методологические основания данного курса, в отличие от предшествующих, состоят в следующем. «Во-первых, это констатация специфики исторического познания и относительности критериев истинности и достоверности в историческом исследовании». Раскрывая смысл этого тезиса, авторы указывают на субъективность источниковой информации, субъективность методических приемов ученого и его сознательной или неосознанной зависимости от «концептуальных и идеологических построений собственной эпохи», а также «личных пристрастий».

«Во-вторых, принципиальную важность имеет своеобразие предмета и методов исторического исследования, а значит, и исторического знания в целом». Говоря о предмете истории, авторы пособия отмечают, что ранее, в советское время, она занималась преимущественно политическими событиями и устанавливала причинно-следственные связи между отдельными фактами. В современную эпоху история переключилась на изучение «общества в его динамике; в поле зрения историка включен широкий круг явлений — от хозяйственной и политической жизни страны до проблем частного существования», до «моделей поведения людей, системы их ценностных установок и мотиваций». Объектом внимания историка стал человек, его природа и поведение.

Широта исследовательского поля, порождавшая мысль о том, что история не является самостоятельной наукой, вызывает потребность в «интегральном взаимодействии с иными сферами изучения действительности», охваченными социологией, психологией, экономикой и т. д.

«В-третьих, историческое знание не является ныне и никогда не было ранее, с момента своего становления, феноменом чисто академическим или интеллектуальным». Историческое знание и интерес к прошлому, подчеркивают авторы, «всегда обусловлены актуальными для общества проблемами. Именно поэтому образ прошлого не столько воссоздается, сколько с о з д а е т с я потомками, которые, позитивно или негативно оценивая предшественников, обосновывают таким образом собственные решения и действия» [8, с. 4–7]. Следовательно, историческое знание, являясь «частью социального сознания», становится тем самым «элементом политико-идеологических представлений и исходным материалом для определения стратегии социального развития». В итоге для каждого поколения прошлые события приобретают иные грани и иное истолкование.

Наконец, в-четвертых, «историческое знание представляет собой функционально важный элемент социальной памяти, которая в свою очередь является сложным многоуровневым и исторически изменчивым феноменом». По мнению авторов, научное знание влияет на массовые представле-

ния о прошлом, а эти последние в известной мере оказывают воздействие на ученых.

Как видим, при изложении методологических оснований курса по истории исторических знаний авторы большое внимание уделили той их специфике, которая предопределяет относительность критериев истинности и достоверности. В частности, перекос в сторону относительности выводов историка усугублялся утверждением о деформирующем вторжении в исследовательский процесс современных концептуальных и идеологических стереотипов. Несомненно, что есть немало факторов, которые отрицательно воздействуют на работу историка, но так как задача ученого состоит, собственно, в том, чтобы по возможности нейтрализовать препятствия на пути к «источниковой правде», то в учебном пособии следовало бы именно на эту сторону исторического исследования сделать упор, а не на ожидающие ученого «подвохи».

Кроме того, двойственное впечатление оставляет позиция авторов в вопросе об исторической истине: с одной стороны, постулируется, что задача историка касательно фактов — «устанавливать их истинность и достоверно описывать», а с другой — констатируется, что ученый «конструирует» (по возрожденным в постмодернизме предположениям Б. Кроче) факт в соответствии со своими «критическими исследовательскими процедурами», и эти предпочтения «оказывают непосредственное воздействие на облик факта в его тексте». В итоге делается такой вывод: «На основе информации, полученной в результате аналитической работы с источником, историк создает собственный образ прошлого» [8, с. 28, 33, 38, 39].

В «Заключении», склоняясь к мнению о том, что история — эмпирическая наука, призванная (как и вся современная наука) заниматься единственным и уникальным, а значит — избегать всяческих обобщений и общих закономерностей, авторы, по сути, реанимируют методологические установки Кареева или Лаппо-Данилевского. Изменение взглядов на социальную роль истории привело авторов к такой формулировке задач собственно историографических: «Вот почему так необходимо рассматривать изменения в проблематике исторических исследований, развитие и смену научных концепций, подходов, интерпретаций в контексте личных судеб и общественных процессов сквозь призму индивидуального и профессионального восприятия как социально-политических и идеологических коллизий, так и интеллектуальных вызовов истории» [8, с. 280]. То есть сверхзадача историографа — определить соотношение в историческом произведении «научной достоверности и идеологических пристрастий» или, как говорилось в «Предисловии», изучить «функционирование и трансформацию исторического знания в социокультурном контексте».

Н. Яковенко более внимательно подошла к анализу различных теоретико-методологических систем, сменявших друг друга в течение столетий, начиная с античности, а потому была критичнее в отношении

методологических новаций новейшего времени. Рассмотренный ею многовековой опыт исторического познания укрепил ее веру в объективность знания о прошлом, полученного профессиональным способом, его важную интеллектуальную и культурную роль в общественной жизни. В книге Н. Яковенко ощущается безусловный иммунитет к идеям о недостоверности результатов исторического исследования. О крайностях постмодернистской парадигмы она высказалась достаточно ясно: «Що ж до скрайнього агностицизму постмодерністської філософії, себто переконання у принциповій неможливості достовірного знання про минуле, то він спочиває на високих теоретичних нагір'ях, тоді як історики-практики лишаються «поміркowanими релятивістами», або, як сказав Антуан Про, «попри модну позу розчарованого скептика, всі й далі переконані в обгрунтованості своїх досліджень, всі вірять в істинність того, що пишуть» [13, с. 224].

Как Л. Репина и ее коллеги, Н. Яковенко в первом разделе своего труда («Чим є та для чого пишеться історія») детально остановилась на тех трудностях, которые подстерегают историка в его исследовательской работе, связанных с особенностями отражения прошлой действительности в источниках, и субъективными аспектами самой познавательной деятельности ученого [13, с. 24–41]. На эти стороны познания прошлого практически не обращалось внимания в марксистской историографии, но под влиянием постмодернизма были сформулированы новые требования к профессии историка. Эти требования, по мнению Н. Яковенко, должны способствовать повышению объективности исторического исследования.

В разделе 8 «Історик сам на сам із джерелом: різновиди джерел і способи їх інтерпретації» Н. Яковенко, собственно, подробно излагает историко-ведческие проблемы изучения прошлого и наглядно показала возможности выявления в источниках разного типа и вида достоверной информации (естественно, в исторически доступных формах и степени истинности) [13, с. 229–254].

Одновременно автор «Вступу до історії» довольно объективно и непредубежденно отмечает достоинства новейших методологий в гуманитаристике (историческая антропология, микро- и макроистория, «лингвистический поворот», постмодернизм, семиотика и др.) и их плодотворность для исторической работы.

Положительным качеством книги Н. Яковенко, с нашей точки зрения, является трактовка места и структурной роли историографии для исторической науки. Отметим бытующие с XIX в. два значения термина «историография»: 1) совокупность работ по тем или иным проблемам прошлого и 2) «наукова дисципліна, що вивчає стан історичної науки та історію історичного знання», Н. Яковенко тем самым объединила формулировку А. Сахарова и Л. Репиной, признав фактически перспективность предложенной российской коллеги. Однако Н. Яковенко не подменяет термином «история исторического знания» ранее утвердившуюся

семантику историографии — «история исторической науки», очевидно, рассматривая первую как составную часть второй.

Задачи историографии или, по Н. Яковенко, «дослідницькі напрями», представлены ею в таком наборе (процитируем полностью):

а) *історія історіографії*, себто простеження кола інтересів якогось науковця чи групи науковців — школи, течії тощо (такий напрям, своєю чергою може набувати ознак *біографістики* — коли в центрі уваги дослідника стоять походження, освіта, особисте життя чи перипетії кар'єри науковця);

б) *історія науки* — коли акцент поставлено або на інституційних моментах роботи певної групи науковців (організаційних засадах її функціонування, відповідних періодичних виданнях, членстві в різних наукових товариствах тощо), або на вивченні академічного світу як професійного та соціального середовища;

в) *історія ідей* — коли ми зосереджуємося на зіставленні історіографічного твору/творів із певними ідеями чи/або ідеологіями, поширеними в той чи той час, або ж, навпаки, інспірованими самою історіографією;

г) *методологія історії* — коли йдеться про вживані певним науковцем, школою чи течією методи дослідження та принципи пояснення/описування минулого» [13, с. 31–32].

Как в свое время М. Нечкина, Н. Яковенко включила историографию в систему «широко витлумаченої культури» и считает, что история истории способна дополнить наши представления о характерном для определенной эпохи «духе времени».

Не отрицая значимости выделенных Н. Яковенко направлений в изучении истории исторической науки, заметим, однако, что они преимущественно сосредоточены на, так сказать, внутренней интеллектуально-культурной ипостаси исследователя, его творческой лаборатории, но оставляют вне поля зрения научные мотивации обращения к той или другой проблематике и результаты решения их учеными как этапные вехи движения научно-исторической мысли. Иначе говоря, историография как история исторической науки не сориентирована, по своей дисциплинарной сущности, на определение перспективных направлений исторических исследований, влияющих на прогресс в познании прошлого.

Наконец, вполне разделяя критику Н. Яковенко в адрес неуместно морализирующих историков, трудно разделить ее ироническое отношение к поучительной миссии истории вообще [13, с. 22, 201], так как ее следует понимать не в политико-идеологическом, а в сугубо научном смысле.

Перед нами, таким образом, два образа историографии: один — целиком был сформирован на марксистской методологической основе в 70–80-е годы прошлого века, другой — складывается в обстановке кризиса исторического познания в конце XX — начале XXI века. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, обусловленные их эпохой. Первый из них (по советской традиции) в некоторой степени утилитарен, так как

нацелен на наработку научной базы для решения актуальных социально-политических проблем и прогнозирования будущего. В то же время в нем оказался весьма слабо разработанным раздел по процедурам исторического познания и факторам, способствующим повышению достоверности знания о прошлом.

Второй — заметно продвинул развитие эпистемологии, продемонстрировал немало «ухаб», подстерегающих исследователя на пути к исторической истине, и весьма перспективные методы установления реальных причинно-следственных связей в истории. С другой стороны, в нем недостаточно уделено внимания функциональной роли историографии в структуре исторической науки.

Обретение историографией современного образа, надеемся, дело недалекого будущего.

Литература

1. *Балахонский В.В.* В. О. Ключевский и методология исследовательских процедур исторического обоснования // Ключевский: сборник материалов. — Пенза, 1995.
2. Вопросы методологии и истории исторической науки. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977.
3. *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. — Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1990.
4. *Кареев Н.И.* Теория исторического знания. — СПб., 1913.
5. *Лаппо-Данилевский А.С.* Методология истории. — СПб., 1910.
6. *Муравьев В.А.* В.О. Ключевский и «новая волна» историков начала XX века // Ключевский...
7. *Нечкина М.В.* Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. — М.: Наука, 1974.
8. *Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю.* История исторического знания. — М.: Дрофа, 2004.
9. *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. — М., 1941.
10. *Сахаров А.М.* Историография истории СССР. Досоветский период. — М.: Высшая школа, 1978.
11. *Сахаров А.М.* Некоторые вопросы методологии историографических исследований // Вопросы методологии...
12. *Черепнин Л.В.* Русская историография до XIX века. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1957.
13. *Яковенко Н.М.* Вступ до історії. — К.: Критика, 2007.

О.І. ЖУРБА, Є.А. ЧЕРНОВ

ФУНКЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ В СУЧАСНОМУ ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРИ

Ті, хто вивчають сучасну історіографічну ситуацію останніх двох десятиліть без сумніву повинні будуть відзначити дещо парадоксальний факт: не зважаючи на очевидні матеріальні проблеми, з якими стикаються історики пострадянського простору, кількість конференцій різко збільшилась. Здається, що при наявності бажань і можливостей сучасний український історик може ледве не цілорічно курсувати між різними науковими заходами. Сам цей феномен заслуговує на окреме спеціальне осмислення і розмову. Для нас, акцентуалізація на цьому парадоксі стає приводом для того, щоб підкреслити якісну відмінність останніх астаховських читань від загальної маси конференціальних «подій». Ідеологія, що закладається організаторами виконує для запрошених значну евристичну функцію, на відміну від конференцій конгресового, виставкового характеру. Останні переважно розраховані не стільки на внутрішній вжиток, скільки на зовнішнє звучання та сприйняття. З інтелектуальної точки зору, вони проводяться при участі фахівців не для фахівців. Можливо ми помиляємося у такій радикальній оцінці, і значна частина колег може не поділяти цих думок, але, підкреслюємо, що конференція-семинар — це саме та форма наукового спілкування, яка і може сприяти формуванню певних дослідницьких програм. А якщо це так, то соціально-організаційний елемент в такому випадку спрацьовує на інтелектуальну складову системи наукового пізнання. Безумовно, висловлюючи в даному випадку подяку організаторам конференції, ми разом з тим, вимушені визнати, що достатньо жорстка ідеологія, що була запропонована в інформаційному повідомленні, з одного боку, змусила нас шукати таку проблематику, що б відповідала стратегії загального задуму ідеологів, — осмислити дисциплінарну долю історіографії в системі наукового пізнання; з іншого, — виявилось, що ми ризикуємо опинитися у стані тієї самої мавпи з анекдоту, що, як відомо «боялася розірватися». І справа не в тому, що ми серйозно вважаємо себе «і розумними, і красивими», а в тому, що запропоновані напрямки обговорення викликали потребу зануритися в кожний з них. Саме це, можливо, й стало психологічною підставою для виходу на запропоновану для обговорення тему, виходу на проблематику, дещо несподівану навіть для нас самих: синкрезу наукового пізнання та місця історіографії в цьому процесі.

Прийнято вважати, що синкретичне бачення світу є саме те, що долається в ході наукового пізнання. І справді, аналітичним скальпелем, як би він не був налаштований (чи «по-беконівські», чи «по-картезіанські»), у процесі пізнання великий Логос був підданий розтину на безліч «логосів», що існують в уявленнях як окремі цілісні науки. Але процес розтину продовжувався, і, наприклад, «логос історії», навіть в Геродотові часи, репрезентував вже себе через множину — «логоси».

Впевнені, що натяк зрозумілий. У такому дещо міфо-метафоричному вигляді представляємо процес внутрішньої диференціації науково-історичного пізнання, в ході якого відбувається формування і еволюція його дисциплінарної структури.

Окремим дисциплінам, що входили чи входять в цю структуру поталанило з назвами, які не потрапляли в полісемантичні кола і не потребували вчитування в контексти при використанні термінів. Та ж дисципліна, яка у вітчизняному науковому просторі традиційно функціонує з ім'ям «історіографія», навпаки опинилася в складній термінологічній ситуації, що змушує кожен раз при використанні цього поняття давати пояснення, або створювати певний контекст. Правда, ми не бачимо в цьому приводів для сумування, бо таке «живе» використання слова, мобілізує дослідника, примушує кожного разу більш осмислено вживати цей термінологічний інструмент.

Більш принциповим для даних міркувань виглядає повернення до роздумів з приводу «природи історіографії» як наукової дисципліни. Здається, що саме у вітчизняній науковій традиції це питання вже розглядалося достатньо глибоко як на теоретичному, так і емпірико-аналітичному рівнях. Достатньо згадати ґрунтовні праці М.В. Нечкіної [7], А.М. Сахарова [12], Р.О. Кіреєвої [3], І.І. Колесник [4, 5], Т.М. Попової [8, 9], С.І. Посохова [10], Л.П. Рєпіної, В.В. Зверєвої, М.Ю. Парамонової [11], Н.М. Яковенко [13], не кажучи вже про широкомасштабну і для тих часів плідну дискусію 60-х — 70-х рр. минулого століття про предмет та задачі історіографії. Крім того, у наукознавчих та історико-наукових дослідженнях останніх десятиліть ХХ ст. образ «історіографії науки» в цілому був розгорнутий у всьому різноманітті, в тому числі і стосовно природи «історіографічного».

В межах нашої обізнаності, на матеріалах науково-історичного пізнання були розгорнуті два основні образи «природи історіографії». Перший, — вузькодисциплінарний, в якому історіографія як наукова дисципліна пов'язується і виводиться з дидактичних потреб історичної освіти (Р.О. Кіреєва), другий, — «епістемологічний», що розкриває рефлексійну природу «історіографічного», пов'язаного з рефлексійною природою самого історичного пізнання-знання (І.І. Колесник).

Але, приділяючи велику увагу в тому числі і експлікації функцій історіографії, і, навіть, фактично розкриваючи її психологічну функцію

у науково-пізнавальному просторі, дослідники, на наш погляд, ще не ставили питання про *Сенс, Призначення*, – інакше кажучи, *Апологію* історіографії.

Зрозуміло, що науковий стиль мислення, примушує дистанціюватися від подібних визначень у зв'язку з їх «телеологічністю». Разом з тим, це не заважає нам, що позиціонують себе як представники саме цього способу мислення, використовувати як глибоко науково-раціональні поняття такі терміни як «національне відродження» («ренесанс»), «національна ідея» тощо, і, навіть, створювати, спираючись на них, моделі раціонального пізнання різноманітних явищ історичного процесу.

Здається історикам настав час відверто зізнатися перед собою та іншими, що без елементів «телеологічного» *повне* мислення не можливе, так само, як раніше вдалося визнати неможливість несуб'єктивного у пізнанні навіть під дахом і гаслами науки. Тим більше, в умовах, коли таке «дзвінке слово» – «історіософія», у вітчизняному науковому просторі навіть стало номенклатурним поняттям.

Крім того, ніякі дисциплінарні пута не в змозі настільки дисциплінувати думку сучасного історика, який хоча б «щось чув» про Бердяєва та Ясперса, Шпенглера і Тойнбі..., щоб обмежити його рефлексії стосовно «смислів» та «призначень».

Разом з тим, якщо всі ці визначення, за якими тягнеться шлейф «метаісторичного» з присмаком ірраціонального, спробувати замінити не настільки дратівним, – «функція історіографії», то останнє може викликати подив, бо вище нами вже зазначалося, що функції історіографії достатньо широко розглядаються у науковому дискурсі і, таким чином, автори, як кажуть, «ломаються в открытые двери»...

Специфіка нашого підходу до «функції історіографії», у зовнішньому вигляді, – саме у використанні однини, а у внутрішньо змістовному, – у спробі вивести цю функцію не в контексті «логосу історії» етапу його розпаду (дисциплінарної диференціації) та не через реєстрації того, що відбулося і відбувається, не через психологію науково-історичного пізнання, а з позицій осмислення долі пізнання в цілому.

Відверто кажучи, про це не важко замислитися, але дуже непросто публічно висловитися. «Внутрішні голоси», з інтонаціями шановної Т.М. Попової, тут же іронічно нагадують: «Целиком охватить ни у кого взгляда не достанет...» [9, с. 3]. Але, з тими же інтонаціями лунає й інше: «Возможно, что реальное движение научного знания и научной деятельности приведет к новому пониманию «единства» («универсума») в эпистемологической сфере самой исторической науки. В этом поиске, на наш взгляд, методологически перспективными представляются идеи, фокусирующие внимание на собственные закономерности развития историко-научных исследований, т.е. «их инкорпорированность в общей системе науки», которая позволяет им «играть по отношению к этой системе интегрирующую роль» [9, с. 40].

На наш погляд, у тому факті, що початок дисциплінарного оформлення історіографії припадає на час, коли «Зевс» (історична наука) вступає у «репродуктивний період», тоді, коли зароджується, починає формуватися мультидисциплінарний образ модерного науково-історичного пізнання, вже проглядається її смислове призначення, — її закодована функція.

Тим, хто став на шлях пошуку смислів, ризикнув вийти на «історіографософську» дорогу, тому вже доводиться замислюватися над безліччю різноманітних питань, серед яких тут, в контексті статті, актуально звучить потреба міркувань над удаваним протиріччям між сталістю «історіографічного компоненту» (І.І. Колесник) у раціональній структурі історичного знання і порівняно пізнім його дисциплінарним оформленням.

Для попередніх генерацій істориків історичної науки, яка ще неглибоко замислювалася над феноменом самого «історіографічного», часове оформлення історіографії як особливої дисципліни (чи то зі статусом допоміжної, чи спеціальної і, навіть, метадисципліни в системі історичної науки), було зрозумілим, бо вони вважали, що історія наукового знання виникає як результат накопичення (розвитку самого знання). Інакше кажучи, історіографічне знання — після історичного. І, якщо мислити в категоріях суворой наукової раціональності, то, щодо нас, — це, можливо і є найбільш раціональна схема генези і розвитку наукових дисциплін. Саме у таких схемах важко побачити ірраціональність, надлишкову метафізичність, телеологічність, ретроспективність та інші «вади» недостатньо наукового стилю мислення. Але, коли ми визнали «справедливість» і питань щодо природи різноманітних науково-дисциплінарних дискурсів, і, більш того, розпочали сприймати, використовувати відповіді на ці «сумнівні» питання, то ми не можемо ігнорувати вищезгадане як протиріччя, разом з тим, не роблячи спроб його подолання, чи тлумачення.

Таким чином, в наших уявленнях, історіографія, яка за своїми первісними настановами була покликана «збирати каміння», виявилася дисципліною зі своєю інтелектуальною структурою і сама стала одним з цих «каменів» у мультидисциплінарній структурі історичної науки. Причому камінь цей виявився настільки громіздким, об'ємним, що по суті, навіть в нашій науковій традиції, вона (історіографія) фактично втрачає реальні дисциплінарні контури, перетворюючись у галузь науково-історичного пізнання і, разом з тим, метанауково-історичний метод.

На наших очах руйнуються останні дисциплінарні bastiони історіографії в галузі освіти. Бо, навіть якщо читати загальний курс історіографії, то така дисципліна передбачає включення до неї множинності історіографічних дисциплін. Якщо ми викладаємо національну історіографію, то по суті невідворотно ризикуємо або не розкрити дійсний процес історичного пізнання, або «фоновий матеріал» буде переважати основний зміст курсу. Якщо ж намагатися змодельовати ідеальну програму підготовки професійного історика під кутом зору дисциплінарних образів історіогра-

фії, то є підстави думати, що вони були б в змозі витиснути всі інші курси в підготовці історика і стати змістом його підготовки.

Якщо ми хочемо зберегти дисциплінарний статус «історіографії», то остання повинна взяти на себе функцію представляти історичне пізнання в максимальному наближенні до цілісності синкретичного характеру. На певному емпіричному рівні це знаходить вже своє вираження, але досі не знаходить свого означення та усвідомлення. Це підтверджують хоча б останні більш-менш значимі історіографічні досвіди і досліди, представлені у вигляді дидактичних посібників. Про це свідчать, наприклад, праці Л. Зашкільняка [2, 5], які багато в чому базуються на теоретичних ідеях, представлених у текстах Б. Кроче, Р. Колінгвуда, П. Рікера, М. Барга та інших, які огорнуті в упаковку методології історії (від давнини до сучасності), чи достатньо симпатична праця Репіної і К^о [11], або навіть зовсім свіжеспечена публікація історіографічної частини «Вступу до історії» Н. Яковенко, численні публікації, в тому числі у формі підручника з української історіографії, І. Колесник [6], які ніяким чином не лише не відбивають, а навіть не претендують на роль дійсної історії історичної науки в усьому її соціоінтелектуальному різноманітті.

В пізній радянський час на кафедрі історіографії та джерелознавства ДДУ здавалося, що ми знайшли адекватну модель побудови програми фахової підготовки істориків, в якій проблемно-історіографічний компонент мав бути відображений через систему конкретноісторичних курсів, які були б представлені в історіографічній та джерелознавчій розгортці [1], водночас, власне історіографічні курси в цьому випадку повинні були виконувати функції методології історії та історії історико-наукового пізнання. Говоримо «нам здавалося», тому що, як розуміємо зараз, — це утопія. Соціальна сторона науки в той час нами явно недооцінювалася. По-друге, це трохи нагадувало ситуацію на кшталт, — «а будет одно сплошное телевидение», — як розмірковував один герой відомого кіно періоду побутування його «Рудольфом».

Тенденції розвитку масової історичної свідомості, які особливо чітко виявилися в останні роки, а також особливості постмодерного стилю мислення людини, наочно і переконливо демонструють, що конкретно-історичні уявлення без спеціальної їх репрезентації у фаховому викладі, що, здавалося б, можливо набувати через загальну освіту, стають ще більшим завданням вузів, ніж у попередні освітні епохи. Бо такий стиль мислення стає все більш і більш аісторичним. Він (стиль мислення) принципово не сприймає без спеціального тренінгу примітивну конкретно-історичну інформацію, хоча б у найпростішому «хронологічно-систематизованому» вигляді. І тому всім нам відомі хвилювання, протести, незадоволеність фактом все більшого знищення дисциплінарного історіографічного компоненту у системі навчального плану вузів. З одного боку, останнє може розглядатися як результат неефективної малопродуманої стратегії освітянської бюрократії, заляканої фіскальними органами,

а з іншого, як це не прикро усвідомлювати, є відображенням об'єктивних тенденцій іманентно-наукового і дидактичного характеру.

Чи значить вищенаведене, що вичерпаний ресурс розвитку науково-історичного пізнання в формообразах того, що ми традиційно звемо «історіографічним»? Ми не можемо дати позитивну відповідь на ці запитання, не тільки у зв'язку з нашою соціально-психологічною заангажованістю, а і через інтелектуальні переконання в тому, що ми знаходимося на етапі змін парадигмального характеру в системі історичного пізнання, у якій історіографічному має належати достатньо поважна (хоч і не самодостатня) роль (функція), – синкрези історичної науки (історичного пізнання-знання).

Дуже важливо підкреслити, що «синтез науки» набув сенсу лише тому, що це стало методологічною проблемою. Але таким чином метод ставав сенсом і метою. Безумовно, коли йдеться про суто методологічний дискурс, то в ньому методологічна проблематика є метою і сенсом, але у виходах на загальнонауковий вимір методологічна проблематика все ж таки знаходиться в ієрархічній системі підлеглості головним меті, функціям, завданням. А усі вони: і предмет, і метод, і мета, і завдання знаходяться у фактично небаченому (хоча і втраченому) тяжінні магнітного поля смислу (сми́слів) пізнання.

Як відомо, з психологічної точки зору, сенс та мета не повинні отожднюватися. Сенс науки, – «пошук» його, розмірковування щодо цього, це (якщо завгодно) – ідеал. А ідеал не та річ, яка може бути досяжною. Це не те, чого ми маємо досягати, але, й не те, що, не дай Боже, втратити. У такому аксіологічному вимірі, нам здається, що саме синкретичне сприйняття світу у науковому світобаченні і є тим самим, можливо втраченим (в том числі через науку у її модерному образі) ідеалом (смыслом).

Власно кажучи, теоретики, методологи та історики науки вже давно намагалися вийти на рівень теоретичного обґрунтування і методологічного моделювання можливостей подолання диференціації наукового пізнання-знання. Але ці намагання реалізовувалися в термінах до яких звикла наука. В її термінологічному арсеналі «синкрес-синкретичне» не розглядається як один з ідеалів науковості, більш того, суперечить саме ідеалам модерної науки. Тим більше, в постмодерній ситуації, здається, «синкрес» взагалі може вживатися лише в суто іронічному контексті. Дійсно, розвиток науки виводить, що «логіка многомерности детерминирует многомерность объекта изучения... множественность ипостасей» [9, с. 6]. Відносно науково-історичного пізнання доводиться зараз можливість «множин історій» має лише просвітанське значення (не тільки для студентів, але й для частини габілітованих науковців). Безумовно, множина «наукових історій», а також їхніх дисциплінарних образів передбачає і відповідну множину історико-наукових дискурсів («історіографій»), кожен з яких, створюючи свої дисциплінарні поля, разом з тим, все ж таки, функціонально, поки повністю «не розірве пуповину» з самою *історією*, історію якої він

відтворює, орієнтований на відтворення її цілісності дисциплінарно-історіографічними засобами*. І саме тому, в умовах цієї плодючої множинності, як це не може здаватися парадоксальним, саме в умовах постмодерної ситуації виникає нагальна потреба не «збирати каміння» (що «фізично» вже не можливо, — «сізіфова праця»**), — а нагадати/пригадати «сакральний» *Сенс* їх виникнення. В такому розумінні для нас розкривається апологія «деконструкції» і відповідність їй функцій «історіографічного». Парадокс і полягає саме в тому, що епоха, образ якої в свідомості розглядається як час нової епістемі, в якій, здається немає місця аксіології «цілісного», і є епохою «нового синкрезу».

Але, у зв'язку з тим, що немає багать інквізицій, не діють революційні трибунали та їм подібні інституції, то все ще зберігається стара наука, породжена іншою епістемою, через трансляцію і її інститутів, і дисциплінарних образів, і, головне, представників традицій. І через те, що останні вже нездатні до реальних інквізиційних акцій, а їхні антагоністи теж неспроможні виносити і виконувати вирокі революційних трибуналів, відбувається нормальний конвергенційний процес адаптації «старого» та «нового», нам як сучасникам залишається лише знайти своє історичне місце у ньому, яке і полягає, з нашої точки зору, у наступному.

В періоди збагачення сенсів відбулася втрата *Сенсу*. І роль «історіографічного» полягає в нагадуваннях про можливе його існування і в рамках ще не втраченої дисциплінарної структури науки надавати їй «медичну» допомогу — повернення (відтворення) *Сенсу, Призначення*, інакше кажучи, сприяти виходу на шлях наукового синкретичного світобачення.

Література

1. *Болебрух А.Г., Ковальский Н.П., Колесник И.И., Чернов Е.А.* О перестройке преподавания историографии в вузах // *Историографическая культура студента-историка: этапы формирования, содержание, значение.* — Калинин, 1989. — С. 28 — 35.
2. *Зашкільняк Л.О.* *Методологія історії від давнини до сучасності.* — Л., 1999.

* Так, з власного досвіду одного з нас, в центрі уваги початкової моделі дисертаційного дослідження центральними були завдання емпірико-аналітичного характеру на рівні досить вузького, навіть герметичного дисциплінарного простору археографії як спеціальної історичної дисципліни в її обмеженому національному варіанті, в рамках певного хронологічного відрізка. Але, спроба поставити вузькодисциплінарні проблеми в контексті історіографічної ситуації, історії історичного пізнання, призвели до того, що через щільне віконце «археографічного» побачилися проблеми історичного та історіографічного пізнання в цілому. Таким чином, засобами «історії» відбулося подолання конкретно-дисциплінарних меж з виходом у загальний простір історії історичної науки.

** Останнє не означає, «нелегітимність» «сізіфів» сучасності.

3. *Киреева Р.А.* Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. — М., 1983.
4. *Колесник И.И.* Историографическая мысль в России: от Татищева до Карамзина. — Д., 1993.
5. *Колесник І.* Методологія історії, чи історія методології: метафора історіографічного дискурсу: Зашкільняк Л. Вступ до методології історії. — Л., 1996; *Зашкільняк Л.О.* Методологія історії від давнини до сучасності. — Л., 1999 // Український гуманітарний огляд. — 2001. — Вип. 5. — С. 55–85.
6. *Колесник І.І.* Українська історіографія (XVIII — початок XX століття). — К., 2001.
7. *Нечкина М.В.* История истории (некоторые методологические вопросы истории «исторической науки») // История и историки. — М., 1965. — С. 6–26.
8. *Попова Т.Н.* Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета. — О., 2007.
9. *Попова Т.Н.* Проблема формирования историографии как научной дисциплины: традиционные подходы и новые модели // Записки исторического факультета / Одесский государственный университет. — О., 1995. — Вып. 1. — С. 3–45.
10. *Посохов С.І.* Образи університетів Російської імперії другої половини XIX — початку XX століття в публіцистиці та історіографії. — Х., 2006.
11. *Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю.* История исторического знания. — М., 2006.
12. *Сахаров А.М.* Методология истории и историография: Статьи и воспоминания. — М., 1981.
13. *Яковенко Н.М.* Вступ до історії. — К., 2007.

І. І. КОЛЕСНИК

Мы все больше специализируемся
не по наукам, а по проблемам.

Владимир Вернадский. Размышления
натуралиста.

«МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ» ЯК КОНЦЕПТ

Слово/поняття «міждисциплінарність», знайоме і багатозначне, потребує деконструкції його численних смислів й різноманітних конотацій. Ситуацію ускладнює термінологічна плутанина. У сучасному культурно-науковому обігу функціонують різні варіанти цього поняття: «*міждисциплінарні дослідження*», «*міждисциплінарний підхід*», «*міждисциплінарний принцип*», «*міждисциплінарний діалог*», «*феномен міждисциплінарності*», «*міждисциплінарна парадигма*», а також суголосні поняття на кшталт «*мультидисциплінарний*», «*плюрадисциплінарний*», «*кросс-дисциплінарний*», «*інтердисциплінарна історія*», «*полідисциплінарний*» тощо. З цього випливає, що феномен міждисциплінарності потребує категоріального оформлення.

Спроби визначити це поняття не йдуть далі особистих емпіричних практик вчених, конкретного дисциплінарного досвіду. Наприклад, Е.М.Мірський кваліфікує міждисциплінарні дослідження як «об'єднання знань, методів, дослідницьких засобів і професійних навичок спеціалістів різних дисциплін при вивченні певного спільного об'єкта» [1]. Дехто з авторів (І.Студенніков) розуміє під міждисциплінарним дослідженням «*форму організації науково-дослідної діяльності, котра спрямована на комплексне вивчення єдиного об'єкта представниками різних дисциплін, наукових спеціальностей і галузей науки*» [2, с. 58]. Та більш, одеський дослідник розрізняє поняття «міждисциплінарні дослідження» і «міждисциплінарний підхід». Під міждисциплінарним підходом розуміється «синтез результатів наукової діяльності представників різних дисциплін у процесі комплексного вивчення конкретного об'єкта і пов'язаного з ним кола проблем» [2, с. 61].

Звичним, більш поширеним є погляд на міждисциплінарність як взаємодію між дисциплінами. Так, Л.Репіна ідентифікує міждисциплінарність як «один із способів взаємодії різних спеціалізованих наукових зв'язків» [3]. Дехто інший сприймає міждисциплінарність як методологічний принцип сучасного наукового дослідження, котрий передбачає «широке використання наукової інформації незалежно від її дисциплі-

нарної приналежності», тобто «методологічне оформлення реального синтезу наукових досліджень різних дисциплін у значних наукових проектах і дослідженнях» [4]. Кожний із зазначених підходів щодо визначення феномену міждисциплінарності має рацію, фіксує один з численних смислів цього широкого слова/поняття.

На наш погляд, категорія «*міждисциплінарність*» у колі семантично споріднених понять («*міждисциплінарні дослідження*», «*міждисциплінарний принцип*», «*міждисциплінарний підхід*», «*міждисциплінарна парадигма*», «*міждисциплінарна програма*», «*міждисциплінарна співпраця*» тощо) є універсальною і піддається генералізації.

Міждисциплінарність — складний феномен, який має онтологічний та когнітивно-рефлексивний виміри. Цілком очевидно, що йдеться про «поняття смислу» (тобто кожний бачить той смисл, який може побачити). Ці смисли слід визначати по-різному, через такі ключові слова, як взаємодія між дисциплінами; форма організації досліджень, об'єднання знань, методів з різних галузей знання тощо. З нашої точки зору міждисциплінарність — це когнітивна технологія, своєрідна техніка мислення, що має універсальний характер (подібно законам діалектики). Міждисциплінарність не є прерогативою чи гносеологічним атрибутом природничого або гуманітарного знання, швидше вона долає спекулятивні умовності та штучні кордони між цими двома сферами знання.

Ясна річ, міждисциплінарність — іманентна риса процесу пізнання. Розмови про те, що міждисциплінарність як явище та спеціальна категорія виникає лише у другій половині ХХ ст., фіксують на разі певний етап, конкретну епістемологічну ситуацію у функціонуванні даної техніки мислення. Міждисциплінарність як техніка або процедура мислєдєяльності органічно присутня в актах пізнання в умовах синкретизму, диференціації, подальшої інтеграції та спеціалізації знань. Разом з тим, якщо послуговуватися формулою Михайла Бахтіна, то концепт «міждисциплінарність» має стільки смислів, скільки існує контекстів.

Виходячи з того, що міждисциплінарність є іманентною ознакою процесу пізнання, варто згадати про три рівні (аспекти) процесу пізнання: 1. суб'єктно-особистісний; 2. когнітивно-рефлексивний (внутрішній); 3. організаційно-інституціональний (зовнішній). Розвиток наукового пізнання, як відомо, зумовлено не лише обсягами інформації, наявністю глобальних комп'ютерних мереж, банком даних, а людським ресурсом, формами комунікації. При цьому поступ науки залежить не від рівня освіти, ерудитності комунікабельності, інформаційної обізнаності суб'єкта пізнання, вченого, а від здатності продукувати нове знання. На суб'єктно-особистісному рівні міждисциплінарність виступає як ознака професійної культури, маркер фаховості, профпридатності й кристалізується на певному етапі творчої зрілості. Зазвичай дослідник використовує міждисциплінарні техніки стихійно без усвідомлення сенсу даної когнітивної процедури.

Разом з тим проявом високого рівня рефлексії та методологічної культури дослідника є свідоме використання у власному дискурсі міждисциплінарних принципів і підходів.

Словом, міждисциплінарність як техніка мислення виступає продуктом методологічної рефлексії дослідника. До речі, у кожного дослідника своя «межа міждисциплінарності» (що зумовлюється освітою, вихованням, темпераментом, стилем мислення, соціально-психічною мотивацією пізнавальної діяльності).

На когнітивно-концептуальному рівні процесу пізнання міждисциплінарність сприймається у категоріях «принцип», «підхід», «парадигма», «метод». Цікаво співставити смисли цих понять. «Принцип» від лат. *principatus* – засновок, першопричина, засаднича ідея, правило дії або поведінки. «Підхід» – сукупність прийомів, засобів ставлення до чогось. «Парадигма» – зразок, сприймається як матриця інтелектуальної поведінки, конкретних пізнавальних дій. «Міждисциплінарний принцип», «міждисциплінарний підхід», «міждисциплінарна парадигма» – поняття єдиного семантичного ряду і характеризують свідоме ставлення дослідника до міждисциплінарних практик.

Когнітивний рівень процесу пізнання конвертує міждисциплінарність як спонтанну техніку мислення у категорію методологічного статусу, що репрезентує інтелектуальну поведінку та свідому мотивацію діяльності вченого, гуманітарія чи природознавця (*scholar, scientist*).

Організаційно-інституціональний вимір пізнавальної діяльності кореспондується з категорією «міждисциплінарні дослідження». Більшість вчених, які сприймають міждисциплінарні дослідження як форму організації науково-дослідної діяльності, або форму співпраці між дисциплінами, або модель взаємодії між різними галузями знання, намагаються вибудувати свої типології та класифікації міждисциплінарних досліджень. Як правило, усі відштовхуються від т.зв. «ланцюжка Г.Бергера» [5]. Генералізована схема типологій міждисциплінарних досліджень постає у такому вигляді: *дисципліна (монодисциплінарність); кросс-дисциплінарні дослідження; мультидисциплінарні; плюрадисциплінарні; міждисциплінарні; інтердисциплінарні; трансдисциплінарні*.

На нашу думку, більшість подібних класифікацій є штучні, мають схоластичний характер, а дискусії навколо них малопродуктивні. Критерієм цих типологій слугують різні форми взаємодії між дисциплінами, йдеться про різні форми організації досліджень та ідейної інтеграції суб'єктів міждисциплінарних проєктів при розв'язанні спільних проблем. Наприклад, кросс-дисциплінарні дослідження передбачають вивіщення ролі однієї з двох дисциплін в міждисциплінарній взаємодії; плюрадисциплінарні (мультидисциплінарні) дослідження, такі, коли спеціалісти працюють над спільною проблемою, залишаючись на своїй дисциплінарній базі (яскравий приклад – проблема створення ядерної зброї); міждисциплінарні (інтер-

дисциплінарні) дослідження передбачають, що фахівці з різних галузей знання цілеспрямовано об'єднують знання, методи, засоби зі своїх дисциплін для вирішення поставленої дослідницької проблеми, тобто створюють єдиний методологічний інструментарій. Щодо трансдисциплінарності, то одні тлумачать її як прагнення/пошук «наддисципліни» (напевно, вважаючи прикладом синергетику, яка постулюється як світоглядна дисципліна), інші сприймають трансдисциплінарні дослідження як такі, що виходять поза межі власно науки, у сферу громадськості й означають участь суспільства у вирішенні глобальних проблем: екології, клімату, космосу, охорони здоров'я (наприклад, вакцина ВІЛ/СНІД, пташиний грип, глобальне потепління).

Зважаючи на численні смисли, конотації та різноманітні контексти даної категорії, спробуємо окреслити інваріант структури міждисциплінарності як онтологічного явища. Висхідною інтенцією слугує інтелектуальна опозиція *монодисциплінарність/міждисциплінарність*. Монодисциплінарність або наукова дисципліна сприймається як система знань, методів стандартів професійності. Втім, наголошуємо на слові «система», що відрізняється від термінів «сукупність», «суміш» позитивною енергією зв'язку.

Можна припустити, що міждисциплінарність як будь-яка наукова дисципліна має певну структуру, зумовлену самою процедурою мислення, а також природною трансформацією форм мислєдєяльності.

Генетично першою фазою і органічною складовою міждисциплінарності є «міждисциплінарна дифузія». Як піаніст без слухачів, артист без глядачів, письменник — читачів, вчений а ргіогі не може існувати без наукового середовища. У структурах науки когнітивне, як відомо, не може відбуватися без комунікативного, тобто пізнання не існує без спілкування. Комунікація у сфері науки — це не просто обмін інформацією, це надолуження знань. Вчений свідомо чи інтуїтивно поглинає інформацію з різних джерел, галузей знання, культури й адаптує ці знання щодо предмета чи предметного поля, яке зорує. Зазвичай надолуження знань у такий спосіб відбувається на рівні фактографії, емпіричного збагачення багажу даних. «Міждисциплінарна дифузія» — це здебільшого механічне запозичення ідей, фактів, джерельної бази дослідження, що ґрунтується на методологічних засадах конкретної дисципліни. Сутність «міждисциплінарної дифузії» можна пояснити казусом «двох яблук». Якщо у двох людей по яблуку, говорив Бернард Шоу, і вони обмінюються ними, то у кожного знов таки залишиться по одному яблуку, але якщо у кожного з нас по одній ідеї, й ми обмінємося ними, то кожний з нас відразу збагатіє і буде мати вже дві ідеї.

Цілком очевидно, що шляхом «міждисциплінарної дифузії» відбувався тривалий і складний процес становлення історичної науки як системи історичних дисциплін й субдисциплін. На сучасному етапі стану/розвитку

соціогуманітарного знання інструментом, чинником «міждисциплінарної дифузії» виступає культура. З огляду на ці обставини термін Лоріні Ріпіної «академічна клептоманія» як запозичення даних, спостережень з інших галузей історичного знання не має негативних конотацій. Обмін інформацією, накопичення інформації – нормальний, природний стан нескінченного процесу пізнання, актів мислєдїяльності. Механізм «міждисциплінарної дифузії» спрацьовує на прикладі модної останнім часом проблеми «ідеальних бібліотек». «Ідеальна бібліотека» або уявна бібліотека є реконструкцією того, що читав, міг читати або знав той чи інший інтелектуал.

Важливою складовою й водночас наступною фазою у практиках міждисциплінарності (після «міждисциплінарної дифузії») є утворення нового методологічного апарату поза межами спеціально-дисциплінарного дослідження. Це конструктивна фаза когнітивної співпраці, коли з різних галузей знання (близьких, споріднених чи предметно-далеких один від одного) запозичуються категорії, ідеї, методи, принципи, на підставі яких утворюється новий методологічний інструментарій для вирішення поставленої проблеми.

Така когнітивна співпраця має свою логічну послідовність. Спочатку запозичуються терміни, категорії з інших сфер знання, зміст яких переосмислюється й адаптується щодо конкретної проблеми вивчення. Услід за новими категоріями, словами/поняттями, спеціальними термінами, на матеріал, що вивчається, екстраполюються ідеї, методи, техніки дослідження з різних галузей знання, наукових дисциплін. За такою процедурою відбувається формування нового методологічного апарату. Принципи, методи, техніки не механічно сприймаються з різних предметних сфер, а творчо переробляються, тобто змінюють попередні смисли в нових інтерпретаціях і контекстах на конкретному дослідницькому матеріалі. З огляду на це словосполучення «міждисциплінарний метод» не є науковокоректним, хоч би тому, що цей метод не має ознак генералізації, йдеться швидше про певний метод, скерований на обробку, аналіз, інтерпретацію конкретного фактографічного матеріалу. Термінологічним відповідником процедури генералізації способів обробки конкретного предметного матеріалу виступає принцип ізоморфізму.

Наступним компонентом уявної структури міждисциплінарності як техніки мислення можна вважати контекстність. Чужі слова/терміни, принципи, ідеї набувають сенсу, зрозуміло, у певному контексті. У процесі пізнання спрацьовує т.зв. «синергетичний ефект». Це означає, що текст містить лише 10% інформації, решта 90% – визначається контекстом, який автор вносить у момент сприйняття даної інформації. Міждисциплінарне мислення збагачує контекст, в якому працює дослідник. Інформація, що виникає внаслідок інтелектуального спілкування, не є особистісною, тобто продуктом індивідуального інтелекту, вона (інформація) народжується на перехресті ліній мислі, численних джерел, інтелектуальних імпульсів

різних особистостей, культурно-духовних впливів. Акт когнітивної взаємодії означає перетворювання старого, звичного на нові смисли/сутності, виникнення продуктивних ідей, прийомів, технік дослідження.

Таким чином, питання структури плавно перетікає у проблему розуміння функцій, ролі, значення міждисциплінарності. Безперечно, міждисциплінарність слугує засобом розбудови науки, її динамічного поступу. Основна функція процедури міждисциплінарності – продукування нового знання у вигляді накопичення багажу фактів, запозичення термінів, понять, переосмислення та удосконалення їх на іншому матеріалі, утворення нових дослідницьких стратегій, технік, методик тощо. Деякі автори вбачають у міждисциплінарності (як формі взаємодії між дисциплінами) засіб вирішення проблеми історичного синтезу, символічним втіленням якого на сьогоднішній день виступає ідеал «тотальної історії», задекларований «ною історичною наукою», зокрема представниками школи «Анналів».

На сучасному етапі розвитку науки міждисциплінарність виконує ще одну функцію, скеровану на удосконалення процесів інституціоналізації науки. Результатом міждисциплінарної співпраці є формування нових галузей знання, мережі субдисциплін. Наприклад, у сфері історичної науки виникли такі нові субдисципліни й наддисциплінарні галузі, як історія ментальностей, психоісторія, культурна та структурна антропологія, нова сімейна історія, кліометрика тощо. До нових форм міждисциплінарної співпраці можна віднести спільні комісії, програми, які обслуговують масштабні дослідницькі проекти (космічні, оборонні, боротьба з епідеміями). Консалтинг, експертиза – також різновиди міждисциплінарної взаємодії на організаційному рівні, при цьому фахівці можуть залишатися або у межах своїх дисциплін, або створювати полідисциплінарний методологічний простір.

Поряд з когнітивною та організаційно-інституціональною функціями міждисциплінарність як особлива техніка мислення виконує також інформаційно-комунікативну функцію. Йдеться про виникнення величезних масивів інформації, її носіїв у вигляді глобальних комп'ютерних мереж, масштабних процесів математизації, психологізації, антропологізації знання. Усі ці явища мають величезний вплив на свідомість та мотивацію дій вченого незалежно від його дисциплінарної приналежності, спрощують процеси комунікації у науковому співтоваристві, сприяють виникненню культури діалогу, міждисциплінарних взаємовпливів.

Для розуміння природи міждисциплінарності варто звернутися до її джерел. Невичерпним джерелом міждисциплінарних зв'язків та впливів є соціокультурна реальність, що породжує в індивідуальній та колективній науковій свідомості безліч зв'язків, асоціацій, запозичень між природою та суспільством, суспільством та культурою, культурою та наукою, природничим і гуманітарним знанням, духовним світом і людиною. Самоідентифікація явища міждисциплінарності відбувалась через усвідомлення

розмаїття та складності цих зв'язків, прямих та опосередкованих механізмів їх взаємодії й характеру взаємовпливів.

Важливим джерелом міждисциплінарності залишається сама наука як система дисциплін. Кожна наука має власну ієрархію базових дисциплін та субдисциплін, напрямів. Відтак, історична наука зберігає доволі жорстку ієрархію, на вершині якої знаходяться такі базові дисципліни, як методологія історії, історіографія, джерелознавство; всесвітня історія, національна історія; археологія, археографія, палеографія, дипломатика; сімейство допоміжних дисциплін (геральдика, сфрагістика, нумізMATика, хронологія, фалеристика та багато інших), напрями, як-от античність, медієвістика, новітня історія. Останнім часом у структурах історичної науки витворюються наддисциплінарні поля — історія ментальностей, історія повсякденності, локальна історія, історична антропологія, гендерні студії, історія сексуальності, культурно-інтелектуальна історія.

До речі, суто міждисциплінарний характер має наукознавство, що містить історію природничих та соціогуманітарних наук і перебуває в режимі постійного діалогу з такими новим сферами знання, як філософія і соціологія науки, культурологія.

Найважливішим джерелом міждисциплінарності залишається людина, особистість вченого, її духовно-інтелектуальний потенціал та емоційно-психічний стан. Походження, родина, виховання, освіта, які слугують основою таланту, загальна культура, навички з різних галузей знання, набуті протягом усіх стадій наукової кар'єри, стають невичерпним джерелом знань, які перетворюються на консолідуючий фактор — міждисциплінарну модель інтелектуальної поведінки дослідника. Наступний крок — підвищення рівня методологічної рефлексії, наукової зрілості, творчого та кар'єрного розквіту, що призводить до перетворення звичайних практик міждисциплінарної взаємодії на принцип наукової діяльності. Досвідчений у своїй сфері фахівець мислить, як правило, міждисциплінарно, незалежно від того, чи рефлексує він з цього приводу, чи здійснює це напівсвідомо. Принцип міждисциплінарності означає не продукт ерудиції, а здатність дослідника створювати власний ідейно-методологічний простір, в межах якого можливо розв'язання будь-якої дослідницької проблеми чи наукового завдання.

Міждисциплінарність як онтологічне явище має певні передумови існування. Якщо рухатися від конкретного до загального, то серед передумов варто згадати, по-перше, такий казус, як виникнення проблемної ситуації. Це така ситуація, коли дослідницька проблема, поставлена в межах конкретної наукової дисципліни, не може бути розв'язаною виключно засобами та методами самої ж дисципліни. Необхідною передумовою вирішення цієї проблеми стає вихід у міждисциплінарний простір, створення нового методологічного інструментарію. Проблемна ситуація — це прямий результат активної й самостійної позиції суб'єкта

пізнання — дослідника або групи дослідників, які самі формулюють проблему дослідження й свідомо шукають шляхи її вирішення. Парадокс полягає в тому, що формулювання незвичайних, «проривних» тем, т.зв. надпроблемних полів, відбувається зазвичай на «стику» різних дисциплін. Це означає, що сучасне знання зламає, розриває, деформує дисциплінарні межі індустріальної, «великої» науки.

Наступний чинник, що активізує міждисциплінарну свідомість та когнітивну співпрацю, — це ситуації «ідеологічної кризи», «наукової революції», «інтелектуального повороту», «історіографічного перевороту» тощо. Історія науки постає у вигляді періодичних флуктуацій (коливань) фаз мирного, спокійного розвитку/стану науки та бурхливих періодів криз і революцій в науці.

Кожна наука задля динамічної рівноваги знає й переживає «нормальну логіку криз». Криза в науці — це природний стан науки, що характеризується співіснуванням старого і нового, інтенціями оновлення мови науки, ідеалів науковості, методологічного апарату, кадрів, стратегій та технік дослідження. У моменти криз, зламів і «поворотів» міждисциплінарність як техніка мислення стає затребуваною й поширюється не лише серед генераторів і критиків ідей, а також розробників та виконавців цих ідей. Очевидно, у періоди «спокійного» стану науки переважає така форма взаємодії між дисциплінами, як проста «міждисциплінарна дифузія», натомість наукові повороти/перевороти провокують активність дослідника, орієнтують на пошук нового (методів, ідей, теорій, схем, технік дослідження). Помічено, у «періоди криз» науки, «наукових революцій» тіснішими й частішими стають контакти між вченими, порушуються ієрархічні зв'язки, усталений науковий етикет, посилюється інтерес до минулого власної науки та суміжних сфер знання. Міждисциплінарність в таких умовах слугує одним з дієвих засобів виходу з глухого кута недієздатності великих або дрібних теорій, відсутності продуктивних дослідницьких технологій.

Цілу низку соціокультурних передумов виникнення феномену міждисциплінарності становлять зміни культурно-історичних епох, духовних цінностей, інтелектуального ландшафту — картини світу, наукового світогляду певної доби. Згадаймо, що міждисциплінарність є іманентною ознакою процесу пізнання, але за певних культурних, духовно-інтелектуальних обставин міждисциплінарність змінює свій статус звичайної, дещо «прихованої» невідрефлектованої техніки мислення на «міждисциплінарну парадигму» (у даному випадку концепт «парадигма» використовується як синонім слова «принцип», що означає засновок, норму мислєдіяльності, інтелектуальної поведінки). Коли й як відбуваються такі метаморфози міждисциплінарності?

Соціокультурною передумовою слугує зміна образів науки. Протягом другої половини ХХ ст. відбувався й досі триває процес зміни в широкій

науковій свідомості традиційного, дисциплінарного образу науки на новий, проблемний. Дисциплінарний образ науки — справжній витвір доби Модерну. Саме в індустріальну епоху виникає «велика наука» як сукупність дисциплін із своєю ідеологією, кадрами, інституціями, стандартами професійності, етикою та нормами поведінки в середині наукового співтовариства. Дисциплінарний образ науки передбачає погляд на науку як сукупність дисциплін і має свої константні характеристики.

1. Визначальною ознакою даного образу є монодисциплінарність, що означає спрямованість конкретної дисципліни як складової «великої науки» на вузьку спеціалізацію. Кожна наукова дисципліна прагне «вирити» власний, якомога глибший, відгороджений від інших, «колодязь знань». В межах сучасної науки нараховується близько 8200 дисциплін.

2. Наука індустріального суспільства має державно-адміністративний, замкнено-корпоративний характер. «Індустріальна наука» обслуговує потреби держави (економічні, політичні, екологічні, ідеологічні) і залишається потужним інструментом впливу на суспільство, громадську свідомість. Водночас «велика наука» корпоративна, яка пропонує жорсткі освітні та кваліфікаційні цenzi, систему атестування (наукові ступені, вчені звання), певну етику та норми інтелектуальної поведінки.

3. Організаційна структура «індустріальної науки» — багатовимірна. Виокремлюють різні сектори та сегменти науки, конфігурації і форми взаємодії дисциплін: академічна — вузівська — галузева — незалежна наука; наука в центрі та на периферії. Останнім часом набуває ваги т.зв. незалежна наука, яка є найбільш комерціалізованою з огляду виконання функцій експертизи, консультування, маркетингу. У тоталітарних режимах наука, як відомо, зазнає потужного адміністративного та ідеологічного тиску. Негативними рисами «великої науки» є ієрархічність, замкненість, серійність, гігантоманія консерватизм, надмірна бюрократизація наукової діяльності (звіти, гранти, наукові ступені, малоефективний менеджмент).

4. Цінності Модерну цілком відповідають таким цінностям/нормам «великої» або монодисциплінарної науки, як вузька спеціалізація, конкретність, закритість, монологічність, а звідси непопулярність, навіть неприйняття стихійних, тобто відрефлектованих міждисциплінарних практик дослідження. Ідеалом науковості індустріально-орієнтованої науки є класична математична модель дослідження, з її пріоритетами логіки, аналізу, цілісності, завершеності.

Основою дисциплінарного або дисциплінарно-організованого образу науки, який остаточно сформувався у добу індустріального суспільства, залишається лінійне мислення. Лінійність мислення (закон лінійності) означає поступальний хронологізм, поступово-логічне розгортання подій, явищ, станів, визнання процесуальності, причинно-наслідкових зв'язків. Лінійне мислення визнає універсальний характер динамічних законів, закономірність процесів у природі та суспільстві. Лінійне мислення

кореспондується з усталеним науковим співтовариством, яке має корпоративно-ієрархічну структуру, «цехову» етику поведінки та мотивацію творчого процесу.

У добу Постмодерну поруч із традиційним, дисциплінарним образом науки став витворюватися новий образ науки. У сучасній літературі цей образ має різні означення: «проблемно-орієнтована наука», «постнеокласична наука», «проблемний образ науки».

Проблемний образ науки має свої специфічні ознаки. По-перше, йому властиві відкритість, свідомо відмова від «глухоти спеціалізацій» на користь дисциплінарного поліфонізму. По-друге, діалогізм, комунікація як засіб існування (автор/дослідник тексту, автор/читач, користувач/Internet). До речі, в умовах існування глобальних комп'ютерних систем спостерігається нівелювання науково-корпоративних зв'язків та ієрархій. По-третє, наука доби Постмодерну має «ринковий» характер. Це означає, що знання, вміння, навички, досвід дослідника перетворюються на інтелектуальну власність. Дійсно, в умовах інформаційного суспільства, де поцінюється не промислово-технологічний потенціал, а знання, наука перетворюється на культурний капітал, символічну владу. Наука інформаційного суспільства втрачає замкнений, корпоративний характер. Руйнуються, ніби «зсередини», численні ієрархії «великої науки», її секторів/сегментів (академічної, університетської, галузевої та незалежної науки). Звичайно, демократизації науки сприяє мережа Інтернет, виникнення величезних інформаційних потоків, які можуть надавати знанням «версіальний» характер. Таким чином, відпадає необхідність доводити й обґрунтовувати свою точку зору, відбувається нехтування корпоративними цінностями, Інтернет «урівнює» академіка і студента, фахівця і аматора, маячню й справжнє знання. Щоправда, глобальні інформаційні мережі сприяють активізації наукових контактів, скорочують терміни оприлюднення результатів дослідження, наукових відкриттів, їх входження до вжитку споживачів, експертів, наукового співтовариства у цілому.

Інформаційне суспільство корегує аксіологічні орієнтири вченого, цінності науки, культуру наукового дослідження. Надбанням Постмодерну вважаються полікультурність, широка оптика мислення, відсутність ієрархій, вивищення ролі суб'єкта пізнання, «калейдоскопічність», «кліпова демократія».

Змінюється ідеал науковості: раціональне співіснує з ірраціональним, в гуманітарних науках місце аналізу заступає розуміння, природничі науки повертаються до людини. Нова парадигма — це парадигма гуманітарного знання, ідеал математичного дослідження поступається різноманітним дискурсивним практикам.

Проблемно-орієнтований образ науки має своїм підґрунтям нелінійне мислення. Ідентифікуючими ознаками сучасного, нелінійного мислення вважаються нестабільність, несталість мислення, що означає подолання дисциплінарних умовностей й кордонів, свідоме використання понять,

ідей, методів із суміжних галузей знання. Важливими характеристиками нелінійності є відсутність симетрії, незворотність процесів самоорганізації систем (що репрезентує на концептуально-когнітивному рівні така світоглядна дисципліна, як синергетика), а також принцип релятивістської інваріантності, свобода вибору дослідника (права вибору він не мав в межах «індустріальної», монодисциплінарної науки), відповідальність за свою наукову діяльність та прогностичну роль науки.

У сучасних умовах формується нелінійне інтелектуальне співтовариство, представники якого сповідують власні наукові ідеали та дотримуються різних стандартів професійності, що долає дисциплінарну герметичність, демонструє готовність до когнітивної співпраці, інтелектуального діалогу. Цінністю нелінійного наукового співтовариства є норма вибору, наукового, ідеологічного, морального, й разом з тим повага до вибору іншого члена співтовариства. Словом, нелінійне наукове середовище порушує внутрішньо-дисциплінарні ієрархії, ідеологічні констатації, бар'єри неприйняття та непорозуміння.

У підсумку зазначимо, що основна тенденція сучасного пізнання пов'язана із конвертацією природничого знання у гуманітарне. Нинішня наука успішно долає відчуженість людини від природи, всупереч багатовіковим традиціям мислення сьогодні природничі науки зорієнтовані на людину та суспільство. З іншого боку, інтереси соціогуманітарних наук у сучасній духовно-інтелектуальній ситуації чим більш дедалі зосереджуються на «кордонах» — наук, мов, культур, країн, регіонів. Таким чином, з огляду на те, що в сучасній науковій свідомості немає «прірви» між природничим та соціогуманітарним знанням, вивиснується значення універсальних технік мислення, зокрема міждисциплінарних.

Цілком зрозуміло, що перехід до міждисциплінарності — це результат зміни дисциплінарного образу науки на проблемний. Як відомо, проблемний образ науки орієнтований здебільшого на когнітивно-рефлексивну активність суб'єкта пізнання, який сам формулює дослідницьку проблему й вирішує її усіма можливими для нього засобами. Більш того, міждисциплінарність змінює свої якісні характеристики. У нинішній духовно-інтелектуальній ситуації міждисциплінарність з простого акту мислеліальності перетворюється на домінуючий принцип мислення, норму розумової поведінки, міждисциплінарну парадигму як універсальну когнітивну технологію.

Література

1. *Мирский Э.М.* Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. — М., 1980. — С. 249.
2. *Студенников И.В.* О междисциплинарных исследованиях: к вопросу о содержании понятия // Записки исторического ф-та ОдГУ. Вып. 1. Одесса 1995. — С. 58, 61.

3. *Репина Л.П.* Опыт междисциплинарного взаимодействия и задачи интеллектуальной истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып.15. – М.,2005. – С. 5–14.

4. *Уйбо А.* Реконструкция исторического прошлого как междисциплинарная задача // Ученые записки Тартуского университета. Смысловые концепты историко-философского знания. Труды по философии XXXV. 1990. – С. 76–92. / <http://abuss.narod.ru>

5. *Berger J.* Opinions and facts // Interdisciplinarities: Problems of teaching and research in universities. – P., 1972. – P. 23–75.

С.И. МАЛОВИЧКО

«ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ» ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Новейшие историки уже на заре появления европейского письменного исторического знания находят его разные типы и неоднозначное отношение историописателя к прошлому. Р. Дж. Коллингвуд в книге «Идея истории» указал, что если Геродот «и отец истории, то Фукидид, несомненно, — отец психологической истории» [1, с. 31]. Д. Р. Келли во вводной главе работы «Лики истории» представил двух древних историков как два разных лика Януса; причем Геродот явился родоначальником «нарративной» («narrative»), Фукидид — «аналитической» («analytical») истории [2, Р. 1–18]. Одной модели письма истории не существовало уже в древности, но сегодня мы наблюдаем не только историографическое многоголосье, но и быструю смену научных направлений и исследовательских областей дисциплинарной истории.

Можно заметить интересную тенденцию: с одной стороны, возрастает специализация различных научных дисциплин и стремление к ликвидации внутридисциплинарной деривации. С другой стороны, видна противоположная практика к интеграции с иными дисциплинами, отказа от своей дисциплинарной «чистоты», стремления к новому научному синтезу, где происходит, как пишет немецкий историк Отто Герхард Эксле, «раздисциплинирование» традиционных гуманитарных предметов [3, с. 394, 412]. Кроме того, наблюдающийся эпистемологический взрыв способствует выработке открытой для использования социо-гуманитарными дисциплинами *Теории знания о Человеке* (над-методологии). Возвещающая о «*возвращении субъекта*», она уже превратилась в междисциплинарную *Теорию*, дающую возможность ее потребителям выходить за узко-дисциплинарные дискурсы, применять ее в полидисциплинарных исследовательских полях и увеличивать число научных субдисциплин.

Современная глобализация социальных и культурных процессов поставила перед профессиональными историками несопоставимые с прежними вопросы, выходящие за рамки привычных национальных и евроцентристских практик. Наука модерна, закладывавшаяся европейским Просвещением и создававшаяся в XIX — первой половине XX вв., не оправдала ожиданий и перестала удовлетворять требованиям постмодерна. Неслучайно историки стали называть общественный проект науки

времени модерна очередной «мировой теорией» или очередным мифом [4, Р. 163–177].

Остается в прошлом эпоха, основанных на функционализме детерминистских учений, искавших всеобщность и «объективность». «Сама по себе смена одного учения на другое, — пишет Д.Р. Хапаева, — конечно, мало смутила бы научную общественность. Проблема стала напряженно ощущаться потому, что исчезнувшие старые модели, которые вскрывали суть происходящего с помощью анализа глобальных структур, не были заменены новыми... На месте нескольких учений, способных разложить любую сложную общественную ситуацию на серию простых схем, возникло несметное множество новых направлений, носящих разные названия» [5, с. 22]. Историки, оказавшиеся под влиянием постмодерна (с его неприятием глобальных объяснительных схем), признали многообразие методологических подходов и исследовательских приёмов, позволяющих реконструировать прошлое, чем заложили основы *новой историографической культуры*.

Перспективу преодоления классической европейской историографической культуры историки увидели еще в 60-х гг. XX в., когда многих перестала удовлетворять традиционная политическая история. Манифестируя задачи *социальной истории*, ученые пытались проследить исторический опыт обычных людей, не участвовавших в национальной политике или государственной деятельности. Со временем сама социальная история стала дистанцироваться от экономической истории и приобретала все более фрагментарный характер, т.к. предмет ее исследований сосредоточивался на *исторической демографии, трудовой, городской*, а с конца XX в. и на *сельской истории* [6, с. 5].

Социальные историки, выступающие против традиционной «истории сверху», все больше разочаровывались в макроистории, в гранд-нарративе и в метаисторических теориях: позитивизме, марксизме, структурном функционализме, теории модернизации и др. [7, Р. 29–30]. Неслучайно, социальные историки стали более внимательно относиться к «единичному», к микроструктурам, обратили взгляд на маргинальные общественные проявления, на субкультуры, а также на людей, единственный вклад которых в историю состоял из того, что они родились и жили «неприметной» жизнью. Инвалиды и представители угнетённых национальных меньшинств становятся вполне законными, если не привилегированными предметами изучения: они легко затмили военных героев и даже идеологических основателей наций. Как замечает Питер Бёрк, *микроистория, и история повседневности* стали реакцией против изучения «великих социальных тенденций», «общества без человеческого лица» [8, Р. 20].

Происходившие в исторической науке изменения отразились на тематике исторических исследований, которую по французскому журналу «Анналы» проследил Линн Хант, отметивший тенденцию резкого ослабления интереса исследователей к политической истории. Так в период с 1965

до 1984 г. интеллектуальная и культурная истории были представлены приблизительно 35% статей, тогда как статьи по политической истории составили лишь 11–14%. Четвёртое поколение школы «Анналов» уже отходит не только от экономической, но и от традиционной социальной истории. Углубляющийся интерес к исследованию «менталитета», породил вызов новой парадигмы «Анналов» [9, Р. 6].

«Новая история» или «новая историческая наука» возникла из интереса к любой человеческой деятельности как альтернативы социально-политически направленному историописанию и решительно поставила вопрос о значении социального, в котором многие историки увидели по существу культурную сторону. В исторической науке обозначился неоднородный взгляд к контекстным терминам *социальное/культурное*. Одни историки, работавшие в традиции старого и нового позитивизма, продолжали видеть в истории социальную науку, другие, под влиянием Мишеля Фуко и Клиффорда Гирца, посмотрели на нее как на специальную гуманитарную сферу знания и для анализа исторических событий стали использовать методы культурной антропологии. Как следствие, уже за вполне уверенной в себе «новой социальной историей» с конца 80-х гг. последовала одинаково уверенная в себе «новая культурная история» [10, Р. 36–37].

Возросший интерес историков к разнообразию человеческой деятельности в прошлом и рефлексия о социокультурной ситуации последних десятилетий XX в. поставил под вопрос актуальность национальной истории. «Трагический опыт XX в. сделал её неподходящим источником позитивной идентичности», замечает Н.Е. Копосов. «Вслед за классами государства и нации покидают подмошки истории» [11, с. 135]. Дисциплинарная историография начала все четче формулировать задачу выхода исследований за национальный, узко государственный уровень. Неслучайно, даже стали раздаются призывы «спасать историю от нации» [12, Р. 398].

Таким образом, внутренние изменения, переживаемые современной исторической наукой, вряд ли можно характеризовать понятием «кризис». «Дробление и мельчание европейского исторического знания на протяжении всего XX в., — подчеркивает М.А. Бойцов, — отмечены многократно — эта тенденция очевидна... На то, что нынешняя история европейского образца — в осколках, жаловались и жалуется постоянно, призывая срочно приниматься за их склеивание. Но почему-то мало кому хватает смелости признать очевидное — это и есть сейчас, наверное, самое естественное и, более того, единственно возможное состояние истории» [13, с. 17–41].

«Измельчение» исторической науки является ответом историографии на актуальный социокультурный вызов постмодерна, а теперь уже и пост-постмодерна. Идёт демократизация исторического знания: ситуация в профессиональной историографии является лишь одним из примеров увеличивающегося разделения труда. Внутри происходящего в дисциплине движения мы теперь не предназначаем наше письмо истории

не только для «всех», но и для «многих». Эмма Дж. Лапсански по этому поводу замечает, что исследователи уже пишут не для всего профессионального сообщества историков, печально, но это так, часто они даже не стремятся говорить с любым, кто хочет знать о прошлом. Однако есть важные преимущества. Демократизация дисциплинарной истории «помогает различать: кто мы и что мы» [14, Р. 1351].

В последние десятилетия, как никогда ранее, заметно желание ученых понять смысл гуманитарной науки как органической целостности. Не удивительно, что интенсивные поиски новых смыслов гуманитарного знания заставили обращать особое внимание на метафору «новая». Современные историографические тексты стали пестрить концептами: «новая историческая наука», «новая культурная», «новая социальная», «новая интеллектуальная», «новая локальная» и др. истории. В каждом из них была заложена риторическая фигура – антитеза: «старая». Тем самым, «новая» история заставляла вспомнить «старую», «традиционную» историческую науку, стимулируя исследовательские усилия для сравнительного анализа «старого» и «нового» [15, с. 6].

Процесс появления «нового», и, следовательно, переосмысления «старого» – одна из основных парадигм развития современного научного сообщества. Наблюдавший за процессом так называемого «измельчения» истории в конце XX в. Питер Бёрк увидел в нем саму суть «новой истории» и пояснил, что мы двигались от идеала «Голоса Истории» (единственно возможной истины) к разноголосице, гетероглоссии (*heteroglossia*) [8, Р. 6–8]. Уже через несколько лет, в начале XXI в. Ребекка Спэнг об этом процессе с иронией заметила, что клиометрия пришла и ушла; новая социальная история превратилась в «старую шляпу»; нарратив был восстановлен... тотальная история уступила место микроистории и т. д. [16, Р. 119].

Историографические практики последних лет свидетельствуют о драматических изменениях в способах, которые позволяют историкам на основе уже известных источников по-новому задумывать и проводить репрезентации прошлого. Появление множества исторических субдисциплин, стремление к полидисциплинарности исторических занятий в широком комплексе гуманитарного знания о культуре и человеке привело к появлению новых терминов и понятий, методов и исследовательского инструментария. Представителям разных исторических субдисциплин становится все труднее говорить друг с другом, Однако мы должны выдерживать эту ситуацию, она принесла надежду на синтез, отметил Питер Бёрк [8, Р. 20].

Объектами изучения историков пост-постмодерна становятся *образы*, а не события, поэтому, современная наука стала меньше внимания сосредоточивать на событийной истории. В связи с этим, исследователи придают большее значение источникам, отражающим человеческую субъективность. Поворот гуманитарных наук к субъекту не мог не отразиться на

историографическом поле дисциплинарной истории. Исследователи теперь уделяют больше внимания сознательным и субъективным акцентам действий исторических агентов и историописателей того или иного времени и, напротив, теряют интерес к надличностным, объективным факторам. Представление о самой истории как конструкте сознания, позволяет видеть единственный способ её понимания в изучении конструирования и функционирования истории в настоящем [11, с. 126].

Историческая наука может похвалиться перед другими дисциплинами своим давним вниманием к собственному прошлому, которое в институциональном виде получило название «историография». Тем не менее, уже с конца XX в. мы наблюдаем отклонение от интерналистского подхода к истории науки (рациональный, прагматически направленный на иерархизацию знания), когда при освоении историографической проблематики трудно было обратиться к реальному полю исторической мысли, следуя давно предначертанным этапам, сменяющимся направлениям и школам. Тем самым, интерналистский подход отводил описательной историографии привилегированную роль в системе исторического знания. Однако интерес стал представлять более широкий надрациональный подход, соотносящий науку с современным ей обществом и сосредоточивающий интерес не только на феномене историописания, но и на историческом сознании, и внедисциплинарных интеллектуальных практиках.

Традиционная концепция «истории – повествования» сменилась «историей – проблемой», которая в области истории исторической мысли обратила внимание не столько на авторские концепции, сколько на конструкцию трудов историков, на созданность исторического нарратива [17, с. 102]. Историки стали более чувствительны к проблеме понимания, а также к вопросам субъективности и случайностей, вызванных социальной реальностью, что в свою очередь потребовало от исследователей глубокой методологической рефлексии.

В историографии ширится интерес к изучению различных форм проявления исторического сознания человека, в том числе усиливается внимание исследователей к *исторической памяти*. По замечанию И.М. Савельевой и А.В. Полетаева, это «представления о прошлом, существующие в обществе как на массовом, так и на индивидуальном уровне, включая их образный, когнитивный и эмоциональный аспекты» [18, с. 31]. Историки давно употребляют концепт «коллективная память», обозначающий комплекс разделяемых каким-либо обществом мифов, традиций, верований, представлений о прошлом. Однако, как указывает Л.П. Репина, «некоторые авторы, особенно в последнее время, предпочитают все же различать память коллективную и память социальную... «Историческая память» понимается как коллективная память (в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание группы) или как социальная память (в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание общества),

или в целом — как совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом» [19, с. 9–10].

Активную роль в изучении исторического знания играет *интеллектуальная история*. Методологическая рефлексия последней позволила выработать новый подход, базовой характеристикой которого «является признание активной роли языка», текста и нарративных структур в конструировании исторической реальности и, соответственно, предпочтение, отдаваемое анализу дискурсивной практики», подчеркивает Л.П. Репина [20, с. 184]. Историки концентрируют внимание на феномене самого исторического нарратива и проблеме авторской репрезентации текста, на категориях исторического мышления и конструктах исторической памяти.

В рамках *новой интеллектуальной и новой культурной историй*, а в последнее время *новой культурно-интеллектуальной истории*, в качестве одного из подходов был принят широкий контекстуализм или взаимосвязь окружающей культуры и текстов, «внешнего» и «внутреннего» [21, Р. 1–19; 22, Р. 94–95; 23, с. 41]. Теоретическая модель, названных субдисциплин основывается на сложных интерпретационных методах. Поэтому, о проблеме личностного и глобального в пространстве интеллектуальной истории, Л.П. Репина замечает, что личностный и глобальный аспекты «имеют нечто существенно общее в своих теоретических основаниях — это, прежде всего, понимание социокультурного контекста интеллектуальной деятельности как культурно-исторической ситуации, задающей не только условия, но вызовы и проблемы, которые требуют своего разрешения» [24, с. 10].

Практика использования компаративных подходов в истории немедленно повлияла на проблемные области истории исторической науки и истории исторического знания. Современная *компаративная историография* становится определённым жанром, обращающим внимание на историографическую типологию, теоретические вопросы историографии в пределах от общего и философского до специфического и эмпирического [25, Р. 25–32]. Как мне уже приходилось указывать, возможности компаративной историографии следует использовать как в изучении национальных дискурсивных приёмов в рамках классической европейской историографической традиции, так и отдельных уровней исторического знания, а также типов исторического письма в национальной историографии. Однако подобное исследование становится совершенно не плодотворным в случае проведения простой описательной процедуры, выявляющей новые направления, под которыми понимается лишь расширение тематики исследований [26, с. 8–9].

Практику компаративной историографии сегодня широко применяют в проблемных полях новой интеллектуальной, новой культурной и новой культурно-интеллектуальной историй. Изучение *иных* представлений о

прошлом позволяет увидеть, что стандартное для Европы понятие «истории» является доминирующей, но все же региональной культурной спецификой, а ее традиционное понимание и использование не обязательно лучший инструмент для кросс-культурных исследований [27, Р. 261–274]. Определенным выходом из заколдованного круга, созданного классической европейской историографией является внимательное отношение как к самой европейской науке, так и к иным практикам понимания прошлого. Большой интерес представляет изучение исторических конструкций, созданных людьми, оказавшимися на пересечении европейской и восточных культур [28, с. 336-354]. Неслучайно, исследователи становятся более чуткими к альтернативным формам исторической репрезентации, что ведет за собой признание множественности историчности [29, Р. 366–383].

Таким образом, «измельчение» исторической науки это не состояние ее кризиса, а адекватный ответ историков на вызов актуальной социокультурной ситуации. Метафора «измельчение» указывает лишь на отличный от классической европейской исторической науки образ современной историографии, но совершенно не претендует на характеристику новой историографической культуры, уже немислимой без сосуществования конкурирующих актуальных практик исторического исследования. В рамках новой историографической культуры происходит интенсивный методологический и инструментальный поиск современных историков, который обеспечивает создание новых исторических субдисциплин и альтернативных исследовательских программ.

Литература

1. *Коллингвуд Р.Дж.* Идея истории. Автобиография. — М.,1980.
2. *Kelley. Donald R. Mythistory // Kelley. Donald R. Faces of History: Historical Inquiry from Herodotus to Herder. — New Haven and London: Yale Univer. Pr., 1998.*
3. *Эксле, Отто Герхард.* Культура, наука о культуре, историческая наука о культуре: размышления о повороте в сторону наук о культуре // *Одиссей: Человек в истории. 2003 / Гл. ред. А.Я. Гуревич. — М.,2003.*
4. *Chayut, Michael.* Tragedy and Science // *History of European Ideas.— 1999. — Vol.25. — No.4.*
5. *Ханаева Д.Р.* Герцоги республики в эпоху переводов: Гуманитарные науки и революция понятий. — М.: НЛЮ, 2005.
6. *Булыгина Т.А., Маловичко С.И.* Культура берегов и некоторые тенденции современной историографической культуры // *Новая локальная история. — Ставрополь: СГУ, 2004. — Вып. 2.*
7. *Pomata, Gianna.* Telling the truth about micro-history: a memoir (and a few reflections) // *Netværk for historieteorier og historiografi. Arbejdsrapport nr. 3. — Copenhagen, 1999.*

8. *Burke, Peter. Overture: the New History, its Past and its Future // New Perspectives on Historical Writing / Ed. by Peter Burke. 2nd edition. — University Park, PA: Pennsylvania State Univer. Pr., 2001.*

9. *Hunt, Lynn. History, Culture, and Text // The New cultural history / Edited by Lynn Hunt. — Berkeley: Univer. of California Pr., 1989.*

10. *Sewell, William H. Jr. The Concept(s) of Culture // Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture (Studies on the Society and Culture). No.34. Ed. by Victoria E. Bonnell and Lynn Hunt with an afterword by Hayden White. — Berkeley and Los Angeles: Univer. of California Pr., 1999.*

11. *Копосов Н.Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. — М.: НЛО, 2005.*

12. *McKeown, Adam. Rethinking American History in a Global Age // Journal of World History. — 2004. — Vol. 15. No. 3.*

13. *Бойцов М.А. Вперед, к Геродоту! // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. — М.: РГГУ, 1999. — Вып. 2.*

14. *Lapsansky, Emma J. An Honor System for Historians? // The Journal of American History. - 2004. - Vol. 90. No. 4.*

15. *Маловичко С.И., Бульгина Т.А. Современная историческая наука и изучение локальной истории // Новая локальная история. — Ставрополь: СГУ, 2003. — Вып. 1.*

16. *Spang, Rebecca L. Paradigms and Paranoia: How Modern is the French Revolution // The American Historical Review. — 2003. — Vol. 108. No1.*

17. *Репина Л.П. От истории идей к интеллектуальной истории (Аналитический обзор) // XX век методологические проблемы исторического познания. — М., 2002. — Ч.2.*

18. *Савельева И.М., Поletaев А.В. Прагматика истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. - М., 2003. - Вып.10.*

19. *Репина Л.П. Образы прошлого в памяти и в истории // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени / Отв. ред. Л.П. Репина. — М., 2003.*

20. *Репина Л.П. «Второе рождение» и новый образ интеллектуальной истории // Историческая наука на рубеже веков. — М.: Наука, 2001.*

21. *Kelley, Donald R. Intellectual History and Cultural History: the Inside and the Outside // History of the Human Sciences. — 2002. — Vol. 15. No. 2.*

22. *Kramer, Lloyd. Intellectual history and philosophy // Modern Intellectual History. — 2004. — Vol. 1. No. 1.*

23. *Колесник І. Культурно-інтелектуальна історія як дзеркало «нової наукової революції» // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки. — Кіпв, 2005. - Вип. 1.*

24. *Репина Л.П. От личностного до глобального: Еще раз о пространстве интеллектуальной истории // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. — М.: КомКнига, 2005. — Вып. 14.*

25. *Lorenz, Chris*. Comparative Historiography: Problems and Perspectives // *History and Theory*. – 1999. – Vol. 38. No.1.
26. *Маловичко С.И.* Тип исторического знания в провинциальном историописании и историческом краеведении // *Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории*. – Ставрополь, 2005. – Вып. 7.
27. *Hirsch, Eric, Stewart, Charles*. Introduction: Ethnographies of Historicity // *History and Anthropology*. – 2005. Vol. 16. No. 3.
28. *Маловичко С.И.* Историческое сочинение гимназиста горца: синтез европейской историографической традиции и локальной практики // *Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории*. – Ставрополь, 2007. – Вып. 9.
29. *Murphy, Anne*. History in the Sikh Past // *History and Theory*. – 2007. – Vol. 46. No. 3. – P. 345–365; Pollock. Sheldon. *Pretextures of Time* // *ibid*.

Т.Н. ПОПОВА

ИСТОРИОГРАФИЯ В ПОИСКАХ СВОЕГО ОБНОВЛЕНИЯ

...эпистемологический самоконтроль представляет собой важную и неотъемлемую сторону исторического исследования...

А.Я. Гуревич

Историография как исследовательский ландшафт профессионального исторического знания, сфокусированный на познании самого познавательного процесса в области истории, переживает своеобразный период своего бытия. Для каждой дисциплины, как известно, характерен свой «ритм движения»: чередования «моментов взрыва» — обретения нового качества; «пиков агрессии» — воздействия на иные области знания; континуума и кумуляции — периодов адаптации и рецепции инноваций; стагнации и кризиса. Выработка стратегии по поддержанию своего статуса, как известно, начинается с самоанализа: что собой представляет дисциплина, с которой привыкли идентифицировать себя профессиональные историографы и каковы предлагаемые «версии» обновления?..

1. Дисциплинарные традиции или «герменевтические оппозиции»?

«Фактор институционализации» — когерентности, сцепления единой социокогнитивной системы — начинает «пробуксовывать»; «агрессии» направлены в целом на дисциплинарный статус историографии, который наиболее отчетливо представлен такими параметрами как самоназвание — «имя» дисциплины; проблемное поле; методологический арсенал; место в «дисциплинарном семействе» исторических наук; состояние научного сообщества и самоидентификация историографов. Все эти основные маркеры дисциплинарности теряют свои «привычные» контуры в границах становления национальной науки «постсоветского» времени. «Перестройка интеллектуального содержания» любой состоявшейся научной дисциплины, т.е. стремление по-новому понять ее проблематику, эвристические возможности и устранить источники, угрожающие ее когнитивному статусу посредством объединения с другими исследовательскими областями эффективны лишь в том случае, если данная дисциплина сможет «повысить уровень своего интеллектуального содержания», не потеряв при этом «собственных когнитивных границ», «служебной функции», ресурсов; «уход» выдающихся ученых, специалистов в данной области,

реорганизация факультетов, изменение состава научного сообщества в силу различных причин, непосильное принятие на себя новых «сверхзадач» и проч. — «опасны» для бытия дисциплины [1, с. 143—145]. Сохранение дисциплинарного статуса зависит от выработки оптимальной стратегии по его укреплению, что, в свою очередь, требует не только рассмотрения «предложений» по «приобретению нового качества», но и осмысления различных «образов» историографии, в том числе — «мифологических», создание которых в силу разных причин («забвения», «разрыва традиций», «совмещения», «подмены», «редукции» и проч.) неизбежно в «переломные эпохи». На протяжении длительного периода (с конца 80-х гг.) наблюдается не просто «проникновение», но «экспрессивное вторжение» терминологии западной исторической науки со своими образами «дисциплинарных шлейфов» в «историографическое советско-постсоветское пространство» [2, с. 44]. Отторжение «советского варианта» историографии в ограниченной — «мемориальной» — форме (Пьер Бурдьё), воспринятой массовым профессиональным сознанием, «методологический вакуум» и проч. обусловили тот факт, что процесс включения операционного инструментария на формальном уровне во многом опередил рефлексию исследовательского поиска, с одной стороны, а с другой — способствовал созданию очередных «мифологем», в том числе — «уничжительных» образов традиционной историографии как научной дисциплины, с изъятием из нее позитивного багажа. «Обвал» публикаций с бесконечным цитированием «титульных лидеров» привел к «смешению понятий», неспособности определиться с историографическим контекстом.

Понятие «контекста» — ключевого со времени возникновения интеллектуальной истории и вместе с ней эволюционировавшего — в историографических исследованиях приобретает сегодня особое звучание. Требование «контекстуализации» как историографический норматив, т.е. в данном случае — «вписывание» автором самого себя «не только в актуальную исследовательскую ситуацию, но и в более широкий теоретический контекст», в современных условиях разрушения «стабильных генеалогий различных наук», отсутствия не только общепризнанных канонов историописания, но и размывания границ самой научной историографии приобретает особое звучание. Для историографической ситуации сегодня характерно исчезновение историографического пространства с «исследовательскими «лакунами»», уже готовыми к заполнению, поэтому процесс перехода от «констатирующей историографии» к «историографии перформативной» должен набирать темпы. Поскольку «историографические традиции существуют в той мере, в какой мы способны их в качестве таковых описать и концептуализировать» [3, с. 348], постольку «перформативные описания» предполагают переосмысление предшествующих идентификаций и самоидентификаций, создание новых «историографических моделей» с новой структурой направлений, течений, школ, дисциплин и прочих форм схематизации «научных

сообществ» или видов «социальной сплоченности» в науке с целью «снабжения» контекстом нашего собственного исследования, обретения им «конкретно-исследовательской и теоретической релевантности» (Е.Е. Савицкий). Создание «картографии» историографических традиций с целью соотнесения с ними своего места в науке способствует идентификационной устойчивости и, в конечном счете, выработке новых парадигмальных оснований «историографического поприща», укрепления его гражданского статуса.

Дисциплинарная структура науки всегда имеет конкретно-временную и регионально-национальную окраску, поскольку вписана в общий контекст культурного развития определенного социума и обусловлена спецификой институционального процесса. Институциональным стержнем, определяющим дисциплинарную доктринальность, маркером самоидентификации, соотнесения с определенной научной (историографической) традицией выступает «имя» научной дисциплины, в котором сконцентрирована социальность когнитивного образования. Если выделить наметившиеся тенденции в современной практике использования конкретных наименований **истории исторической науки** и предметно-содержательного наполнения этой формулы, то можно обозначить несколько линий:

Первая линия — традиционная для отечественной и российской науки (с XIX в., включая советскую эпоху), согласно которой, термин **«историография»** обозначает *специальную историческую дисциплину*, изучающую историю исторических знаний и исторической науки и имеющую широкое проблемное поле, в структуру которого входит комплекс социокогнитивных аспектов бытия исторической науки; термин **«история историографии»**, в свою очередь, обозначает форму историографической рефлексии — *истории истории исторической науки* — уже сложившееся в российской и отечественной науке направление историографических исследований [4]. Данная традиция, репрезентованная преимущественно историками-«отечественниками», начиная с XIX столетия, отразила процесс дисциплинарного формирования истории исторической науки, осмысление и обоснование этого процесса. Определение историографии как специальной отрасли исторической науки (М.Я. Варшавчик, Я.С. Калакура), дисциплины — «важной», но с подчиненно-вспомогательными функциями (Ф.П. Шевченко), не исключало, тем не менее, признания ее широкого проблемного поля. Традиции, заложенные специалистами-«отечественниками», были в общих чертах заимствованы и специалистами в области всеобщей истории как в рамках университетской практики эпохи Российской империи, так и в советский период. Эволюция предмета отражала восприятие конкретных «образов» историографии, которые детерминировали соответствующие подходы к направленности историографических исследований: **(1). Когнитивный образ науки** (в основе — наукоучение о «филиации идей») способствовал преобладанию в «университетской науке» XIX — начала XX вв. **«когнитивного**

подхода», т.е. изучения «исторической мысли», что, не исключало ориентации исследовательского фокуса на иные объекты (научные и культурные традиции; научные учреждения; общий контекст истории науки и т.п.: А.Г. Брикнер, В.С. Иконников, А.С. Лаппо-Данилевский); общий ход историко-научного движения рассматривался в границах кумулятивистской модели. (2). *«Социальный образ»* науки, утвердившийся на основе редуцированного марксизма, обусловил приоритет *«социального» («классового»)* подхода, который фокусировал направленность историографического интереса на «социально-политическую» детерминацию исторических идей, выявление «объективно-классового содержания» исторических концепций, поиск закономерностей историко-научного движения через анализ «борьбы школ и направлений». (3). На «волне оттепели» в процессе дискуссий 60-х гг. по проблемам историографии, которые проходили под лозунгом «нового прочтения» аутентичного марксизма, преодоления социологического редукционизма прошлой эпохи, была выработана новая модель развития исторических знаний, исходя из взаимосвязи ее «внутренних факторов» (когнитивных параметров науки и ее организационных основ) и «внешних факторов» — широкого спектра социально-экономических и политико-идеологических «условий развития исторической науки» (М.В. Нечкина). С рубежа 70-80-х гг. эта модель получила определенную коррекцию с позиций системного подхода (И.Д. Ковальченко); была предложена экспликация понятий «историографические процессы», «историографическая ситуация» (Л.Е. Кертман), «история историографии» (Р.А. Киреева); историографы обратились к категориальному аппарату и исследовательским методикам науковедения / в широком смысле/ (А.М. Сахаров, Д.П. Урсу, Г.П. Мягков, И.И. Колесник и др.). Идея альтернативности когнитивного и социального подходов к изучению истории исторической науки была преодолена советскими историографами уже к середине 60-х гг. на методологической основе «обновленного» марксизма. В советской историографии науки 60–80-х гг. получила свое критическое осмысление проблема «контраверсы интернализм-экстернализм», утвердилась диалектическая модель *«научных революций»*; была выработана новая — *«комплексно-параметрическая модель»* науки. В начале 70-х гг. британскими учеными был предложен *«социокогнитивный подход»* к анализу науки. Параметрический, социокогнитивный образ науки в общей тенденции утверждающейся новой «постмодерной» эпохи — соединения ранее несоединимого — решительно заявлял о своих правах. Несмотря на «консервацию» принципа «противостояния» советской и «буржуазной» науки, внутренняя интеллектуальная оппозиция ученых в отношении «мемориального варианта» официальной методологии выразилась в широком распространении т.н. «эзоповой культуры» 70-х. Как одно из ее проявлений — «эффект интеллектуального конформизма» / своеобразный отток критически мыслящих специалистов в сферу «чистой» теории / (И.И. Колесник) — нашел свою проекцию в стремлении элитарной

части советских историографов к преодолению научного изоляционизма через активную разработку категориального аппарата исторической науки на основе обращения к опыту науковедческих исследований (как западных, так и советских), к популяризации идей «Новой исторической науки», к рефлексии инновационных направлений мировой историографии; эти факты научной жизни повлияли на престижность «ремесла историографов», способствовали становлению определенной «институциональной среды». «Перестроечная эпоха» создала условия для легитимизации новых тенденций историографической практики. К рубежу 80–90-х гг. историографию воспринимали как специальную дисциплину, изучающую закономерности развития исторических знаний и исторической науки (распространилась формула «история знания и исторической науки как социального института) в широком социокультурном контексте. Доктринальная дисциплинарность подкреплялась развитой инфраструктурой, институциональными нормативами, «узаконенными» официальными документами и многочисленной дидактической литературой. «Передний край» науки был представлен в материалах многочисленных конференций конца 80-х — начала 90-х гг., «статейным массивом», в том числе и в зарубежных изданиях, принципиально новыми монографическими и диссертационными исследованиями. Однако «пик» историографической «агрессии» совпал с общим геополитическим и социокультурным кризисом. Новый историографический дискурс не успел стать достоянием широкой массы профессиональных историков, оставшись уделом «узкого круга» специалистов, а историография как неотъемлемая часть всей советской исторической науки оказалась в пучине первой волны гиперкритики новой — «переломной» — эпохи. (4.) В «постсоветском пространстве», в рамках становления национальных историографий в Украине и России, данная традиция в восприятии **историографии** как специальной исторической дисциплины (или специальной отрасли) в целом сохранилась: она представлена в официальных документах (учебных планах, программах и т.п.), в названиях научных структур (кафедр, отделов и т.п.), в наличии специализированных изданий, в структуре официальной классификации «специальных исторических дисциплин», в «номенклатуре» ВАК, в дидактической литературе и др. Содержание этой дисциплины определяют в диапазоне: от вариаций тех формул, которые были выработаны в предшествующий период до интеллектуальной и социальной истории исторического познания и изучения историографического процесса с позиций социокогнитивного подхода — во всей его многомерности, с учетом когнитивных, инфраструктурных и социокультурных параметров развития [5]. «Территория» историографии в значительной мере расширилась: на протяжении 80–90-х гг. сформировался блок различных понятий, обозначающих определенные направления историографических исследований — *проблемная историография, история историографии, региональная историография, биоисториография, культурная*

историография и проч. Историографический синтез получил свой диапазон подходов: социальный, интеллектуальный, сциентистский, социокультурный, персонологический, дискурсивный и проч.

Вторая линия имеет два истока: 1) *«история историографии»* — формула западной науки, не связанная с самостоятельным дисциплинарным статусом истории исторической науки, но выражающая относительно автономное направление исторических исследований, содержание которых — различные аспекты *истории исторического познания*, и входящее в иные более крупные дисциплинарные или интердисциплинарные блоки; в данной формуле термин «историография» означает историческую науку. Практика исследований по истории исторической науки в западной традиции характеризовалась определенным «изоляционизмом»: когнитивные параметры были объектом изучения интеллектуальной истории, философии, теории и эпистемологии истории; социальная проблематика включалась в сферу социальной истории, социологии науки и проч.; 2) формула *«история историографии»* возникла как попытка дисциплинарного обозначения истории исторической науки в «дореволюционной» историографии (профессор П.М. Бицилли, например, в Новороссийском университете читал специальный курс «История историографии» и позже в эмиграции издал «Очерки теории исторической науки», основанные на материалах данного курса, в которых представлено авторское понимание формулы). В большей мере эту формулу использовали и используют сейчас в России специалисты по всеобщей (всемирной истории) для обозначения истории исторического познания, сознания и мышления как субдисциплины, применяя термин *«историография»* в значении синонима самой профессиональной исторической науки (Л.П. Репина, Г.И. Зверева, А.Л. Ястребицкая и др.).

Третья линия — это инновационные предложения, основанные преимущественно на опыте западных традиций и связанные с проектами трансформации истории исторической науки с целью приобретения нового качества: (1). Современные украинские историки считают целесообразным формулу *«история историографии»* в соответствии с западными традициями применять для обозначения *рефлексивной (теоретической) историографии*, которая концентрирует внимание (в отличие от *проблемной историографии*) на общем развитии исторических знаний и институтов определенной эпохи или периода в русле истории науки. Одновременно, термин *«историография»* допускается для использования в двух значениях: исторической науки как познавательного процесса в целом и, учитывая традиции Восточной Европы, — для обозначения «специальной науки», изучающей осуществление и результаты этого процесса. В тоже время, «після ударів, завданих модерному світобаченню зародженням постмодернізму, історіографічне вивчення остаточно надало перевагу пізнавальним (епістемологічним) і знанням (когнітивним) підходам до дослідження історичної творчості, в центрі якої опинилися свідомісні процеси —

історична думка, знання, світогляд, ментальність», в то время как «зовнішні прояви історіописання (твори, інституції, суспільні умови тощо) не зникли з поля зору історіографів, вони розглядають їх передусім як передумову й тло формування індивідуальної та колективної історичної свідомості» [6, с.9]. Исходя из данного концепта, термин «историография» более адекватно отражает эту дисциплину, нежели формула «история исторической науки» (Л.О.Зашкильняк). (2). Поскольку в западной науке история исторических идей (шире — познания) традиционно входила в историю идей — *интеллектуальную историю*, постольку ее трансформация происходит с обновлением самой интеллектуальной истории, которая стала означать «общий подход к истории как истории понимания прошлого». Неотъемлемой частью интеллектуальной истории является история знания, история науки, дисциплинарная история. Историография науки обычно выделяется в «специальную дисциплину» и «сохраняет инерцию «автономного плавания»; ее «ведущая тенденция» состоит в смене «интерналистского» (сконцентрированного на самой науке) подхода более широким — «контекстуальным подходом», соотносящим науку с современным ей обществом. Новая историография науки рассматривает различные области знания как формы общественной деятельности и часть культуры. Таким образом, произошла «легитимизация» не только «социальной», но и «культурной истории», важнейшей предпосылкой которой выступает идея «культурно-исторической детерминированности» представлений о науке и других формах познания. Наряду с историей науки как таковой «центральное ядро» интеллектуальной истории составляет история социогуманитарного знания. В этом массиве «приоритетное место» занимает анализ истории исторического познания, сознания и мышления» - *«история историографии»*, которая радикально преобразилась под влиянием «лингвистического поворота» и конкретных работ сторонников «новой исторической критики»: расширилась ее проблематика, а центральное место отведено «изучению дискурсивной практики историка». Взяв «на вооружение» некоторые принципы и методы литературной критики, история историографии «имеет тенденцию к превращению в ее двойника — *историческую критику*, а интегрируя новые и традиционные методы анализа, получает шанс обрести масштабную и полноценную методологическую базу и стать по-настоящему самостоятельной и самоценной исторической дисциплиной». Для обозначения нового качества в самом имени предложено назвать новую дисциплину «*клиографией*» или «*клиологией*» (Л.П. Репина). Последнее название отражает также тенденцию сочетания историко-историографических, методологических и эпистемологических проблем, имеющую место в конкретной практике последних десятилетий [7, с. 10; 8, с. 100–101]. (3). Новое бытие истории исторической науки рассматривается и в качестве рефлексивного компонента общего «*историографического дискурса*» — широкого понятия, включающего практику исторического

и рефлексия относительно этой практики. С одной стороны, под углом зрения «лингвистического поворота» историография в традиционном своем облике, возможно, предстает в качестве «интеллектуального раритета советской исторической науки», само имя которой напоминает «научный антиквариат», но с другой — историография с ее традиционным опытом выступает как «синхрон и аналог западной нарратологии». Эти области знания, с их универсализмом и одновременно спецификой, можно воспринимать как науковедческую (историография) и лингвистическую (нарратология) рефлексия исторической науки. Изменение в современной интеллектуальной ситуации прежнего образа историографии (с преобладанием экстерналистского подхода к истории идей и проч.), тем не менее, не должно сопровождаться утратой достоинств и приобретений длительной историографической традиции (И.И. Колесник) [9, с. 22–23, 31–34].

Термин «историография» в национальных историографиях «постсоветского пространства» покрывает и сферу исторического знания о предмете собственно истории, и сферу историографического знания о самом историческом знании и его институтах. Среди ведущих факторов, обусловивших эту тенденцию: 1) сближение с западной наукой и ее традициями; 2) обращение к традициям отечественным XIX – начала XX вв.; 3) «оппозиция» в отношении традиций советской науки; 4) специфика социокультурной ситуации «эпохи постмодерна» в целом.

2. «Упразднение» дисциплинарности или дисциплинарная кооперация?

В социокультурной ситуации начала нового тысячелетия отчетливо заявляет о себе тенденция, направленная против дисциплинарного сепаратизма, свойственного новому времени, и ориентированная на поиск «методов получения целостного знания» [10, с. 11]. Главную конфигурационную линию в организационном движении знания определяют сейчас по схеме: «дисциплинарность — междисциплинарность — полидисциплинарность» (М.Ф. Румянцев). Основываясь на модели стадийности дисциплинарной и проблемной организации науки, последнюю связывают с поисками «междисциплинарного синтеза», которая в новом прочтении историков-анналистов «третьего поколения» сфокусирована уже не на унификации результатов и сведении их к единому дискурсу, а на анализе разнообразных «хорошо обоснованных комментариев социальных объектов», полученных от конкретных дисциплин, в соответствии с проблематикой и концептуальным инструментарием в рамках «дисциплинарной традиции», на «сличении» специфических для каждой дисциплины «вопросников, методов, языков и толкований». Стремление к культурной целостности, системный подход, принципы дополнительности и толерантности как нормативы познавательной практики отражают наметившуюся тенденцию «перехода» от междисциплинарности (разнообразных форм взаимовлияния научных дисциплин) — к полидисциплинарности — к изучению конкретного гуманитарного феномена средствами различных

наук (истории, лингвистики, филологии, психологии и проч.), т.е. — «к единству гуманитарного знания». Подобное «синтезированное гуманитарное знание» предполагает востребованность «дисциплинарного багажа» отдельных ветвей гуманитаристики, исключая, в то же время, «какую бы то ни было дисциплинарную иерархию и методико-методологические унификации», ориентируясь на «стереоскопичность видения изучаемых объектов и феноменов, многосторонность их дисциплинарных истолкований, на поиск «единых социокультурных оснований» творческого самовыражения личности в ее конкретно-историческом многообразии и эпистемологических основ «нового синтеза» [11, с. 7–8; 12, с. 53; 13, с. 51–52].

Новое бытие собственно историографии (автор сохраняет терминологию первой «дисциплинарной версии») неразрывно связано с проектами трансформации родовой — исторической науки. Ее образ предстает как сложная система институциональных, организационных форм, дисциплинарных предписаний, формирующих и закрепляющих различные системы представлений («культурно-исторические образцы») об историческом знании, профессии и профессионализме, их преемственности и изменениях (А.Л. Ястребицкая); как «гетерогенная интеллектуальная система», в которой должны «сосуществовать в рамках единого академического сообщества специалисты, идентифицирующие себя с различными дисциплинарными, методологическими, идейно-политическими, социальными и прочими «группировками» (Г.И. Зверева). В связи с этим перед историками стоит сложная задача преодоления разнонаправленности субдисциплинарных векторов с целью выбора новой перспективы, которая была бы способна их «переориентировать и упорядочить, но не игнорировать» (Л.П. Репина).

Такие «лакуны» исследовательского пространства «Новой исторической науки» XX в. (в «собирательном» смысле формулы), как история ментальностей, история повседневности, гендерная история, «новая биографика», интеллектуальная история, локальная история, микроистория и проч. определяют формулой — «новые проблемные поля исторического знания», которые и «потребовали» полидисциплинарности [14, с. 47]. В связи с этим, с рубежа XX–XXI вв. в границах инфраструктуры современной науки «получает все большее наполнение ее междисциплинарная составляющая» — формируются сообщества иной конфигурации: полидисциплинарные и интернациональные, связи внутри которых и между которыми обеспечиваются коммуникативными ресурсами новой информационной эры. Одновременно, складывается сеть «внутридисциплинарных» групп, объединенных различными мотивациями «сплоченности»; появляются также инновационные группы, которые находят единомышленников в более широком интеллектуальном пространстве. В этих условиях менее «жесткой» становится организационная структура, а «принадлежность к ассоциации» — не столь формальна, менее институ-

циональна и не регламентирована профессиональным образованием и статусом. Среди таких междисциплинарных научных сообществ — Международное общество интеллектуальной истории (1994), Российское общество интеллектуальной истории (2001) и др. В этих условиях «актуализируется неформальная структура «незримого колледжа» европейской науки», членство в котором определяется уже «исключительно стилем мышления, духовной и интеллектуальной близостью ученых...» [15, с. 91–92].

Для обновления историографических методик важна практика новых подходов к изучению интеллектуальных сообществ, которые, на наш взгляд, в целом развиваются в границах институционального направления; среди них: 1) социологическая теория «социальных сетей» Р. Коллинза: внимание исследователя должно быть направлено на анализ форм личных связей, т.к. стержневая идея автора в том, что «непосредственное социальное влияние на конструирование идей оказывает сетевая структура отношений между интеллектуалами» [16, с. 32]. При этом, «сетевая схема» создается на основе биографических данных, включая «вертикаль» (связи между поколениями) и «горизонталь» (связи между современниками); 2) «интеллектуальным экспериментом» называют устойчивый интерес историков-анналистов третьего поколения к новым объяснительным моделям «экономики соглашений» и «социологии действия», вырабатываемым сегодня в экономической науке и социологии — т.н. «другая» социальная история [13, с. 54]. Согласно этим подходам, историк должен ставить своей задачей «конструирование социальной ткани», что предполагает «вхождение исследователя в плотную сеть социальных отношений разного характера — конкуренции, солидарности, альянса и т.п.» и, соответственно, — смещение исследовательского внимания с функционирования общественных институтов на стоящие за этим «стратегии» индивидуального и коллективного поведения и его мотивации [17, с. 13]; 3) американская экономическая школа «Историко-институционального анализа», заявившая о себе в 80–90-е гг., концентрирует внимание на мотивационных и информационных аспектах поведенческой модели [18]. Симптоматично в этом плане обращение экономистов в рамках «ИИА» к истории, поскольку именно в «эмпирии», в накоплении опыта описания и анализа поведенческих «конфликтных ситуаций», конкретных случаев «принятия решений» черпают новые теоретические модели необходимую качественную информацию относительно «стратегий» участников социальных практик в своем конкретно-историческом измерении, т.е. — на уровне микроанализа. В связи с этим, вопрос — можно ли осмыслить «макро» через «микро», исключает ли микроистория изучение макропроцессов — выносятся сегодня историками-анналистами в качестве постановочной проблемы [13, с. 52–60].

3. Фокус эпистемологической фрагментарности или стереоскопичности?

Социально, а затем антропологически ориентированные «повороты» в научном познании обусловили выдвигание на первый план не «предмета

науки», а ее «субъекта». В связи с этим, понятия «дисциплина», «специальность», «отрасль», «проблемная область» и т.п. с последней трети XX в. стали обозначать, в первую очередь, конкретные интеллектуальные группировки и научные исследовательские коллективы. В отличие от «жесткого образа» дисциплинарности с приоритетом четкой конфигурации «предмета науки» (модель XVII–XIX вв.) намечился переход к более «гибкой версии» научной дисциплины, ведущей характеристикой которой выступила категория «научное сообщество». Введенное понятие «степень институционализации» (Р. Уитли) соотносится со структурированностью поведения ученых и значений терминов, принятых в отдельной исследовательской области, т.е. — конкретным коллективом, профессионализмом которого определяется блоком дисциплинизирующих нормативов. Вряд ли стоит жестко «диахронизировать» организационные формы науки: «дисциплинарность» и «проблемность» — два типа ее организации, которые, дополняя и восполняя друг друга, образуют, тем не менее, неразрывное целое — науку, многоструктурное, многоуровневое и полисистемное образование. Современная структура науки более напоминает «проблемно-дисциплинарный» тип организации. Ее «передний край» всегда организован проблемно и часто исследовательская проблема лежит на «перекрестке» дисциплинарных «территорий», вызывая к жизни междисциплинарные методики и создавая собственное «проблемное поле». Определение направлений «Новой исторической науки» как «проблемных полей» (М.Ф. Румянцева) вполне уместно отражает данный факт. Дисциплинарная же организация науки — как арьергард, «жесткое ядро» — выступает в качестве канала, обеспечивающего социализацию достигнутых на когнитивном уровне результатов, превращая их в «культурно-исторические образцы». При этом, следует учитывать «двуликий образ» дисциплины, включающей в себя свой «учебный лик» — наиболее «консервативный» с точки зрения своей функциональности: его главная цель — сохранение и передача традиций — «дисциплинарной матрицы», воспроизводство научного сообщества в общепринятых для конкретного этапа развития науки профессиональных нормативах. С позиций *«проблемно-дисциплинарной модели»* науки можно обозначить три «фазы» научного «движения», исходя из стадийности институционального процесса. *Первая* («передний край») — проблемно ориентированные исследования, осуществляющие «прорыв» в отдельной отрасли: здесь, в сообществе единомышленников, которое представляет собой в большей мере когнитивно сплоченную группу («невидимый колледж»), возникает «проблемный вопрос». Новые идеи аккумулируются, апробируются в рамках *второй «фазы»* — научной дисциплины как исследовательской сферы дисциплинарной организации. На этом этапе идет «борьба» за утверждение нового направления — «проблемного поля», которое может состояться, конституироваться при поддержке институционально признанных дисциплинарных блоков. В этом случае происходит официальное оформление нового

проблемно ориентированного направления: создаются организационные исследовательские структуры (кафедры, секторы, отделы, лаборатории, которые обеспечиваются финансированием) и формируются новые парадигмальные образцы — теории, концепции, методы и проч.; издаются монографические работы — складывается историография новой проблемной области; получают распространение и признание в научном сообществе такие формы коммуникации как специализированные издания, конференции и т.п. Возможен второй вариант: под давлением конкурирующих направлений, «догматизации» парадигмальных основ — «хрестоматийного ядра» официально признанной научной дисциплины (возможен комплекс факторов «негативного» порядка) — новое, еще не оформившееся «научное движение», «исчезнет» или его развитие получит дискретный характер. В рамках *третьей «фазы»* — учебной дисциплины — происходит закрепление (в случае признания новой области знания) новых концепций, идей и проч.; появляется «учебный лик» новой области в форме специальных курсов (в учебном процессе в российской и отечественной традиции, во всяком случае, практически все т.н. «общие» курсы до сих пор строились дисциплинарно, а «специальные» — проблемно), семинаров, издается учебно-методическая литература, формируются специализации: начинается систематическая подготовка профессионалов-специалистов. При всей условности этой модели (как любой вообще «модели»), она реально «работает» в нашей «повседневности».

Трансформация информационного общества в «манипуляционное», начавшийся переход к «постпостмодерну» рождает новую проблемную ситуацию, в которой требуется переключение «дисциплинарного типа» мышления на «рефлексивный» — «критический» [11, с. 7–8]. В наше время рефлексивное знание, приобретаемое на протяжении XX века устойчиво-хрестоматийные дисциплинарные образы (со своими вариациями в национально-региональных дисциплинарных мирах), расширило горизонты своего бытия и, ломая привычные дисциплинарные барьеры, устремилось к созданию единой «рефлексивной территории». В области исторической рефлексии это выражается в формировании глобальной интеллектуальной истории, в радикальном сближении истории исторического знания с методологией истории, теоретическим источниковедением, в восприятии всей практики историописания и ее рефлексии как историографического дискурса и т.п. [19, с. 83]. Но исчезает ли научная дисциплина как таковая? «Дисциплина» в широком значении этого слова — неотъемлемая форма социального бытия. Пронизывая все сферы социума, устанавливая правила общественных связей и отношений, поддерживая и сохраняя (в том числе — в передаче традиций) некий «порядок вещей», дисциплина способствует нормальному функционированию и воспроизводству социума. Институционально-дисциплинарные процессы в науке как компоненте социокультурного организма в целом имеют относительную

автономию и неразрывно связаны с единым «регламентационным» цивилизационным процессом. В основе «движения» (необязательно — «вперед» и «вверх») — не только «рефлексивные размышления» интеллектуалов, представителей научного сообщества, но и много иных, отнюдь «не-научных», факторов, которые влияют на «реактуализацию правил» (М.Фуко) и трансформацию «институциональной среды». «Дисциплинарность», регламентирующая мир науки, продолжает свое бытие, но, безусловно, каждая новая эпоха со своими социокультурными катаклизмами вносит свои коррективы в систему «дисциплинарных миров».

Пристальное внимание к «Новой научной истории» (в обобщенном смысле) оставило на периферии модус прежней («консервативной») исторической науки. Тем не менее, продукция «Старой научной истории», или лучше — «Традиционной научной истории» — весьма значительна по объему, тематике и популярности у читателей. Каково «приращение» знания в этой области? Как и в какой степени оно транслируется в «новую» историю? И «так ли традиционна эта традиционная история?» Знания накапливаются в результате эмпирической работы, «невзирая на самые радикальные различия в теоретических концепциях, онтологических схемах, исследовательских парадигмах...и даже вопреки им» [20, с. 682—683]. Не стоит забывать о том, что «общий рынок» общественных наук (Ф.Бродель) существует, и «традиционной», «старой исторической науке», с ее описательностью, фактографичностью, эмпиризмом, искренним стремлением к «воссозданию» прошлого во всей его конкретике, многообразии и преходящей неповторимости, уготована отнюдь не последняя роль. Ни одна «модель», «теоретическая схема», многолика вариантность интерпретаций не может состояться без добротной базы фактов. Недаром «новая экономическая история» со своим «историко-институциональным анализом» обращается к исторической эмпирике; ни одна схема «сетевых коммуникаций» не будет работать без тщательно выверенного биографического материала; поиск механизмов «социальных практик», анализ эволюции «институциональной среды» и проч. вряд ли осуществим без предварительного накопления фрагментарно-мозаичной картины исторического хаоса социальных связей. Сама установка полидисциплинарного синтеза нацелена на «сличении» результатов профессиональной кооперации «дисциплинарного массива». И в этой кооперации «семейство исторических дисциплин» активно ищет свое, относительно автономное, место [21]. Не стоит забывать о параллелизме-сосуществовании инноваций и традиций, об их взаимовлияниях, о продолжительности временной дистанции, отделяющей рождение новаторской концепции от ее превращения в «интеллектуальный инструмент массовой практики», о неизбежной трансформации «аутентичной идеи» на этом пути — появлении множества вариантов рецепции и интерпретационных «вариаций на тему». Разумеется, «линейная» картина «проблема — исследовательская область — научная отрасль — научная дисциплина» — во многом логический кон-

структ. Так же, как и «сменяемость» методологических направлений, образов «новой исторической науки» и проч. Все это сосуществует в одном интеллектуальном пространстве. Даже если ограничиться временными рамками «земного бытия» ученых, их «современность» с неизбежностью детерминирует факт взаимовлияния, вне зависимости от формы и содержания их «контактов», не говоря уже о конфигурационных хитросплетениях многообразных историографических традиций. Тем не менее, с каждым витком обсуждения «вечных» эпистемологических проблем исторического знания «пространство исторической рефлексии расширяется и становится все более артикулированным»; исторический же синтез предстает «не в виде результата и данности, а как путь к нему» [22, с. 208].

Для корпорации университетских ученых сохранение профессиональных традиций связано с их функциональным предназначением — воспитанием нового научного поколения — «воспроизводством» профессионально-дисциплинарного научного сообщества. В связи с этим, обратим внимание на ситуацию последних десятилетий в американских университетах: анализ «внедрения» инноваций в область образования дает основания констатировать, что исторической профессии был нанесен значительный ущерб со стороны Cultural studies. Бурное развитие этого направления имело в качестве оснований — утверждение в обществе новых социальных групп и феномена политкорректности, становление массовой культуры и культурную агрессию постмодернизма. В университетах США произошли радикальные изменения в учебных планах, что обусловило значительную модификацию классической модели исторического образования: сократились собственно исторические дисциплины, исторические курсы были объединены с неисторическими, тематика курсов эволюционировала в сторону микропроблем, предметы, дававшие ранее масштабные представления о всемирной и американской истории упразднились и т.д. В итоге в 2002 г. только 10 из 50 ведущих национальных университетов и гуманитарных колледжей включали в блок обязательных курсы по истории; уменьшились выпуски профессиональных историков. Одновременно, бурное развитие «медийной исторической культуры, фрагментарной, несистематизированной, в своем большинстве «квази-научной», либо в популярной форме отражающей многочисленные интерпретации прошлого, приводит к возникновению у массового потребителя проблем «совмещения множества интерпретаций», в то время как он ожидает от профессиональных историков «правды» — т.е. «одной согласованной версии истории», и усвоение «медийных версий прошлого» способствует в значительной степени дискредитации научного исторического знания в массовом сознании [23, с. 162–165]. Всегда ли «полидисциплинарный синтез» означает «расширение» картины? — возможно, меняется лишь целеполагание фокуса ее восприятия? Проблема же истории, «масс-медиа» и «поп-культуры» — это отдельная тема, органично связанная с проблемой образования и «культурного ценза» социума в целом.

Проблема осознания границ и форм «сознательного» воздействия на формирование и развитие дисциплинарных и междисциплинарных комплексов, отдельных дисциплин, выявление и анализ механизмов дисциплинарной самоорганизации — как частная в глобальной проблеме «эпифеноменов» человеческой деятельности, форм их проявления и обратного воздействия — в качестве одного из вариантов «решения» может быть сориентирована на анализ «дисциплинарной истории» (историографии и ее региональных измерений) через исследование процессов институционализации (с учетом новейших технологий). Возможно, что реальное движение научного знания и научной деятельности приведет к новому пониманию «универсума» в эпистемологической сфере самой исторической науки. В новых поисках, на наш взгляд, не стоит забывать об интегрирующей роли историографического знания в отношении всех областей исторического познавательного процесса. Если история — это самопознание и самоидентификация личности и социума, то историография — это способ самопознания и самоидентификации историка и самой исторической науки. «Рефлексивное пространство» современной науки сегодня — это «большая опера», бесконечное многоголосие, в котором все-таки каждая из рефлексивных ветвей исполняет собственную партию, хотя иногда и на «территории партнера». Перспективы развития историографической науки, на наш взгляд, не в дроблении цельной дисциплины на фрагменты историографического знания и не в слиянии ее с иными познавательными системами, но в определении ее смыслового ядра, стержневой роли в понимании и выстраивании единой картины историографического процесса, в осознании широкого проблемного поля историографических исследований, значительного диапазона методов историографического анализа, в многообразии подходов к осуществлению историографического синтеза, в ее «эпистемологической и методологической открытости», но, в то же время, и в обозначении ее «профессиональной территории». Какой предстанет «Новая историография» — зависит от активной позиции ее репрезентантов — историографов, но, безусловно, «...новые пути открываются там, и только там, где ответом...является не огульное отрицание-отторжение, а углубление рефлексии над основами собственной интеллектуальной и дисциплинарной программы...» [8, с. 101].

Литература

1. *Научная деятельность: структура и институты.* — М., 1980.
2. *Чернов Е.А.* Региональная история: опыт теоретической интерпретации // Харківський історіографічний збірник.— X., 2006. — Вип. 8.
3. *Савицкий Е.Е.* Проблема контекста в интеллектуальной истории, 1940-2000 // Мир Клио. Сборник статей в честь Лорины Петровны Репиной. — Т.1. — М., 2007.
4. См.: *Иллерицкий В.Е.* Историография // Очерки истории исторической науки в СССР. — Т.2. — М., 1960; *Киреева Р.А.* Изучение отечественной

историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. — М., 1983; *Колесник И.И.* Историографическая мысль в России: от Татищева до Карамзина. — Днепропетровск, 1993; *Попова Т.Н.* Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета. — Одеса, 2007 и др.

5. *Колесник І.І.* Українська історіографія (XVIII-початок XX століття). — К., 2000; *Калакура Я.* Українська історіографія: курс лекцій. — К., 2004; *Коцур А.П., Коцур В.П.* Історіографія історії України: курс лекцій. — Чернівці, 1999; *Посохов С.* Історіографія // Історіографічний словник: навчальний посібник для студентів історичних факультетів університетів. — Харків, 2004; *Пікалов В.Г., Посохов С.І.* Багатолика історіографія (Образи історіографії як наукової та навчальної дисципліни // Харківський історіографічний збірник.— X., 2006. — Вип. 8.

6. *Зашкільняк Л.* Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів. — Львів, 2007.

7. *Репина Л.П.* Что такое интеллектуальная история? // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории / Под ред. Л.П. Репиной и В.И. Уколовой. — М., 1999. — Вып. 1.

8. *Репина Л.П.* От истории идей к интеллектуальной истории (Аналитический обзор) // XX век: Методологические проблемы исторического познания: Сб. обзоров и рефератов: В 2 ч. — М., 2001. — Ч.2.

9. *Колесник І.* Історіографічний дискурс в Україні: реалії та прогнози / / Сучасна Українська історіографія: проблеми методології та термінології: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару (Київ, 17 червня 2004 р.). — К., 2005.

10. *Единство* гуманитарного знания: новый синтез: Материалы XIX международной научной конференции, Москва, 25–27 янв. 2007 г. — М., 2007.

11. *Румянцева М.Ф.* Феноменологическая концепция источниковедения в познавательном пространстве постпостмодерна // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. — 2006. — № 2(6).

12. *Ястребицкая А.Л.* О культур-диалогической природе историографического: взгляд из 90-х // XX век: Методологические проблемы исторического познания. — Ч.1.

13. *Ястребицкая А.Л.* «Другая» социальная история в поиске объяснительных моделей социальной целостности: об одной публикации во французском журнале «Анналы. История, социальные науки» (Аналитический обзор) // XX век: Методологические проблемы исторического познания. — Ч.2.

14. *Румянцева М.Ф.* Целостность современного гуманитарного знания: необходимость и возможность // Единство гуманитарного знания. — М., 2007.

15. *Репина Л.П.* Интеллектуальные сообщества как объект и предмет сравнительно-исторического исследования: проблемы методологии //

Политические и интеллектуальные сообщества в сравнительной перспективе: Материалы науч. конф. 20–22 сентября 2007 г. — М., 2007.

16. *Коллинз Р.* Социология философий. Глобальная теория интеллектуального измерения. — Новосибирск, 2002.

17. *Ревель Ж.* Микроанализ и воссоздание социального. — М., 1994.

18. THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. — М., 1993. - Т.1, вып.3: Мир человека.

19. *Колесник І.* Методологія історії чи історія методології: метафори історіографічного дискурсу // Український гуманітарний огляд.— К., 2001. — Вип. 5.

20. *Савельева И.М., Полетаев А.В.* Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. — СПб., 2006. — Т.2.

21. *Медушевская О.М.* Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомогательные исторические дисциплины — источниковедение — методология истории в системе гуманитарного знания: Материалы науч. конф., Москва, 31 янв. — 2 февр. 2008 г. — М., 2008.

22. *Баткин Л.М.* Полемиические заметки // Одиссей. Человек в истории. Представления о власти. 1995. — М., 1995.

23. *Савельева И.М., Полетаев А.В.* Современное общество и историческая наука: вызовы и ответы // Мир Клио...— Т.1.

Розділ 11

**Нові напрямки
та категорії**

І. Б. МАТЯШ

АРХІВНА УКРАЇНІКА: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В КАНАДСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Прикметною рисою історіографії останнього десятиліття ХХ ст. — початку ХХІ ст. можна вважати як спроби переосмислення наукових ідей забутих за радянської доби вчених, так і повернення в активний науковий обіг «репресованих» понять і термінів. Йдеться зокрема про поняття «архівна україніка», запроваджене/повернуте до понятійного апарату історичної науки на початку 1990-х років. Цьому сприяла низка чинників. По-перше, ментальний чинник в умовах відновлення державної незалежності України орієнтував українське суспільство на незаангажоване осягнення історії, а відтак зумовлював необхідність розширення джерельної бази таких студій. По-друге, науковий чинник на тлі подолання штучних обмежень окремих напрямів археографічних, архівознавчих, джерелознавчих досліджень та активного формування інформаційного суспільства стимулював розроблення концепції створення інформаційної системи, яка б акумулювала інформацію про документи з історії України та українців, що зберігалися не лише в географічних межах нашої держави. По-третє, культурний чинник актуалізував потребу духовного відродження українства, яке тривалий час перебувало в шорах ідеологічних обмежень.

Порівняно з первісним розумінням на новому етапі зміст поняття, запровадженого до наукового обігу в бібліотечній сфері під час створення 1918 р. у Києві Всенародної бібліотеки України, помітно еволюціонував. Термін формувался за аналогією до назв зібрань книг, виданих до ХІХ ст. у Росії (в тому числі слов'янських), — «gossica» у Імператорській публічній бібліотеці в Санкт-Петербурзі, чи вивезених із Речі Посполитої книжкових і рукописних колекцій «rolonica» у Паризькій бібліотеці. У складі ВБУ планувалося створити відділ «Ucrainica» (зі статусом головного) для зосередження в ньому видань різними мовами про історію України та українського народу, його матеріальну і духовну культуру, народне мистецтво, мову та відповідних бібліографічних показників. Водночас завдання рукописного відділу (збирання рукописів, епістолярію, портретів видатних діячів, які мешкали й діяли на українській території) засвідчували поширення поняття «україніка» на всю сукупність джерел (друкованих, рукописних, образотворчих), у яких акумулювалася інформація про національно-державний розвиток України та духовне життя українського народу. Активно обговорювався зміст поняття «україники» бібліографами

(Федором Максименком, Юрієм Меженком, Сергієм Масловим, Левом Биковським та ін.), які відрізняли його від поняття «репертуар української книжки» і співвідносили зі змістом бібліографії українознавства. Повна ідеологізація архівної справи та бібліотечної справи 1930-х рр. не лише зумовили заборону формування відділу чи припинення формування національної бібліографії, але й на тривалий час викреслили саме поняття з наукового обігу.

В сфері архівної справи поняття «україніка» впродовж кінця 1910–1920-х рр. використовувалося в процесі формування інформаційного масиву другого (відомостей про документи українського походження переважно в російських архівосховищах) та першого (копіювання документів) рівнів. Зокрема, про такі документи йшлося під час обговорення долі українських культурних цінностей (в тому числі архівів), що зберігалися в російських музеях, архівах, бібліотеках, у контексті розподілу державного майна і державних боргів під час мирних переговорів з Росією, які відбувалися в травні – жовтні 1918 р. у Києві.

На початку 1920-х рр. у працях Дмитра Багалія та Віктора Барвінського «Українські архівні фонди в межах РСФРР» (1925), Михайла Грушевського «Про потребу утворення Інституту української історії в складі АН СРСР» (1928) на теоретичному рівні було окреслено потребу реєстрації документів українського походження (актових, історико-літературних, картографічних, образотворчих) у бібліотеках, архівах та музеях Росії та інших республіках тодішнього Союзу. Виявлення та копіювання українських документів у російських архівосховищах в другій половині 1920-х рр. проводили співробітники кафедри історії України УАН. Розпочата 1923 р. систематична практична діяльність Укрцентрархіву щодо повернення з Москви окремих комплексів архівних документів українського походження завершилася переданням у жовтні 1931 р. 134 томів Румянцевського опису Малоросії.

Проте, для означення евристичної і наукової роботи в галузі архівної справи термін «україніка» не застосовувався. Однак сама постановка питання про наукове обґрунтування повернення документів українського походження до України та спроби осмислення поняття, яке в сучасному архівознавстві трактується як «спільна архівна спадщина», надалі відіграла важливу роль у розробленні змісту поняття «архівна україніка».

На тлі «латентної стадії» функціонування поняття «україніка» в УСРР – УРСР за радянської доби зарубіжні науковці послуговувалися ним для означення досліджень з історії та культури України. Зокрема, в Канаді побутовали терміни «україніка» (праці з історії України та українського народу, його культури та етнографії) та «канадська україніка» (праці з української тематики, створені канадськими українцями), синонімічні терміну «українознавство». Так, у серії «Канадська україніка» упродовж 1950–1975 р. виходили праці УВАН у Канаді, а «Ювілейний збірник Української вільної академії наук у Канаді» (1975) містив рубрики

«Україніка—Ukrainica» «Ukrainica—Canadiana» [1]. Водночас активно обговорювалися проблеми виявлення та описування українських архівних збірок у північній Америці.

Так, наприклад у середині 1990-х років у результаті обговорення зарубіжними науковцями питання про створення уніфікованого (центрального) каталогу українських архівних збірок на круглому столі «Архіви як засіб для розвитку громади», що відбувся під час роботи наукової конференції «Студії з української культури та етнічності: Академічні та громадські перспективи» (26—28 квітня 1996 р., Едмонтон, Альберта) було вирішено розпочати створення належних реєстрів українських архівів.

21-а Українознавча Конференція в Іллінойському Університеті в Урбана-Шампейн (19—20 липня 2002 р.) спеціально присвячувалася стану й перспективам українських архівів у Північній Америці. Згідно з рішенням конференції, було створено Комісію з координування українських архівів Північної Америки, а її головним завданням визначено розроблення анкети-запитальника та збирання основних відомостей про архівну україніку для підготовки «Довідника українських архівів Америки і Канади».

Уже 19—20 березня 2003 р. з ініціативи Конгресу Українців Канади у Вінніпезі відбувся симпозиум, присвячений питанням збереження і розвитку українських канадських архівів як важливого ресурсу для створення «узагальненого потрету» багатокультурного канадського суспільства. Ухвала зібрання констатувала необхідність проведення повного огляду українських архівів у Канаді з метою позитивного впливу на суспільну свідомість та забезпечення збереженості безцінних джерел до історії українців у Канаді. Однак розпочата шляхетна справа не знайшла завершення.

Відродження поняття «архівна україніка» з певним переосмисленням його значення в Україні припало на кінець 1980-х — початок 1990-х рр. і пов'язане з діяльністю Археографічної комісії АН УРСР. Під час проведеної нею Всеукраїнська нарада «Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку» (Київ, грудень 1988) і обговорення питання про загальну концепцію україніки під час Першого Конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, вересень 1990) було висловлено думки щодо поширення змісту поняття на всю бібліотечну, архівну та музейну документну спадщину України. Спроби створення комплексу довідників про українські документи, що зберігаються в зарубіжних архівосховищах, здійснювалися відкритим на базі Археографічної комісії Інститутом української археографії (нині — Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України) у співпраці з Інститутом рукопису ЦНБ АН УРСР (нині — НБУВ) та Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України (нині — Державний комітет архівів України). Програму виявлення, обліку, описування архівних документів та рукописних книг, створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії України, було обговорено на

спеціальній Міжвідомчій розширеній нараді (Київ, жовтень 1991). В процесі підготовки програми «робочий» термін «писемна україніка», первісно запропонований В. Ульяновським для означення матеріалів, що безпосередньо (або непрямо) стосуються усіх сторін життя населення України (а також видатних українських діячів) в минулому (або виникли і побували на її території), зафіксовані різними системами письма на різних носіях, а також документів з української тематики, що виникли і побували поза її межами, за пропозицією К. Новохатського було замінено терміном «архівна україніка». Останній точніше відображав зміст поняття порівняно з терміном «писемна україніка», який, на думку колективу розробників програми, мав відмежувати все, що не є архівними документами в класичному розумінні, від друкованих видань. У ході дискусії під час наради Л. Дубровіна запропонувала доповнити визначення терміном «рукописна Україніка» з огляду на специфіку такого документного масиву як рукописні книги, відмінні методики їх описування порівняно з архівними документами та традиції комплектування рукописних відділів бібліотек. Відтак зміст поняття «архівна та рукописна Україніка» міг адекватно охоплював синтетичний комплекс документів, інформація яких повноцінно відтворює історичний і культурний розвиток України та духовне життя українського народу. Цей термін поспіль із терміном «архівна україніка» активно функціонував в українській історіографії 1990-х рр., зокрема в працях Л. Дубровіної та Г. Боряка. Конституювання терміну на тому етапі засвідчувало затвердження Державної програми «Книжкова та рукописна спадщина України: створення бібліографічного реєстру і системи збереження та загальнодоступності» (1992 р., травень), окремі проекти якої мали безпосереднє відношення до виявлення, обліку та наукового описування українських архівних документів за межами України.

В середині 1990-х рр. рубрики «Архівна Україніка» з'явилися в журналі «Архіви України», науковому щорічнику «Студії з архівної справи та документознавства», археографічному щорічнику «Пам'ятки». Актуалізоване в українській історичній науці поняття «архівна україніка» щодо змісту практично співпадало з майже одночасно запровадженими до наукового та суспільного обігу поняттями «архівної росіки», «архівної білорусіки», «полоніки», «гунгаріки», «румуніки» та ін. як результатом процесу активізації вивчення джерел, пов'язаних із історією державотворення та формування національних традицій у різних країнах, особливо притаманного пострадянським державам та колишнім країнам соціалістичного табору.

Таким чином, на середину 1990-х років в Україні було розроблено теоретичні засади поняття «архівна україніка», уточнені й доповнені в Концепції створення та функціонування Національного реєстру «Архівна україніка» (2007, автор – І. Матяш).

Чи не найяскравішим прикладом послугоування цим поняттям (переважно без застосування самого терміну) є науковий аспект діяльності канадських архівів та канадська історіографія. Вагомий внесок у

виявлення, упорядкування та описування «українських» фондів/збірок/колекцій та залучення їх інформації до наукового обігу зробив відомий канадський архівіст Мирон Момрик. Упорядкований ним довідник про українські фонди в Національному архіві Канади (1984) [2] став першим довідником про архівну україніку в Канаді на рівні національного архівосховища. Крім того, побачили світ ґрунтовні описи колекцій Катерини Антонович [3] (1985), Олени Кисилевської [4] (1985), Андрія Жука [5] (1986), Союз українських канадських ветеранів (1988) [6], архівні довідники про картографічне зібрання у фондах Альбертського університету [7], матеріали до родинної історії [8], збірку Товариства опіки над українськими переселенцями в Канаді ім. св. Рафаеля [9], колекції Євгена Бачинського, Івана Боберського, Михайла Лучковича [10, 11, 12], фонду митрополита Іларіона (І. Огієнка) [13, с. 269-274]. Переважну більшість цих архівних довідників було підготовлено й видано за фінансової підтримки Канадського інституту українських студій при Альбертському університеті (м. Едмонтон, Альберта). До українських дослідників ці важливі довідкові видання до відновлення державної незалежності України потрапляли переважно приватним шляхом, а згодом – зі значним запізненням (у другій половині 1990-х рр.) до бібліотек України (зокрема, до відділу «Зарубіжна україніка» Національної бібліотеки України імені В. Вернадського).

Відомості про зібрання українського походження та утворені етнічними українцями містили також загальноканадські довідники. Так, у рамках багаторічного проекту дослідження «усної історії» канадського суспільства, у 1992 р. побачив світ путівник по колекції Багатокультурного історичного товариства Онтаріо (Провінційний архів Онтаріо) [14], який містив відомості про документальну спадщину багатьох етнічних груп Канади, в тому числі українців. 1993 р. було опубліковано ґрунтовний путівник по колекції «усної історії» в Канаді [15], у якому, зокрема, подано відомості про 38 збірок «усної історії», що містять інформацію про українців Канади.

Перше українсько-канадське довідкове видання як первісток серії «Зарубіжна архівна україніка» – попередній анований перелік «Архівні матеріали з історії України в Канаді» – підготував 1990 р. на замовлення Археографічної комісії АН УРСР тодішній директор КІУСу проф. Богдан Кравченко [16]* до I Конгресу Міжнародної асоціації українців.

* Довідник репрезентував інформацію про 21 колекцію, що зберігалася в двох державних архівах (Національному архіві Канади, Провінційному архіві Альберти), двох бібліотеках (бібліотеці Карлтонського університету, бібліотеки Альбертського університету) та двох громадських організацій (Осередку української культури і освіти, Канадсько-українського документаційного та дослідного центру).

Окрім довідкових видань, у період від початку 1970-х років до 2006 року включно інтерес до архівної україніки в Канаді засвідчували статті канадських (Іроїда Герус-Тарнавецька, Надія Казимира, Мирон Момрик, Андрій Макух, Ярослав Розумний, Франсес Свиріпа), а від початку 1990-х років – українських (Ігор Гирич, Ярослав Дашкевич, Марина Палієнко, Георгій Папакін, Ігор Срібняк, Микола Тимошик, Ірина Тюрменко) та польських (Анна Крохмаль) авторів. Увага дослідників переважно зосереджувалася на оглядах однієї збірки чи колекції (Андрія Жука, Івана Огієнка, Дмитра Донцова), відображенні конкретної проблеми в документах канадських архівів, рідшими були статті узагальнюючого характеру. Такі публікації мали надзвичайне джерельне значення, особливо, якщо ґрунтувалися на інформації, почерпнутій не з довідників (у будь-якій формі), а в результаті безпосереднього ознайомлення автора з тією чи іншою колекцією.

Так, ґрунтовне дослідження Іроїди Герус-Тарнавецької кириличних рукописів у бібліотеках та приватних зібраннях Канади [17, P. 522–540] не лише містило матеріал великого наукового значення і новизни, а й відкривало перспективний напрям українознавчих досліджень. Переважну більшість слов'янських кириличних рукописних книг XII–XIX ст. дослідниця виявила в зібраннях митрополита Іларіона (Вінніпег, Манітоба), Олександра Колесси (Торонто, Онтаріо), музею та бібліотеки монастиря отців Василіан (Мондера, Альберта). Найстарішим із віднайдених текстів був фрагмент пергамена XII ст. «Діань Апостолів» («Apostol Khrystynopo»). На підставі детального джерелознавчого та книгознавчого аналізу виявлених уніатів авторка дійшла висновків про те, що всі вони репрезентують південно-слов'янську традицію, мають переважно релігійний характер і свідчать про стійку традицію копіювання у XVIII ст. Цінну частину публікації склав перелік слов'янських кириличних книг із детальним описом та вказівкою на місце зберігання. 1981 р. побачила світ окрема монографія І. Герус-Тарнавецької «Східнослов'янська кириліка у канадських сховищах» [18].

Залученню до наукового обігу рукописів видатних українців прислужилися Осередок української культури і освіти та Українська Вільна Академія Наук у Канаді (Вінніпег, Манітоба). Публікація спогадів видатного українського композитора Олександра Кошиця [19, 20] 1947–1948 рр. стала першим археографічним проектом створеного 1944 р. Осередку за участю дружини митця – Тетяни Кошиць. Упродовж 1952–1974 рр. Осередок реалізував ще один «кошицівський» проект – видання його записів про подорож Української республіканської капели країнами Європи та Америки [21]. У середині 1960-х років у серії «Літопис УВАН» побачили світ спогади Катерини Антонович [22, 23] – емоційно насичені стислі розповіді про дитинство та юність у Харкові, перші відвідини Києва, родину Алчевських, знайомство з майбутнім чоловіком – Дмитром Антоновичем («Мухою»). Такі видання мали істотне джерельне значення

для вивчення не лише діяльності конктерних персоналій, але для дослідження внеску українськців у світову культуру.

Детальний аналіз колекції фотографій, зроблених Миколою Гавінчуком у 1920–1950-х рр., що зберігаються у Провінційному архіві Альберти (понад 12 тис. фотодокументів), здійснила Франсес Свиріпа [24, Р. 56–62], означивши їх як «незрівнянний візуальний запис» подій українського життя в східно-центральной частині провінції Альберти.

Утім, праці канадських науковців до початку 1990-х років на теренах України залишалися маловідомими. Натомість роботу українських дослідників у канадських архівах в переважній більшості випадків унеможлилювали «фінансово-просторові» труднощі. Відтак інформація, залучена в будь-який спосіб до наукового обігу, не лише розширювала уявлення про архівну україніку в Канаді, але й сприяла стиранню багатьох білих плям нашої історії, з'ясуванню не відомих в Україні фактів життя та діяльності видатних українців. Істотну допомогу в реалізації дослідницьких проєктів надавав КІУС, започаткувавши в 1990-х рр. спеціальні стипендії та програм для українських науковців, що сприяло безпосередньому ознайомленню їх із фондами канадських архівів. Результатом стала низка наукових публікацій та видань, залучення до наукового обігу відповідної архівної інформації першого й другого рівнів.

Серед перших після відновлення державної незалежності України згадок про українські архіви в Канаді слід назвати інформацію відомого вченого зі США Тараса Гунчака про перевезення з Франції до Оттави архіву Українського центрального комітету та оцінку його як «надзвичайно важливого» «для пізнання українського життя на західноукраїнських землях» [25, с. 141]. У контексті огляду українських документних комплексів, що зберігаються в архівах Австрії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та США, автор називає три установи, де зберігаються документи про Україну: Канадський інститут українських студій в Едмонтоні, Український документальний центр у Торонто, Державний архів у Оттаві. Враховуючи, що на той час уже побачили світ довідники Мирона Момрика та Богдана Кравченка та неточність поданих назв установ, ця згадка не мала впливу на розвиток досліджень архівної та рукописної Україніки в Канаді.

Кількома роками пізніше стислий огляд згаданого американським ученим фонду Українського Центрального Комітету в Національному архіві Канади* подав у «Матеріалах засідань Історичної та Археографічної комісії НТШ в Україні» відомий львівський історик Ярослав Дашкевич [26, с. 157–159]. Попри те, що увага дослідника зосереджувалася на проблемах польсько-українських стосунків у 1941–1944 рр., стаття містила цінні завваги щодо кількісного складу та змісту фонду, стану документів. Наголошувалося на тому, що на частині документів прізвища та посади

* Документи Українського Центрального Комітету зберігаються у фондї Володимира Кубійовича Національного архіву Канади

осіб, пов'язаних із УЦК, «замазані чорною фарбою або вирізані ножицями» [26, с. 158]. Учений переконливо довів джерельну значущість документального комплексу, вказавши на необхідність публікації документів, що містяться в ньому.

Цінну інформацію про історію формування і склад українських зібрань у Національному архіві Канади містили виступ Мирона Момрика на Другому Міжнародному конгресі україністів у Львові (1993) та ґрунтовна стаття в журналі «Архіви України» (1995) [27, с. 79–87; 28, с. 187–194]. Автор уперше поставив питання про можливість повернення в Україну архіву Андрія Жука та анонсував передавання архіву Українського Національного Уряду в екзилі.

Факт початку інкорпорації українських архівних збірок із Національного архіву Канади до Національного архівного фонду України зафіксовано в статті Георгія Папакіна про передавання колекції мікрофільмів з документів консулатів Російської імперії кінця XIX – початку XX ст. [29, с. 92–96] до Центрального державного історичного архіву України, м. Київ. Автор детально описав склад колекції, кількісні параметри якої – 4 тисячі паспортів та 11 тисяч посвідчень, свідоцтв, інших документів про народження, хрещення і смерть, хронологічні межі – 1900–1920 рр. Відтак обґрунтованим був висновок про важливість цього зібрання для генеалогічних досліджень, які тоді почали помітно активізуватися.

Стислий огляд українського картографічного матеріалу в Канаді опублікувала Уляна Кришталович, зосередивши увагу на колекції атласів і карт із відділу картографії бібліотеки Альбертського університету та з приватної колекції Івана Лисяка-Рудницького в Архіві Альбертського університету [30, с. 216–217]. Серед особливо цінних дослідниці назвала колекцію старовинних карт України періоду козаччини: «Magni Ducatus Lithuaniae» (1613), «Ukrainae quae Kiovia» (1569), «Amplissima Ukrainae Regio» (1728). Цінність огляду полягала передусім у його новизні для українських дослідників.

Серед публікацій, присвячених окремим архівним збіркам, превалюють статті про колекцію Андрія Жука у Національному архіві Канади та зібрання Івана Огієнка в Архіві Української православної церкви в Канді у Вінніпезі. Вперше склад колекції Андрія Жука на підставі укладеного Мироном Момриком опису висвітлили для українських читачів Марина Палієнко та Ігор Срібняк у статті «Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України» [31, с. 168–175]. Ґрунтовні публікації з цього питання подав Ігор Гирич [32, с. 168–176; 33, с. 441–454], не лише окресливши склад і зміст колекції, але й висвітливши основні етапи життя та діяльності Андрія Жука та долю його архіву. Автор зробив також перші вагомі кроки в публікації невідомих рукописів Андрія Жука: спогадів Жука, двох його автобіографій, нотаток про Всеукраїнську національну раду, «платформу» Союзу визволення України, листів до Симона Петлюри [34, с. 177–240], статей «Проф.

М. Грушевський і Союз визволення України в роках Першої світової війни» та «Як дійшло до заснування Союзу визволення України (Спомини у 20-ліття «Союзу»)» [35, с. 111–134; 36, с. 135–150].

Листування Андрія Жука та В'ячеслава Липинського, яке власник архіву вважав однією із найцінніших частин свого зібрання й зберігав у оригіналах і копіях, опубліковано в першому томі серії «Архів» проекту «В'ячеслав Липинський: повне зібрання творів, архів, студії», започаткованого Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В. К. Липинського [37, с. 741–844].

Документи із Національного архіву Канади, пов'язані з життям Дмитра Донцова (витяг із метричної книги, посвідки про освіту, довідку про склад сім'ї, закордонний паспорт), опублікувала 2003 року Галина Сварник, подавши в передмові стисло характеристику фонду [38, с. 173–186].

Важливий археографічний проект за результатами наукового стажування в Колегії св. Андрія при Університеті Манітоби (1997) започаткував проф. Микола Тимошик. Йдеться про серію «Рукописна спадщина», що є складовою видавничого проекту Фондації імені митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття». Упродовж 2002–2006 років у цій серії вийшли не видані за життя вченого праці з Архіву Української Православної Церкви в Канаді у м. Вінніпезі: «Українське монашество» (2002), «Тарас Шевченко» (2003), «Українська церква за часів гетьмана Мазепи» (2004), «Розп'ятий Мазепа» (2005), «Церковна хронологія» (2006). Видання супроводжуються ґрунтовними передмовами і необхідними коментарями. Микола Тимошик уперше розглянув проблему повернення архіву митрополита Іларіона в Україну, опублікувавши тексти заповітів (1945, 1967) митрополита та проаналізувавши причини написання цих заповітів [39, с. 95–99].

Послідовну роботу з публікації документів, що зберігаються в канадських архівах, здійснює проф. Юрій Мищик. За результатами наукових стажувань у Канадському інституті українських студій (1999, 2004) дослідник систематично оприлюднював виявлену ним у архівах та бібліотеках Канади архівну інформацію у вигляді добірок документів та окремих документальних видань. У започаткованій ученим серії «Джерела з історії української еміграції» вийшло два випуски: «Листування митрополита Іларіона (Огієнка)» та «Листування Леоніда Мосендза» (2005). Крім того, вчений підготував і видав щоденник Івана Боберського за 1918–1919 роки (2003).

Загалом окремі добірки українських документів із канадських архівів публікувалися в археографічних виданнях Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та ін.

До публікацій узагальнюючого характеру, що побачили світ упродовж 2004–2006 рр., слід віднести статті Ірини Тюрменко «Україніка в канад-

ських архівах», Анни Крохмаль «Торонто — центр українознавчих досліджень», Ярослава Розумного «Українські архіви Вінніпегу» [40]. Кожна з цих праць вирішує конкретне завдання. Так, у статті описового характеру Ірина Тюрменко подала інформацію про окремі документальні комплекси (листування В. Кубійовича, Д. Дорошенка, Н. Полонської-Василенко, М. Мандрики, О. Войценко) в складі українських зібрань Національного архіву і бібліотеки Канади, склад архіву митрополита Іларіона у Вінніпезі, окремі архівні збірки Осередку української культури і освіти. Польська дослідниця Анна Крохмаль стисло висвітлила склад бібліотечних (Бібліотека університету Торонто. Бібліотека музею Тараса Шевченка) та архівних (Українсько-канадський дослідно-документаційний центр, Архів провінції Онтаріо, Архів м. Торонто) зібрань, які зберігають документи, пов'язані з українською історією та культурою, м. Торонто. Особливістю публікації є аналіз внеску української громади м. Торонто в створення та зберігання українських документальних колекцій. Проблему створення спеціального довідника про архівну та рукописну Україніку в Канаді порушив професор Манітобського університету Ярослав Розумний. Вчений детально репрезентував склад українських архівів у Вінніпезі та проаналізував проблеми, пов'язані із забезпеченням збереженості джерел до історії України та українців у Канаді.

Таким чином, можна констатувати, по-перше, період активізації досліджень українських архівів в канадській історіографії припадає на початок 1970-х рр., а в українській — на початок 1990-х; по-друге, істотним є внесок у розвиток вивчення, упорядкування та залучення до наукового обігу документів архівної україніки КІУСу та УВАН у Канаді; по-третє, в українській історіографії тематичний спектр досліджень архівної та рукописної україніки досить обмежений через недостатню поінформованість науковців щодо складу і змісту українських збірок у Канаді; по-четверте, розпочата першими довідниками про українські архіви в Канаді (Мирона Момрика, Богдана Кравченка, Володимира Сеньчука та ін.) робота надзвичайно актуальна як для України, так і для Канади, і потребує продовження та поглиблення. Зокрема, 2008 р. на базі Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства планується завершення першого комплексного довідника про архівну україніку в Канаді, підготовленого в тісній співпраці з КІУСом та іншими канадськими науковими і архівними установами. Не менш актуальним є і питання підготовки довідника про українські «установи пам'яті» (архіви, музеї та бібліотеки) в Канаді.

Література

1. *Ювілейний збірник Української Вільної Академії Наук в Канаді / Упоряд.: О.В. Герус, О. Баран, Я. Розумний. — Вінніпег, 1975. — 657 с.*
2. *A Guide to sources for the study of Ukrainian Canadians by Myron Momryk. — Ottawa, 1984. — 42 p.*

3. *Sowtis D., Momryk M.* The Kateryna Antonowych Collection. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1985. — 28 p. — (Research Report; № 13).

4. *Sowtis D., Momryk M.* The Olena Kysilewska Collection. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1985. — 36 p. — (Research Report; № 12).

5. *National Archives of Canada.* Manuscript Division. The Andry Zhuk Collection MG 30, C 167. Finding Aid № 1663 / Prepared by Myron Momryk, National Ethnic Archives. — Ottawa, 1986. — 241 p.

6. *The Ukrainian Canadian Veterans Association Collection.* National Archives of Canada, MG 28, V 119: Finding Aid / Prepared by Wiktor Holowacz and Myron Momryk. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies The University of Alberta, 1988. — 27 p. — (Research Report; № 20).

7. *Friesen, Paul T.* «Ukrainian Lands» Maps in the University of Alberta Map Collection: A Cartobibliography. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. — 44 p. and 21 appendices. — (Research Report № 24).

8. *Himka, John-Paul and Swyrypa Frances A.* Sources for researching Ukrainian family history. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies The University of Alberta, 1984. — 37 p. — (Research Report; № 6).

9. *Iwanus J., Senchuk W.* The St. Raphael's Ukrainian Immigrants Welfare Association of Canada Collection. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. — 22 p. — (Research Report; № 21).

10. *The Batchinsky Collection* Carleton University Library: Finding Aid / Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta; Prepared by John S. Jaworsky and Olga S. A. Szkabarnicki; Ed. By Jeremy Palin. — Edmonton, 1995. — 101 p. — (Research Report; № 47).

11. *The Iwan Boberskyj Archival Collection.* Ukrainian Cultural and Educational Centre, Winnipeg: Finding Aid / Prepared by Jaroslaw Iwanus and Wolodymyr Senchuk. — Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta, 1988. — 9 p. — (Research Report; № 23).

12. *The Michael Luchkovich Collection* / Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta; Prepared by Serge Cipko. — Edmonton, 1992. — [14] p. — (Occasional Research Reports. Research Report; № 49). [Українсько-канадський архів та музей Альберти].

13. *Болохівщина: Земля і люди.* — Хмельницький: Стара Синява; Любар, 2000. — С. 269 – 274.

14. *A Guide to the Collections of the Multicultural History Society of Ontario* / Comp. Nick G. Forte, Ed. Gabriele Scardellato. — Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1992. — 696 p.

15. *Guide to oral history collections in Canada = Guide des fonds d'histoire orale au Canada* / Ed. Normand Fortier. — Ottawa: Canadian Oral History Association = Sociйтй canadienne d'histoire orale, 1993. — xviii, 402 p.

16. *Архівні матеріали з історії України в Канаді: Попередній анований перелік* / Уклав Богдан Кравченко. Археографічна комісія Академії наук

УРСР; Канадський інститут українських студій Альбертського університету.— Київ; Едмонтон, 1990. — 38 с.

17. *Gerus-Tarnawecy*. *Cyrrillica Canadiana: Cyrillic manuscripts in Canada / / Ювілейний зб. Української Вільної Академії Наук в Канаді/ Упоряд.: О.Герус, О. Баран, Я. Розумний.* — Вінніпег, 1975. —Р. 522—540.

18. *Gerus-Tarnawecy I.* *East Slavic Cyrillica in Canadian Repositories.* — Winnipeg, 1981. — 186 p.

19. *Кошиць Олександр.* Спогади. Частина перша. — Вінніпег: Культура й освіта, 1947. — 367 с.

20. *Кошиць Олександр.* Спогади. Частина друга. — Вінніпег: Культура й освіта, 1948. — 272 с.

21. *Кошиць Олександр.* 3 пісню через світ. Подорож Української республіканської капели. — Т. 1. — Вінніпег: Культура й освіта, 1952. —194 с.; Т. II. 3 пісню через світ. Из «Щоденника» О. Кошиця. — Вінніпег: Осередок культури й освіти, 1970. —119 с.; Т. III. 3 пісню через світ. Из «Щоденника» О. Кошиця. — Вінніпег: Осередок культури й освіти, 1974. — 184 с.

22. *Антонович Катерина.* 3 моїх споминів. — Вінніпег, 1965. — 31 с. — Серія: Літопис УВАН, ч. 23.

23. *Антонович Катерина.* 3 моїх споминів. Частина 2. — Вінніпег, 1966. — 80 с. — Серія: Літопис УВАН, ч. 24.

24. *Swyrypa, Frances.* *Ukrainian-Canadian Prairie Life Through the Lens of a Camera // Journal of the West.* — July 1999. — Vol. 38, № 3. — P. 56—62.

25. *Гунчак Тарас.* Україна ХХ сторіччя в зарубіжних архівах // Український історичний журнал. — 1991. - № 10. - С. 141.

26. *Дашкевич Ярослав.* Документи Українського Центрального Комітету в Національному архіві Канади про польсько-українські стосунки 1941—1944 рр// Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісії НТШ в Україні. — Вип. 2-й (1995—1997). — Львів, 1999. — С. 157—159.

27. *Мотрук М.* Українські архівні збірки при Національному Архіві Канади // Архіви України. — 1995. —№ 1—3. — С. 79—87.

28. *Мотрук М.* The Ukrainian archival collections at the National Archives of Canada // Другий Міжнародний конгрес українців. Історія: Доповіді і повідомлення. Львів, 22—28 серпня 1993 р. — Л., 1994. — Ч. II. — С. 187—194.

29. *Папакін Г. В.* Колекція мікрофільмів з Національного архіву Канади Канади // Архіви України. — 1995. —№ 4-6. — С. 92—96.

30. *Кришталович Уляна.* Карти України XVII—XVIII ст. в архівах та бібліотеках Канади//Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісії НТШ в Україні. — Л., 1999. — Вип. 2. 1995—1997. — С. 216—217.

31. *Палієнко Марина, Срібняк Ігор.* Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України // Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану М. Я. Варшавчика. — К., 1999. — С. 168—175

32. *Гирич Ігор*. Канадський архів Андрія Жука // Молода нація. — 2002. — № 3 (24). — С. 168—176.
33. *Гирич Ігор*. Архів Андрія Жука як джерело дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ ст. // До джерел: 36. наук. Праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. — К. — Л., 2004. — С. 441—454.
34. *Андрій Жук*: матеріали до біографії (автобіографія, спогади, листування) // Молода нація. — 2002. — № 3 (24). — С. 177—240.
35. *Жук Андрій*. Проф. М. Грушевський і Союз визволення України в роках Першої світової війни // Молода нація. — 2002. — № 3 (24). — С. 111—134.
36. *Жук Андрій*. Як дійшло до заснування Союзу визволення України (Спомини у 20-ліття «Союзу») // Там само. — С. 135—150.
37. *В'ячеслав Липинський*: Твори. Архів. Студії / Гол. ред.. Ярослав Пеленський. — Т. 1: Листування. - К. — Філадельфія: Вид. «Смолоскип», 2003. — С. 741—844.
38. *Сварник Г.* Дмитро Донців у невідомих документах 1890—1945 рр. з Національного архіву Канади // Воля і Батьківщина. — Л., 2003. — Ч. 1—2. — С. 173—186.
39. *Тимошик Микола*. Архів митрополита Іларіона в Канаді: проблема повернення в Україну // Студії з архівної справи та документознавства. — 2001. — Т. 7. — С. 95—99.
40. *Ярослав Розумний*. Українські архіви Вінніпегу // Український історик (The Ukrainian Historian), журнал Українського історичного Товариства (The Journal of the Ukrainian Historical Association). — Вип. 43, число 1—3. — 2006. — 336 с.

М.П. МОХНАЧЕВА

**О ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ПРАКТИК
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
МЫСЛИ ВСЛУХ УЧАСТНИКА ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА ИСТОРИКОВ-РЕГИОНОВЕДОВ**

Тридцать лет назад, в 1977 г., в книге «De l'histoire des sciences à l'histoire de la pensée» («От истории науки к истории мысли») Г. Гусдорф, развивая идеи А. Койре, заявил о том, что в истории европейской науки настало время, когда «презумпция специализации должна дать место презумпции конвергентности». Жанр этой книги Г. Гусдорф определил как «рассуждение о методе», который позволит истории занять подобающее место в теории «ансамблей человеческого знания»: «Всякая диссоциация знания есть отрицание знания. Настоящий долг состоит в том, чтобы работать по объединению того, что век анализа разъединил» [1, Р. 41].

Сегодня «пропасть» между естественнонаучным и гуманитарным знанием кажется не столь глубокой, как ранее. Большая заслуга в этом принадлежит ученым, занятым изучением истории естествознания и ее дисциплинарного статуса. Науковеды и историки естествознания «с большой степенью полноты» проанализировали актуальные проблемы теории и истории историографии естествознания, ее основные концептуальные принципы, процесс возникновения и формирования историко-научных исследований, типичных для Нового времени, а также основные идеи и тенденции развития историко-научных исследований в XIX–XX вв. [2, 3].

С обретением «понимающей истории знания», разработкой науковедческого аспекта теории «ансамблей человеческого знания», базирующейся на принципе единства человеческой мысли, границы «внутренней» и «внешней» истории научно-отраслевого знания получили новые конфигурации иррационального и имманентного. Сегодня внимание ученых обращено на междисциплинарный синтез в гуманитарном знании. О том, как достичь более глубокого понимания истории человека и общества в плане геополитического и социокультурного пространства и времени, культур и ментальностей шел заинтересованный разговор на первом в истории отечественного регионоведения Всероссийском съезде историков-регионоведов, состоявшемся в Петербурге 11–13 октября 2007 г. по инициативе кафедры исторического регионоведения исторического факультета Санкт-Петербургского университета во главе с ее заведующим

Ю.В. Кривошеевым при поддержке Союза краеведов России во главе с председателем, академиком РАО С.О. Шмидтом. В работе съезда приняли участие около 400 ученых, преподавателей ведущих вузов, а также научных и учебных заведений России, коллеги из ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Германии, Швеции, США.

На секции «Историческое регионоведение: теория и методология» почти сразу же, с первых докладов и ответов их авторов на вопросы коллег, завязался жаркий спор, обнаруживший наличие в зале «позитивистов» и «постпозитивистов», «модернистов» и «постмодернистов» в оценке научного (дисциплинарного и науковедческого потенциала) метода исторического краеведения, локальной / новой локальной истории и системобразующей идеи современного гуманитарного образования и его регионального компонента. Признавая антропную основу естественнонаучной и гуманитарной культур познания, участники дискуссии, на наш взгляд, не достигли ожидаемого взаимопонимания, и «линия демаркации» между «консерваторами» и «прогрессистами» в области исторического регионоведения оказалась, по сути, границей «отчуждения» знания от науки...

Характерно, что проблема «демаркации» сообществ историков-регионоведов и историков-краеведов по принципу методологических основ их исследований была обозначена в ряде докладов участников дискуссии на этой секции съезда. В очередной раз «теоретики» и «практики» рефлексировали о наболевшем: «стоит ли делиться дальше?», выясняя соотношение понятий «локальная история», «регионоведение», «краеведение», «москвоведение» (А.А. Акиншин); «о соотношении профессионализма и любительства в гуманитарном познании» (С.П. Щавелев); о проблемах ««постижения» повседневности в российском историческом регионоведении» (В.Н. Козляков); о «регионализме и идентичности» (И.Г. Аюшиева), о «критике региональных идентичностей» (А.С. Щавелев); «о регионализации современного общества и проблемах создания параллельных историй» (С.М. Куделко); о современной исторической науке и локальной истории, эффективности новых подходов в изучении локальной / региональной истории (М.Е. Колесникова, С.И. Маловичко, Т.А. Булыгина); о научных и учебно-образовательных центрах русистики в странах Западной Европы и их проектах по изучению региональной и местной истории (М.П. Мохначева); об опыте классических университетов Украины «как центров региональных образовательных систем» (С.И. Посохов), а также о научных школах «в контексте региональной и столичной науки» и их методологических и исторических подходах к регионоведению (И.В. Пасько); об историко-культурном наследии, его «роли» в региональной социо-культурной и экономической политике (А.А. Кудрявцев), и сохранении исторической памяти (Н.Б. Коваленко); об особенностях взаимодействия регионоведения, исторической науки и культурологи в современной научно-образовательной практике

(В.Г. Рыженко); наконец, об истории регионоведения и его продвижении «от постмодерна к пост-постмодерну» (М.Ф. Румянцева). Ряд докладов и сообщений был посвящен анализу исторического опыта и современных проблем историко-регионоведческого (Ю.В. Кривошеев и Р.А. Соколов, А.А. Мещерина, А.А. Тереханова, В.Д. Духопельников, Б.Д. Цыбенков, А.К. Тихонов и др.) и историко-краеведческого (Т.Г. Питинова, С.Ю. Шокарев, Ю.Г. Галай, Н.Д. Козлов, В.И. Аксельрод, С.С. Загребин и др.) образования и педагогической рефлексии в этих сегментах высшего образования.

Практически каждый выступавший, так или иначе, коснулся проблемы понимания процесса междисциплинарного синтеза как интегрального основания развития современного научного знания и отражения этого процесса в сознании ученого. Однако преодолеть ситуацию «отчуждения» историографических практик традиционного краеведения (родинovedения, отечествоведения) и «новой локальной истории» участникам дискуссии, увы, не удалось.

Почему? На наш взгляд, по ряду причин объективного и субъективного характера, связанных с состоянием российской исторической науки на современном этапе. Это спешная «ревизия» идейно-теоретических и социокультурных оснований российской национально-государственной историографии и ее вековых традиций под натиском стремительной глобализации науки, технологической и информационной Интернет-революции и как ее результат появлением «виртуального» научного социума, к чему большая часть российских историков оказалась явно неготовой. В этой ситуации актуализируется проблема подготовки профессиональных кадров историков и профессиональной ответственности педагогического корпуса высшей и средней школы России.

Следует подчеркнуть, что кафедра региональной истории исторического факультета Санкт-Петербургского университета, состоящая в основном из молодых преподавателей, не только инициировала созыв съезда, возложила на себя его проведение, но и предложила, на первый взгляд, странный принцип систематизации заявленных докладов. Во всяком случае, об этом говорили многие участники съезда. Однако в ходе работы каждой секции замысел оргкомитета становился не только понятным, но и оправданным. К диалогу за «столом переговоров» были приглашены историки, социологи, регионоведы, культурологи (вузовские преподаватели и работники архивной, библиотечной, музейной служб России, а также зарубежные коллеги) с целью актуализации поиска магистральных направлений создания в российском регионоведении «сыгранного ансамбля» концептуализации и моделирования локальной истории и знаний о ней.

Съезд оказался очень своевременным «шагом» в этом направлении. Поиск мировым научным сообществом нового методологического синтеза как адекватного «ответа» на «вызов глобалистики» и как результат

пересмотр системы и структуры гуманитарного знания, дисциплинарного статуса и приоритетных направлений междисциплинарного взаимодействия поставили российских историков перед выбором типа «научной рациональности», парадигмы осмысления истории и ее интерпретации. Методологический плюрализм, воспринятый одними исследователями как «спасательный круг», надежный способ удержаться в водовороте идей и концептуальных поисков с помощью механического переноса теоретико-методологического инструментария и методик социологии, политологии, экономики в арсенал исторической науки, другими — как естественный этап развития научного знания, сопровождаемый рефлексией доминирования теоретического знания над практическим (и наоборот) как осознанного стремления «продвинутой» части научного сообщества к достижению большей эффективности исследовательских, в первую очередь историографических практик, большей научной рациональности и результативности научных программ и проектов. На съезде были представители и той, и другой позиции. Были и те, кого эти проблемы совершенно не интересовали, кому было необходимо поделиться с коллегами-единомышленниками своими открытиями, и те, кто приехал на съезд с сугубо личными целями, далекими от задач кооперации научной и педагогической деятельности историков-регионоведов...

Наконец, еще один фактор современного состояния регионоведения и регионалистики, отчетливо проявившийся на съезде. Ситуация концептуального и методологического плюрализма, характерная для российской историографии рубежа веков, и как результат фрагментация научных исследований обострили естественный для любого этапа развития науки конфликт поколений и научно-педагогических школ. Такие конфликты сопровождаются довольно сложной для многих «учителей» и «учеников» проблемой понимания соответствия результатов своих исследований той или иной философско-эпистемологической парадигме и идеологии...

Наряду с труднопреодолимой проблемой понятийного хаоса в историко-краеведческих и историко-регионоведческих исследованиях, о чем нам уже приходилось неоднократно выступать на научных форумах и в печати [4, с. 76—91], в ходе работы съезда актуализировалась проблема лидерства в профессиональном сообществе, которая, как известно, сопряжена с проблемой критериев научности, с научной интуицией и «строгой» логикой в определении и обосновании научной перспективы и научной рациональности в их дисциплинарной и междисциплинарной проекциях; с определением научного потенциала «традиционных» и «новаторских» исследовательских практик, их «наукотворчества» в идейно-концептуальном и социокультурном контекстах; а также с трансляцией научного знания; наконец, с психологией научной деятельности в плане идентификации ее социетальной (поколенной, когортной), коллективной (корпоративной) и личностной составляющих...

Обсуждение вопроса о научном потенциале современных историко-краеведческих исследований имело в целом позитивные результаты, но оказалось очень болезненным для некоторых участников дискуссии. В выступлениях прозвучали разные мнения относительно интеллектуального аспекта профессионального и любительского краеведения, этики «историописания», отношения историка-профессионала и историка-любителя к научному и околонуучному сообществу. В аргументации своей позиции участники дискуссии довольно часто обращались к опыту научно-педагогических школ, их ролевому участию в воспитании историка-специалиста, связывая этот опыт с проблемой отношения «учителя» и «ученика» к научным традициям, научному наследию, литературному наследию, современным историографическим практикам и их результатам. Интересно, что научный потенциал исторического краеведения и новой локальной истории оценивался в формате «научная школа».

Почему? Очевидно потому, что термин «школа» по природе смысло-творческий, содержательно инвариантный (многоплановый и многозначный) в его научном и социокультурном коммуникативном значениях, на эту его особенность первым обратил внимание М.Г. Ярошевский [5, с. 73]. Благодаря природной инвариантности этот термин оказался «удобным» для аудитории. Понятие «школа» ассоциировалось с исследовательским направлением и проблемой научного лидерства как социокультурного явления. Вспомним, что науковеды выделяют в рамках научных школ два типа лидерства: «коммуникативный» и «интеллектуальный» [6, 7]. И тот, и другой, как правило, нацелены на активную научно-организационную деятельность в различных ее формах. Однако первый — преимущественно на трансляцию знания через взаимодействие научного и околонуучного сообщества, второй — на совершенствование идейно-теоретической концептуализации научных программ и проектов. Отсюда два разных подхода к понятию «научная рациональность» исторических и историографических исследований и их научной перспективы. Эти подходы и прозвучали в дискуссии...

Известно, что «коммуникативный» и «интеллектуальный» типы лидерства продуктивно взаимодействуют там и тогда, когда партнерство выше личных амбиций, когда членов научного сообщества объединяют единые для всех идейно-концептуальные программные установки, общая идеология, общая всем исследовательская культура, подразумевающая обязательный для всех историографических практик ценностно-детерминированный комплекс правил исторического «письма»*. Соперничество, таким образом, развивается в партнерство.

Участники дискуссии формально признали необходимость диалога «нормативной» историографии и историографических практик,

* Более подробно см. [8, с. 29-46]

находящихся на периферии ее культурного поля, с целью более продуктивного для каждой подхода к проблеме научной рациональности и результативности региональных исследований. Однако из зала заседаний расходились неудовлетворенными, в кулуарах долго обсуждали сложившуюся ситуацию неприятия и «отчуждения» методологических принципов исторического краеведения. Пытаясь разобраться в своих и «чужих» доводах и сомнениях, одни говорили о том, что первостепенной задачей для «традиционного» краеведения, нацеленного и опирающегося на сбор эмпирического материала и описание местных достопримечательностей, что естественно ограничивает формат его научной коммуникативности как исследовательской практики и научной результативности, должен стать пересмотр отношения к историографической культуре как таковой. Другие говорили о том, что проект «новая локальная история» требует более серьезной концептуализации нового в декларируемом «новом» локальном методе этого проекта...

Тезис Г. Гусдорфа «презумпция специализации должна дать место презумпции конвергентности» является, на наш взгляд, программным в поиске выхода из тупиковой по сути ситуации за «столом переговоров» историков-краеведов и историков-регионоведов. Принимая этот тезис за руководство к действию, необходимо перейти от демаркации предметных полей и деклараций о сотрудничестве к продуктивному взаимодействию, начав с обследования современного состояния региональной историографии на основе отказа от формального «библиографического измерения» авторского (личного и коллективного) вклада в научный процесс и его развития. Пора признать, что одного этого «измерения» недостаточно, и оно не главное в определении «научного потенциала» (аспект конвергентности) историко-краеведческих и историко-регионоведческих исследований. Без «идейно-концептуального измерения» историографических практик, их программ и стилей, ответы на вопросы о научном потенциале (научном вкладе) и научной рациональности, а значит, и научной перспективе будут попросту выхолощенными, поверхностными. Выбор приоритетной для конкретного исследовательского проекта типа историографической практики предполагает глубокое осмысление потенциала ее «интеллектуальной» и «коммуникативной» составляющих.

Вот что думают по поводу перестройки культуры исторических исследований наши зарубежные коллеги, историки, работающие в Центре русистики при Будапештском университете им. Л. Этвеша. За десятилетний срок деятельности под руководством известного в нашей стране историка, профессора Д. Свака [9, 10, с. 292–301] этот центр успел зарекомендовать себя в глазах мирового научного сообщества как «обладающая четким профилем научная мастерская международной русистики» [11, с. 8].

В заключительном слове на конференции, посвященной 10-летию юбилею центра, профессор Т. Краус, заведующий кафедрой истории

Восточной Европы, отметил ряд реперных точек в поиске «ансамбля» идей «старой» и «новой» венгерской русистики. Во-первых, кропотливая работа по совершенствованию культуры научного взаимодействия историков и политологов. Во-вторых, серьезное отношение к вопросу о «нормативном» языке исторических исследований: «более взвешенное употреблении понятий», особенно тех, которые являются «недопустимыми» для исторической русистики, заимствованными ею из политической терминологии 1980-х годов (например, укоренившихся в языке историков, изучающих советскую эпоху, понятий «империя», «имперский», «империя зла»). В-третьих, осознанная необходимость деполитизации исторической науки: «стало очевидным», что «при изучении событий новейшей стадии развития, смены режима в Восточной Европе, нельзя механически переносить понятия, структурные формы истории Западной Европы, особенно стран западноевропейского «Центра», на историю России, Советского Союза или Восточной Европы»; «нужно отказаться от псевдонаучной «криминализации» государственно-социалистического развития, от старой, непригодной понятийной сети», поскольку «упрощенное использование понятий не просто обедняет изображение истории, но и приводит к своего рода смыванию качественных различий между различными этапами развития».

Заканчивая выступление, Т. Краус высказал два тезиса, принципиально важных для изучения региональной истории России и российского регионоведения в их «глобальном измерении»: «...Исторический регион, которым мы занимаемся, не только сохранил и сохранит свое существование, но стимулирует появление новых идей, новых научных направлений и, прежде всего, — углубление российских историографических исследований, которые стоит принять во внимание и венгерской исторической науке» [12, с. 106].

На наш взгляд, это замечательный «урок» о том, как достичь высокой культуры звучания «ансамблей человеческого знания» в конкретном проблемно-историческом исследовании; как уберечь историю (историографический текст) от «игромании», бездумной механической перетасовки дефиниций и структур, уже введенных и вводимых в историческую науку из социологии, культурологии, политологии без серьезного анализа их значений и смысловых контекстов в языках этих наук; как выработать здоровый скептицизм в отношении методов и методик различных историографических практик...

Ассоциативно с вышесказанным об «игромании» с дефинициями вспомнился случай на Всероссийской научной конференции «Историческое знание: теоретические и коммуникативные практики» (Казань, 2006), где один из участников секции «История в системе современного социогуманитарного знания» убеждал коллег в «необходимости менталологии как науки о менталитете» [13, с. 24–27]. А вот другой пример, связанный

с дефиницией «школа» и наглядно объясняющий ситуацию «отчуждения», в которой оказались на съезде историки-краеведы.

В историко-краеведческих работах последних лет по истории российской провинциальной историографии понятие «региональная школа» все чаще фигурирует в качестве синонима понятия «научная традиция» [14, 15] и их содержательное наполнение в конечном счете сводится к масштабу административно-территориального деления на карте Российской империи. Наглядным примером является монография заведующего кафедрой истории России Костромского государственного университета, профессора А.Д. Шпилова «Русская провинциальная историография XIX — начала XX вв.: Костромская школа» (Кострома, 2007). Вот главный вывод автора: «Костромская школа русской провинциальной историографии подтвердила право на существование внушительными результатами деятельности историков-любителей и общественно-исторических учреждений. Процесс складывания губернской историографической школы проходил под непосредственным влиянием развития исторической науки в общероссийском масштабе, занял несколько десятилетий и завершился к концу XIX в. Роль организационного центра, объединявшего разрозненных историописателей, выполняла до 80-х гг. XIX в. редакция газеты «Костромские губернские ведомости». Лидировали на этом этапе со значительным отрывом от представителей других сословий епархиальные историки. Этот же этап подарил не только губернской, но и российской историографии имя замечательного и самобытного исследователя М.Я. Диева» [15, с. 461].

Оставим без комментария данное заключение в пользу «права на существование» «губернской историографической школы», его текст говорит сам за себя, красноречиво иллюстрируя уровень профессионализма и историографической культуры автора. Увы, это не единичный пример.

К счастью, у нас есть другие примеры историко-краеведческих исследований и другие авторы, работающие в проблемном поле российской провинциальной историографии, для которых идейно-концептуальные и социокультурные параметры (программа, стиль, язык) сочинений «историописателей» XVIII–XIX вв., их отношение к предмету и методам изучения истории родного края являются определяющими принадлежность «сочинителя», «писателя истории», «историка-краеведа» либо к числу историков-любителей, либо к профессиональному сообществу историков-краеведов. Это основополагающий принцип, определяющий не только «научный вклад», научную результативность деятельности исследователя, но и «научную школу». В качестве примера приведем не утратившую свое историографическое и науковедческое значение книгу Г.П. Присенко «Проникновение в былое» (Тула, 1984), посвященную возникновению, становлению и развитию тульского исторического краеведения в XVII — начале XX вв. «Поиск тульскими авторами метода написания работ

по истории Тульского края, отличных от сочинений по истории всего государства, — пишет Г.П. Присенко, — имел важный положительный результат... И.Ф. Афремовым впервые в истории тульского краеведения было выдвинуто требование изучения истории края во взаимосвязи с общероссийской историей... Необходимость критического анализа источников местных исследований, которую отстаивал Н.Ф. Андреев, свидетельствовала об упрочении традиционного для тульского краеведения первой половины XIX в. научного подхода к провинциальной истории» [16, с. 117–118]. В статье «Источниковая база тульской историографии XIX – 30-х годов XX века в контексте ее предмета» Г.П. Присенко обращает внимание коллег на «идею «локального метода» изучения отечественной истории» в ее «первоначальном варианте» и на потенциал «новой локальной истории» и интереса к ней тульских историков как новому методу региональных исследований [17, с. 259–265]. Фактически, автор ставит перед историками региональной истории и историографии ту же задачу, что и дискуссия на съезде. Профессиональный историк должен сознавать необходимость и испытывать потребность совершенствования культуры научных исследований с целью достижения научного синтеза «проникновения в былое».

Подводить итоги дискуссий на съезде (его работа была организована оргкомитетом так, что нам удалось послушать выступления коллег на секции «Российское регионоведение» и ее подсекциях, а также на секции «Источниковедение, археография, библиография и историография в регионоведении» и ее подсекции «Историография и библиография регионоведения») пока еще рано, нужно дождаться публикации материалов съезда. Однако главный итог очевиден: «тотальная глобализация» истории [18] и как результат новый «вызов глобалистики» социальной и интеллектуальной истории кардинально меняет позиции исторического регионоведения в системе и структуре научного знания и профессионального образования. Проект «Новая локальная история» предлагает новое понимание «масштаба» пространственно-временных, социокультурных и ментальных характеристик локальной истории и их новое «измерение», базирующееся на принципе «ансамблей человеческого знания»...

P.S. В середине декабря 2007 г. Отделение краеведения и историко-культурного туризма Историко-архивного института РГГУ (в состав отделения входят кафедра региональной истории и краеведения, кафедра москвоведения и Центр исторического краеведения и москвоведения) провело свою первую Интернет-конференцию на тему «Историческое краеведение: теоретико-методологические проблемы». В конце декабря состоялся межвузовский семинар с тем же названием, на котором подводились итоги Интернет-конференции. На обсуждение конференции и семинара были вынесены вопросы, звучавшие на съезде историков-регионоведов: предмет исторического краеведения; профессионализм и дилетантизм в историческом краеведении; историческое краеведение

и другие направления изучения местной истории; историческое краеведение и региональная история, историческое краеведение и локальная история, историческое краеведение и историческая география.

Участники семинара были единодушны в понимании того, что историческое сознание и историческое знание не совпадают с понятием «историческая память», история как учебная дисциплина призвана выполнять познавательную, воспитательную и идентификационную функции.

Литература

1. *Gusdorf G.* De l'histoire des sciences б l'histoire de la pensйе. — Paris. 1977.
2. *Принципы историографии естествознания: теория и история.* — М.: Наука, 1993.
3. *Принципы историографии естествознания: XX век.* — СПб., 2001.
4. *Мохначева М.П.* Провинциальная историография и историческое краеведение: предметные поля и дисциплинарные полномочия // Проблемы методологии и источниковедения: Материалы III научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко (МГУ им. М.В. Ломоносова 1—2 декабря 2003 г.). — М., 2006.
5. *Ярошевский М.Г.* Логика и научная школа // Школы в науке. — М., 1977.
6. *Школы в науке.* — М., 1977.
7. *Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский М.Г.* Психология науки. — М., 1998.
8. *Маловичко С.И., Мохначева М.П.* Тенденции и перспективы интеграции региональных историографических исследований // Региональна історія України: 36. наук. ст. — Київ, 2007. — Вип. 1.
9. *Новые направления и результаты в международных исследованиях по русистике. New Directions and Results in International Russistics / Edited by Gyula Szvak.* — Budapest: Magyar Ruszistikai Intezet, 2005.
10. *Мохначева М.П.* Центру русистики Будапештского университета 10 лет // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории.— Ставрополь, 2007. — Вып. 9.
11. *Свак Д.* Lectori Salutem! // Двенадцать столетий венгерско-русских отношений: Доклады, прозвучавшие на юбилейной конференции Центра русистики Будапештского университета им. Этвеша Лоранца 26 мая 2005 г. — Будапешт, 2005.
12. *Двенадцать столетий венгерско-русских отношений.* — Будапешт, 2005.
13. *Корнилов П.А.* О необходимости менталологии как науки о менталитете // Историческое знание: Теоретические основания и коммуникативные практики: Материалы научной конференции 5—7 октября 2006 г. — М., 2006.

14. *Данилов Н.Ф.* Пермская школа историков-краеведов XIX – начала XX в.: Автореф. дисс... канд ист. наук. – Омск, 2003.
15. *Шпилов А.Д.* Русская провинциальная историография XIX – начала XX вв: Костромская школа. – Кострома, 2007.
16. *Присенко Г.П.* Проникновение в былое. – Тула, 1984.
17. *Присенко Г.П.* Источниковая база тульской историографии XIX – 30-х годов XX века в контексте ее предмета // Археографический ежегодник за 2004 год. – М., 2005.
18. *Чумаков А.Н.* Глобализация. Контуры целостного мира. – М., 2005.

И.Б. ОРЛОВ

**ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ:
АНТРОПОЛОГИЗАЦИЯ ИСТОРИИ И/ИЛИ ИСТОРИЗАЦИЯ
АНТРОПОЛОГИИ?**

«Я среди людей, словно среди обломков и разрозненных частей человека»
(Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»)

Именно «собрание» человека в его целостности и обусловило одну из ведущих тенденций современной историографии — трансформацию истории как науки о политических и экономических системах в науку о человеке в его историческом времени. В свою очередь, антропологический поворот подтолкнул процесс междисциплинарного синтеза, охвативший не только гуманитарные, но и точные науки. Отказ от дисциплинарной «чистоты» и стремление к научному синтезу привели к гуманитаризации даже естественного знания, наглядный пример чего — проникновение в физику идей герменевтики или формирование биоэтики* — науки о нравственной стороне жизнедеятельности человека.

Для всех видов антропологически ориентированной истории характерен перенос акцента с исследования государственных институтов, экономических структур и больших общностей на изучение небольших групп, стратегий поведения индивидов, а также переход от описания значимых событий к анализу повседневности. А для объяснения поведения и взаимодействия людей широко привлекаются понятия из арсенала социальной и культурной антропологии, социологии, психологии и других наук о человеке. Исходя из этого, сложившуюся в 1970-е гг. *историческую антропологию можно определить как междисциплинарную область, в которой история рассматривается как процесс становления человека.*

Соотношение между историей и антропологией стало предметом систематических исследований лишь в конце 1960-х годов. Междисциплинарный синтез (особенно на начальной его стадии) строился на механизме

* Термин был впервые предложен в 1969 г. американским онкологом-исследователем В.Р. Поттером.

«импорта». *Применительно к исторической антропологии можно выделить несколько «моделей» или этапов синтеза:*

1) *заимствование историей из других отраслей гуманитарного знания* и, прежде всего, из этнологии и философии. В первом случае, как правило, привлекался этнографический материал, и значительно реже заимствовался концептуальный аппарат. Говоря о влиянии философии, следует отметить, что исследование сущности человека красной линией проходит через всю историю философско-антропологических учений от античной философии до философии постмодерна. Особенно большое многообразие антропологических концептов (светских и религиозных) породило XX столетие: от «техник тела» до проблемы экзистенциального позиционирования человека. Даже в СССР, в условиях марксистской монополии на истину, не прекращалось исследование сущности человека: рассматривались вопросы о социальном и духовном воспроизводстве человека и смысле его индивидуального бытия, соотношении биологического и социального в человеке, перспективах развития человека в век НТР и т.п. Если в советской философии интегративным свойством человека считалась социальность, то с 1990-х годов в отечественной философии проблематика сущности человека стала рассматриваться в аспекте духовности человека, его целостности и разумной природы, а также человеческой телесности;

2) *историзация антропологии*, которая, с одной стороны, привела, в рамках французской «новой исторической науки» к формированию истории ментальностей, с другой стороны, стимулировала качественные исследования особых случаев (case studies) и микроисторию, с ее особым вниманием к символизму повседневной жизни;

3) *взаимный обмен разных национальных антропологических и исторических школ*. Историческая антропология утвердилась не только в результате полемики с социально-историческими науками, но и под влиянием нарастающей интернационализации науки. Например, итальянская микроистория, немецкая история повседневности и американская новая культурная история, так или иначе, отреагировали на формирующуюся историческую антропологию. Более того, если в 1960-1970-е гг. «Анналы» сравнительно легко поглотили антропологическую сферу неподвижной историей, то смена научного поколения привела к попыткам представителей третьего поколения Школы Ж. Ле Гоффа и Р. Шартье вытеснить или ограничить историю менталитета с помощью исторической антропологии. Надежды на создание нового варианта «тотальной» истории предельно четко выразил *Ле Гофф*: «Историческая антропология представляет собой общую глобальную концепцию истории. Она охватывает все достижения новой исторической науки, объединяя изучение менталитета, материальной жизни, повседневности вокруг понятия антропология» [1]. В итоге в конце XX века во Франции началось активное изучение

социальной природы и функций тела, жеста, устного слова, ритуала, символики и т.п. Что касается американской исторической школы, то она сложилась под влиянием взглядов и личности Ф. Боаса, привнесшего в американскую антропологию первой трети XX столетия традиции немецкой культурно-исторической школы. В свою очередь, в исследованиях школы исторической этнологии широко использовались методы лингвистики, исследовались исторические факторы и психологические компоненты культурных комплексов. Показательны отказ от установок собственной культуры и ориентация на познание другой культуры, исходя из ее собственных ценностных ориентаций [2, 3].

Как мы видим, в процесс становления исторической антропологии заложены механизмы многоуровневого синтеза. *Можно выделить следующие источники формирования нового научного направления:*

- социологическая теория действия П. Бурдьё, представляющая собой попытку синтеза структурализма и феноменологии;
- интерпретативная антропология К. Гирца, впитавшая, в свою очередь, традиции герменевтики, социологии и аналитической философии. В основе ее лежит концепция «насыщенного описания», то есть «интерпретации социального взаимодействия в данном обществе в терминах норм и категорий самого этого общества» [4, Р. 3–30];
- наработки школы «Анналов» («новой исторической науки»), нацеленные на создание тотальной истории, которая объединила бы все аспекты активности человеческих обществ, и принципиально междисциплинарную практику исторического исследования и социальных наук. В частности, М. Блок предвосхитил основные исследовательские установки «исторической антропологии», трактуя историю как науку «о людях во времени» и рассматривая человека как начало, интегрирующее различные аспекты жизнедеятельности общества [5];
- социальная морфология М. Мосса, ядром которой является изучение форм общественной жизни с целью дать описание ее структур и выявить культурное значение, которым люди наделяют эти структуры [6, с. 101];
- историческая фольклористика, сумевшая в 1970-е годы превратиться в этнологию или эмпирическую науку о культуре;
- историческая демография и тесно связанная с ней история семьи;
- история рабочих и рабочего движения и, прежде всего, труды Э.П. Томпсона;
- история быта, для которой характерна концентрация на повседневной жизни простых людей и интерес к субъективному жизненному опыту;
- историческое изучение народной культуры, том числе работы А.Я. Гуревича;
- изучение женской проблематики, интегрированной в гендерную историю.

На первый взгляд, у исторической антропологии отсутствует специфический предмет исследования. Да и в сам термин «историческая антропология» в разное время разными учеными вкладывался неодинаковый смысл. В частности, историческую антропологию иногда отождествляют с новой культурной историей или культурной историей социального, по определению Р. Шартье [7, с. 29]. В среде историков предпринимаются и попытки использовать термин «антропологическая история». Теперь, когда это направление вобрало в себя множество подходов, стало гораздо труднее находить грани, отделяющие историческую антропологию от социологии, фольклористики и этнологии [8, с. 209]. М.М. Кром в своих исследованиях исходит из представления о глубоком внутреннем родстве истории ментальностей, исторической антропологии, микроистории и истории повседневности [9]. Действительно трудно разграничить историю культуры и быта, микроисторию и историческую антропологию в таких признанных шедеврах, как «Сыр и черви» К. Гинзбурга. Можно только, по примеру английского историка Питера Берка [10, Р. 3—4], выделить некое смысловое ядро в современном понимании антропологического подхода в истории и попытаться описать его характерные черты:

- фокусировка внимания на микрообъектах и их детальное описание, не исключающие анализ соответствующего социального контекста;
- обращение внимания на особые случаи, определившие популярность «case studies»;
- выделение «культуры» в качестве ключевого понятия^{*} и, в силу этого, повышенный интерес к языку изучаемой эпохи и символизму повседневной жизни. При этом культура оценивается как часть всей символической деятельности человека;
- постановка в центр исследования конкретного исторического человека с его жизненным опытом и образом поведения в целях раскрытия того, как перемены в сферах политики и экономики отражаются на повседневных условиях;
- междисциплинарный характер исследований: плодотворное взаимодействие с социальными науками, и в первую очередь — с этнологией, в стремлении приблизиться к недоступному для историков методу непосредственного наблюдения;
- акцент на исследовании инаковости минувших эпох и «образа другого»;
- собственная специфика в сфере проблематики: особое внимание символике повседневной жизни, манере поведения, привычкам, жестам, ритуалам и церемониям [11];

^{*} Историческая антропология видит в культуре «медиума» социального опыта и социальных действий, выразителя социальных отношений и жизненной практики.

- широкий сравнительно-исторический (компаративистский) контекст.

В качестве начальной точки становления исторической антропологии можно рассматривать программную статью Ж. Ле Гоффа 1972 г. «Историк и человек повседневности», в которой автор констатировал сближение истории и этнологии после более чем двухвековой «разлуки». Программа развития «этнологической истории», намеченная ученым, (с 1977 г. он предпочитает пользоваться термином «историческая антропология») очень близка к той, которую в конце 1970-х гг. озвучил А. Бюргьер. Впрочем, последний не дал четкого определения новому направлению, исходя из того, что историческая антропология является, скорее, этапом развития исторической науки, нежели ее сектором: «У исторической антропологии нет собственной территории». Более того, позднее Бюргьер фактически отождествил историческую антропологию с историей ментальностей. Тогда как Ле Гофф в интервью А.Я. Гуревичу в декабре 1991 г. довольно категорично высказался за разведение этих двух направлений: «История ментальностей и историческая антропология никогда не смешивались». Если ментальность ограничена «сферой автоматических форм сознания и поведения», то историческая антропология представляет собой «общую глобальную концепцию истории», объединяя изучение менталитета, материальной жизни, повседневности вокруг понятия антропологии [12, с. 297].

С иной трактовкой исторической антропологии выступил П. Берк, критиковавший переоценку единства и цельности этого направления и считавший, что термин просто описывает определенный подход к истории [10, с. 3]. Характерно, что у него даже не возникает вопрос о соотношении исторической антропологии и истории ментальностей. Зато оказывается весьма актуальной другая проблема — о соотношении микро- и макроподходов в историческом исследовании. Другими словами, можно констатировать наличие в современной науке двух программ исторической антропологии. Для трактовки, связанной с традицией школы «Анналов», характерно видеть в исторической антропологии «новую историческую науку» в целом. Тогда как в версии Берка, поддержанной итальянскими (К. Гинзбургом и Дж. Леви), американскими (Н.З. Дэвис) и германскими (Х. Медиком) исследователями, историческая антропология предстает лишь как одно из направлений социокультурной истории [13, с. 172–174; 14, с. 193].

Действительно, становление исторической антропологии и родственных ей направлений стало следствием новой историографической тенденции — потребности «вернуть» человека в историю. Однако родство не означает полного тождества. Поэтому сейчас мы можем говорить о некоем общем «поле» историко-антропологических исследований, на котором рядом расположены (и часто пересекаются) такие направления,

как история ментальностей, историческая антропология, микроистория, история повседневности и новая культурная история*. При этом внутри каждого из этих направлений выработаны собственные исследовательские программы.

В целом антропологический подход приложим к изучению любой из сторон исторической действительности, однако это не означает, что историческая антропология представляет собой некий универсальный метод. В частности, остро стоит проблема репрезентативности изученных случаев и перехода от микро- к макроуровню. Кроме того, исторической антропологии присуща некая статичность: в ее рамках трудно учитывать действие долговременных и зачастую разнонаправленных тенденций исторического развития [16].

Что касается становления российской исторической антропологии, расположенной на стыке исторической науки и культурной антропологии, то оно было связано со значительными трудностями. Дело в том, что к тому моменту, когда А.Я. Гуревич в середине восьмидесятых познакомил отечественную научную общественность с новым направлением в западной, и, прежде всего, французской медиевистике [17, с. 40–48], в СССР под антропологией понималась только физическая антропология, а изучение конкретных культур ограничивалось описательными методиками – этнографией. В силу этого, в конце восьмидесятых популяризация исторической антропологии наткнулась на возражения. В частности, академик В.П. Алексеев не видел смысла в переносе названия биологической по сути дисциплины на то, для чего, по его мнению, уже существовало адекватное понятие «историческая психология» [18, с. 71–78; 19, с. 78–79].

Однако к середине 1990-х годов большинство отечественных историков понимали историческую антропологию «по Гуревичу» – как некое продолжение истории менталитета. Тогда как выступление историка науки Д.А. Александрова против отождествления исторической антропологии с историей ментальностей [20, с. 3], осталось без внимания. Показательно, что написанный А.И. Куприяновым очерк становления исторической антропологии России в большей мере сводился к обзору работ по истории ментальностей, частной жизни и гендерной истории [21, с. 366–385].

Можно констатировать, что к настоящему времени довольно четко выделились две предметные области исторической антропологии России: политическая и военно-историческая**. В стадии формирования находится религиозная антропология, в центре которой находится понятие «религиозность», определяемая Л.П. Карсавиным как «субъективная

* Подробнее о единстве и многообразии антропологически ориентированной истории см. [15].

** Об институционализации военно-исторической антропологии свидетельствует ежегодник [22].

сторона веры», то есть то, как человек верит [23, с. 21]. Являясь продолжением исследовательской традиции, у истоков которой стоял Л.П. Карсавин, современные работы по истории русской религиозности и «народного православия» опираются на наблюдения российских и зарубежных этнографов, фольклористов, социологов и культурологов*. Но этим не исчерпывается вклад Карсавина в становление начал исторической антропологии: им была сформулирована идея новой исторической науки как истории тотальной и культурной, а также концепция исторического процесса как синтезирующего единства «социального» и «психического»**.

Таким образом, *историческая антропология может быть оценена как новый этап эволюции исторического знания в силу расширения диалога с различными социальными науками*. Кроме того, *историческую антропологию, наряду с историей ментальностей, исторической психологией*** и социальной историей**** следует рассматривать как очередную попытку создания «тотальной», интегрирующей объяснительной модели истории* после того, как в 1980-е годы был в очередной раз ощущен предел идеи глобальной истории. Более того, *историческая антропология отражает новую, «человеческую», ориентацию всего комплекса гуманитарных наук*.

Литература

1. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://cmb.rsuh.ru/section.html?id=1649>. — Загол. с экрана.
2. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://yanko.lib.ru/books/cultur/encyclopocultXX/a.html#ВМА0013>. — Загол. с экрана.
3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-0130.htm?text>. — Загол. с экрана.
4. Geertz C. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture / / Idem. The Interpretations of Cultures. - London, 1993.
5. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/dict/phil_dict/article/filo/filo-031.htm?text. — Загол. с экрана.
6. Савелли Д. Методология социальных наук: новые подходы // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. — М., 1999.

* См., например [24].

** Подробнее по этому вопросу см. [25, с. 167–188].

*** В этом показателен труд ученика Л. Февра Р. Мандру «Введение в современную Францию. Очерк исторической психологии. 1500-1640» (1961), в которой исторической психологии отводилась роль теоретического и организационного стержня, вокруг которого должна разворачиваться история эпохи. Типичный пример такого подхода в российской историографии [26].

**** Научное кредо этого направления Т. Зелдин выразил следующей формулой: «Кульминацией социальной истории должна стать история всеобъемлющая, охватывающая личность, умунастроения и общество одновременно» [27, с. 161].

7. *Ястребицкая А.Л.* О культур-диалогической природе историографического: Взгляд из 90-х // XX век: Методологические проблемы исторического познания: Сб. обзоров и рефератов: в 2-х ч. — М., 2001. — Ч. 1.
8. *Дюльмен Р. ван.* Историческая антропология в немецкой социальной историографии // THESIS. - 1993. - Вып. 3.
9. *Кром М.М.* История России в антропологической перспективе: история ментальностей, историческая антропология, микроистория, история повседневности [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://achronicle.narod.ru/krom.html> . — Загол. с экрана.
10. *Burke P.* The Historical Anthropology of Early Modern Italy. — Cambridge, 1987.
11. *Кром М.М.* Историческая антропология в поисках самоопределения. Дискуссии 70 — 80-х годов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://snoistfak.mgpu.ru/Gender_History/methodology/me16.html . — Загол. с экрана.
12. *Гуревич А.Я.* Исторический синтез и Школа «Анналов». — М., 1993.
13. *Леви Дж.* К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания новейшей истории: Материалы из цикла семинаров при поддержке TACIS. М., 1996.
14. *Медик Х.* Микроистория // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. — М., 1994. — Т. 2. — Вып. 4.
15. *Кром М.М.* Историческая антропология / 2-е изд., испр. и доп. — СПб., 2004.
16. *Кром М.М.* Историческая антропология русского средневековья: Контуры нового направления // Новая Русская Книга. — 2001. — № 2 [Электронный ресурс] <http://magazines.russ.ru/nrk/2001/2/markov1-pr.html>. — Загол. с экрана.
17. *Гуревич А.Я.* Этнология и история в современной французской медиевистике // Советская этнография. — 1984. — № 5.
18. *Гуревич А.Я.* Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории // Вестник АН СССР. - 1989. - № 7.
19. *Алексеев В.П.* Не возникнет ли путаница? // Вестник АН СССР. — 1989. — № 7.
20. *Александров Д.А.* Историческая антропология науки в России // Вопросы истории естествознания и техники. — 1994. — № 4.
21. *Куприянов А.И.* Историческая антропология. Проблемы становления // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. — М., 1996.
22. *Военно-историческая антропология.* Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. — М., 2002.
23. *Карсавин Л.П.* Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках. — СПб., 1997.
24. *Русская религиозность: проблемы изучения.* — СПб., 1998.

25. *Ястребицкая А.Л.* У истоков исторической антропологии в России: Л.П. Карсавин // Историческое знание на рубеже столетий: Сб. обзоров рефератов. — М., 2003.

26. *Шкуратов В. А.* Историческая психология. — Ростов-на-Дону, 1994.

27. *Зелдин Т.* Социальная история как история всеобъемлющая // THESIS. — 1993. — Т. 1. — Вып. 1.

А.А. САЛЬНИКОВА

**ДЕТСТВО И ГЕНДЕР – ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ?:
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ
ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА**

До самого недавнего времени историю детства едва ли можно было отнести к приоритетным исследовательским сюжетам в российской историографии. В 1960–1970-е гг., когда это исследовательское направление за рубежом уже успешно и целенаправленно развивалось, мало кто в СССР мог даже представить о его существовании. Это касалось, безусловно, и результатов изучения зарубежными исследователями истории русского/советского детства. Приобщение к достижениям западной россиеведческой мысли проходило тогда в основном через критику «буржуазной советологии», понимаемую как ее всецелое отрицание. Справедливости ради, заметим, что и само зарубежное россиеведение, только еще преодолевавшее стереотипы «тоталитарной модели» и переходившее к изучению истории социальной, не особенно активно обращалось к российско-советской «детской» проблематике.

В отечественной историографии проблемы не просто наличествовали существенные пробелы — методологически порочным был сам подход к изучению истории детей и детства в России. В рамках сложившейся в советской исторической науке традиции дети продолжали рассматриваться не как реальные действующие лица в истории, не как реальные «экторы», а лишь как объект преобразовательной политики партии, нового советского строя и нового социалистического государства. В «советских» концептуальных трактовках, активно внедряемых в общественное сознание, российское детство было стабильным, статичным и непротиворечивым. Оно четко разграничивалось лишь на детство «дореволюционное» и детство «постреволюционное» и изучалось и описывалось в этих двух основных категориях. «Дореволюционное» детство представлялось как беспросветно тяжелое, полное трудов, лишений и утрат. Эти мрачные картины должны были разительно контрастировать с детством «советским» — счастливым, безоблачным и защищенным. Таким образом, понимание российского/советского детства как сложнейшего социокультурного феномена в советской историографии практически отсутствовало.

Эпистемологический и методологический поворот в изучении истории детства в России пришелся на конец 1980-х — 1990-е гг. И связан он был как с изменением общеполитической ситуации в стране, так и с изме-

нениями внутри самой российской исторической науки. Открытие интеллектуальных границ, выход в мировое исследовательское пространство способствовали расширению познавательного-предметного поля, обращению к историческим сюжетам и явлениям, считавшимся до этого малозначимыми или просто игнорировавшимися исследователями. История детства также оказалась среди них. Исторический контекст все активнее начал вводиться в психолого-педагогические исследования, этнографы все чаще обращались к изучению «детской темы» в историко-культурной ретроспективе*. В конце концов, к изучению детства обратились и историки России, в том числе специалисты в области современной отечественной истории. Одной из первых проблемно-постановочных статей в этой области стала статья С.В. Журавлева и А.К. Соколова «Счастливое детство», опубликованная в ежегоднике «Социальная история» в 1998 году [1, с. 159–203]. Применительно к изучению истории русского «дореволюционного» детства столь же важную роль сыграли исследования О.Е. Кошелевой [2].

Свою роль в стимулировании «детских» исследований в отечественной историографии сыграл и некий «провокационный» фактор: на смену мифу о «счастливом советском детстве» пришли новые постсоветские «разоблачительные» контрмифы, абсолютизовавшие наиболее трагические аспекты истории детей и детства в России, а подчас и прямо извращавшие и фальсифицирующие эту историю в угоду политической конъюнктуре. Эти мифы также актуализировали «детские» исследования, потребовав своего подтверждения или разоблачения**.

Круг публикаций по «детской» проблематике постепенно расширялся***, однако он всегда уступал и все еще существенно уступает такому весьма родственному и хронологически соотносимому в современной российской историографии направлению, как история женщин и гендерные исследования. Последние преодолели столь же тернистый путь развития, но в результате оказались гораздо более многочисленными,

* Принципиальное значение в этой связи имело появление в 1988 г. монографии И.С. Кона. «Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива)». Это было, пожалуй, первое в России полидисциплинарное исследование по истории детства, написанное на стыке этнографии, истории, социологии и психологии.

** Достаточно привести в качестве примера незатухающую в средствах массовой информации дискуссию о степени соотношения вымысла и достоверности в художественном фильме «Сволочи» (режиссер А. Атанесян, 2006, по одноименной повести В. Кунина), рассказывающем о школе по подготовке советских детей-диверсантов в годы Великой Отечественной войны. На необыкновенно высокий уровень мифологизации истории именно «военного» детства в России обращал внимание и ряд отечественных исследователей. См., в частности [3, с. 345–351].

*** Развернутую характеристику российской историографии проблемы см. подробно [4, с. 28–46].

«академизированными» и институционализированными, хотя, как ни странно, отношение общества, и научного сообщества, в том числе, к «детским исследованиям» всегда было гораздо более благожелательным, нежели чем к гендерным изысканиям. Последние — особенно в обыденном сознании — часто ассоциировались с феминизмом, а, следовательно, «с мужененавистничеством, индивидуальной депривированностью женщин — инициаторов ГИ (гендерных исследований — А.С.), политической ангажированностью и гомосексуальной ориентацией сторонников гендерного подхода» [5, с. 33–51; 6, с. 216]. Причину подобного «отставания» необходимо искать, вероятно, прежде всего в отсутствии необходимой политической основы для развития истории детства как особого исследовательского направления в российской/советской историографии. На Западе эта история развивалась в условиях общественного подъема 1960-х гг., роста общественной активности, выразившейся, в том числе, и в движении за права ребенка, в создании разного рода «взрослых» организаций, отстаивающих и защищающих эти права. В советском обществе потребность в таких организациях отпадала как бы сама собой, поскольку дети всегда считались здесь «привилегированным классом», права которого были гарантированы, и, следовательно, за них не было необходимости бороться. В постсоветский период «детский вопрос» неожиданно обозначился с особой остротой. Между тем, деятельность имеющихся организаций по защите прав ребенка все еще недостаточно интегрирована в реальную жизнь общества и зачастую лишена того концептуального фундамента, который позволил бы этому движению стать политической основой для развития междисциплинарных исследований детей и детства в России.

В исследовательской сфере имелись свои проблемы. И, пожалуй, главной из них оказалось практически одномоментное проникновение всех познавательных «поворотов» гуманитарного знания в российское исследовательское пространство, произошедшее на рубеже 1980-х — 1990-х гг. Создав ситуацию «дискурсивной всеядности» (определение Е. Здравомысловой и А. Темкиной) и «полицентричности научно-познавательной модели» [7, с. 13], они, с одной стороны, стимулировали изучение истории детства, а с другой, — затрудняли его, поскольку осознать, интерпретировать, и еще более того — немедленно применить на практике эти исследовательские парадигмы оказалось крайне сложно.

Как бы то ни было, оба научных направления — и история детства, и гендерные исследования в России — постепенно развивались, но, к сожалению, преимущественно в полном отрыве друг от друга. Во многом это было обусловлено неструктурированностью самого понятия детства, что, в свою очередь, вело к изучению его «целиком», без учета его гендерных характеристик и составляющих. Между тем, изучение истории российского/советского детства в гендерном измерении позволяло бы дать ответ на такие важные для понимания российской истории вопросы, как вопрос

о специфике «мужского» и «женского» опыта, «мужских» и «женских» адаптационных методик и практик, «мужских» и «женских» «правил поведения», восприятия и освоения действительности, усвоенных и примененных в детстве и закрепленных (или отвергнутых) во взрослой жизни.

«Детские» и гендерные исследования имеют между собой глубинную генетическую связь через историю материнства, отцовства и родительско-детских отношений*. Как женщины, так и дети — это биологически определенные маргинальные группы, причем женщины категоризированы своими репродуктивными функциями, а дети — их физической зависимостью и возрастом**. «Гендерная идентичность — это культурная конструкция, приписывающая индивидуумам культурно специфические роли, виды деятельности и поведения исходя из их биологического пола. Детство — это также культурно специфицированная конструкция, приписывающая индивидуумам их роли, виды деятельности и поведения, но исходя из их местоположения в жизненном цикле человека. Эти культурные конструкции идентичности часто перекрываются» [10, Р. 3]. Поэтому история детства существенно необходима для изучения и понимания гендерных процессов, тогда как гендер столь же существенно необходим для понимания природы детской социализации.

Большинство созданных на сегодняшний день на Западе гендерных и детских исследований разделяют ряд общих исследовательских стратегий: и те, и другие разумно сочетают социальный конструктивистские теории с индивидуально-психологическим подходом, и те, и другие анализируют роль дискурса в продуцировании индивидуального субъекта и ставят вопрос о господстве бинарных категорий (женщина — мужчина, взрослый — ребенок) и, наконец, и те, и другие призывают к всеобщей контекстуализации [11, Р. 2]. Наложение этих двух исследовательских полей создает благоприятную основу для развития новых подходов к проблемам гендера, детства и «гендерирования» детства. Помимо исследования проблемы культурного конструирования гендерных представлений и репрезентаций у детей, оно может способствовать анализу таких бинарных, противоположных категорий, как дети и взрослые, мальчики и девочки не изолированно, а в их целостном единстве и взаимодействии. Предложенная Дж. Скотт весьма известная ныне и весьма продуктивная гендерная модель исторического анализа, включающая четыре группы социально-исторических «подсистем»

* См. подробнее, включая развернутую библиографию проблемы [8].

** «Дети, так же как и женщины, существуют на более слабом конце дихотомических измерений мужского-женского, взрослого-детского. Они феминизированы в том смысле, что являются противоположным мужскому и противоположным сильному. Они существуют в категории, включающей пожилых, поработанных и другие слабые, безгласные и маргинализованные группы» [9, Р. 1].

(комплекс культурных символов, нормативные утверждения, социальные институты и организации и самоидентификацию личности) [12, с. 405–436] с успехом может быть применена и при изучении истории детей и детства [13, Р. 471–482].

Одной из первых в зарубежной историографии к изучению истории советского детства в гендерном измерении обратилась британская исследовательница К. Келли. Она показала, что наличествующий в раннесоветский период миф о детях как о настоящих революционерах породил новый идеал ребенка — энергичного, эмоционально независимого, что а priori отдавало пальму первенства мальчикам, а не девочкам. Воспитание культа мужественности было возведено на государственный уровень и стало активно распространяться во всех детских дошкольных, школьных и внешкольных учреждениях и организациях. Однако расцвет мифа о «счастливым советском детстве», пришедшийся на середину 1930-х гг., изменил идеал ребенка, обозначив в качестве основной его положительной черты традиционное послушание, причем не только и не столько родителям, сколько советской власти. Излюбленным пропагандистским сюжетом стали вручающие букеты партийным вождям и советским лидерам послушные и примерные девочки — отличницы [15, с. 409–410]. Пропагандистский акцент, таким образом, в период «высокого сталинизма» был перенесен с «ребенка-активиста» — образа, сконструированного в эпоху 1920-х гг. (хрестоматийный образец и наиболее типичный пример — пресловутый Павлик Морозов, ребенок трагической судьбы, как реальной, так и историографической*) на ребенка, благодарно пользующегося благодеяниями государства [19, с. 218]. К. Келли показала, как различные тенденции гендерной социализации влияли на складывавшийся детский опыт, формировали представления о «нормальном гендерном поведении» и о границах этой нормальности.

Гендерные различия становятся особенно очевидными, в частности, при работе с «детскими» источниками, т.е. источниками, созданными самими детьми, что обусловлено как психосоматическими, так и социальными детерминантами мальчиков и девочек в обществе. Если обратиться к «детским» текстам раннесоветского периода, то эти различия прослеживаются и в способах приобщения детей к новому политическому пространству (мальчики — преимущественно через улицу, девочки — через семью, школу); и в превалировании цвето-звуковых образов и чувственно-эмоциональной памяти у девочек над предметно-вещественной символикой и рационально-логическим описанием у мальчиков; и в совершенно различной персонализации ими образов революции и советской власти; и даже в самом языке «мужских» и «женских» «детских» текстов. Эти и дру-

* «Примерами для пионера и комсомольца назначены были на самом верху и утверждены три Павла: Власов, Корчагин и Морозов (последнего по причине нежного возраста всегда называли «Павликом») [16, с. 211; 17; 18].

гие отличия позволяют выделить созданные девочками источники в особую группу документов ментального рода, аккумулировавшую в себе в явном или неявном виде оценки, понятия, представления, живые образы и свидетельства прошлого, отложившиеся в детском «женском» сознании.

Созданные девочками воспоминания сочетали в себе все особенности, присущие как «женскому», так и «детскому» письму. Еще современники отмечали такие признаки советских девичьих текстов, как высокая эмоциональность и открытость, рефлексивность и естественность. Так, учительница В.Лукашевич, анализируя языковые отличия в ведении школьной летописи мальчиками и девочками – учениками 1-ой Самарской опытной школы второй ступени в 1921–1922 гг., отмечала: «Стиля сухого, книжного у девочек не встречается. Нет у них и карикатурности, утрировки, шаржа. Все летописи девочек ярко эмоциональны. Они более лиричны, более углублены в себя, чем во внешний мир». Впрочем, далее она указывала на такие негативные, по ее мнению, качества «женского» письма, как постоянное переключение на не связанную с ситуацией письма тематику и излишне аффектированную лексику («ах, нам привезли чулки, какие хорошие чулки!», «ах, какой хороший учитель К.И., как мы его любим!»), в чем советский педагог усматривала признаки «чего-то специфически женского, мешанского» и называла такие тексты «ура»-текстами [20, с. 23] «Поток сентиментальности» как специфическую особенность девичьих текстов отмечает и М.М. Рубинштейн. Так, 14-летняя девочка, обращаясь к матери в своем дневнике, называет ее «дорогая мамуля», «сосуля», «бескася», «муся» [21, с. 40]. Высокую степень откровенности при подчас излишней гиперболизации (особенно часто, к месту и не к месту, употреблялось в этих текстах слово «очень»: «мы очень жили хорошо», «теперь очень пошла жизнь плохая»), соединенную с искренним желанием открыто и обстоятельно написать о себе, находит А. Гринберг у девочек-беспризорниц из Пензенской, Челябинской, Ярославской, Саратовской и Самарской губерний, помещенных в московские детприемники: «Случались малограмотные и неграмотные, которые, несмотря на препятствия, продирались к столам, к бумаге, к скупо розданным ручкам, добивались места и пера и, перекрестившись, в течение нескольких часов благоговейно и бережно чертили, выводили, расспрашивая соседей, переписывая и сличая с обрывками случайных, печатных страниц растерзанной книги» [22, с. 107, 111, 118, 121, 124].

Эти же особенности были присущи девичьим сочинениям-воспоминаниям, написанным в эмиграции (хотя в целом, безусловно, разительно отличавшимся общим уровнем письменной культуры от сочинений советских девочек-ровесниц). Сравнительно-текстологический анализ эмигрантских «детских» источников убедительно подтверждает это. В сочинениях девочек больше используется эпитетов, шире применяется прямая речь, внутренняя речь автора, чаще встречаются яркие, нестандартные характеристики настроений и поведения людей. И мальчики,

и девочки обычно довольно подробно фиксируют событийную сторону произошедшего, но у девочек часто даже в небольших по объему сочинениях присутствует интрига. Язык девочек более эмоционально окрашен, свободен от идеологических клише. Приведем для сопоставления сочинения 14-летних девочки и мальчика:

«Прошло уже около месяца со дня объявления революции. Мой папа служил в военной службе... Было около 8 часов вечера; мы поужинали и, убрав со стола, сидели около камина. Мама вязала кружево, а я, подперев голову руками, смотрела, как быстро мелькали спицы у мамы в руках. Мама сказала мне, чтобы я повторила свой урок на рояле. Я нехотя встала, медленно достала ноты, открыла крышку и принялась играть. Так прошло минут 10. Мама встала и ушла на кухню. Медленно-медленно тянулся этот вечер. Мне послышалось, будто бы кто-то звонит. Я прислушалась, звонок повторился. Я встала и пошла в переднюю. «Кто там?» — спросила я. Ответа не было. Я приоткрыла дверь, и крик радости сорвался у меня. Я опрометью бросилась в кухню к маме. «Папа, папа!» — кричала я и, повернувшись, помчалась обратно. Папа вошел уже в переднюю и снял с себя пальто. «Папочка!» — крикнула я и бросилась к нему на шею. Светло и радостно было в этот вечер у нас... Спокойно и тихо проходило время... Как вдруг после Крещения пронеслась ужасная весть. Большевики подходили к городу».

«Я помню, что тогда была война, что она должна была кончиться после окончательного сражения; помню, как пронеслась весть о революции. По издании манифеста о революции и об отречении Императора Николая II от престола стали собираться разные партии, стали голосовать об избрании Временного правительства. Фабрики распустили рабочих, города наполнились ими, они образовали банды, грабили; усмирить их было некому, ибо все были на фронте... Настало тяжелое время правления Ленина и Троцкого» [23, с. 113, 162].

Нельзя не отметить заостренную ориентацию девочек на фиксацию проблем повседневности, быта, «особость» присущих им ценностных установок и устремлений. Основную цель и смысл своего существования в эти трудные годы они видят в «нормальной» жизни, когда «будут более или менее человеческие условия» [20, с. 59, 102, 120]. Этой своей трезвой рациональностью сочинения девочек разительно отличаются от сочинений мальчиков. Если девочки сомневаются, рассуждая о будущем, боятся сразу и до конца поверить в возможные радужные перспективы («может быть, мы выйдем в люди», «не знаю, что дальше будет — лучше или хуже», «а дальше не знаю, что будет... что было, то сплыло, вперед не загадывай») [22, с. 6, 107, 111, 118, 121, 124], а некоторые даже заявляют с угрюмым фатализмом: «Что Бог пошлет, то и ладно»*, то мальчики бодро

* Такой ответ дали 7% учениц российских школ в 1921 г. в ответ на вопрос: «Что бы вы больше всего хотели иметь?» [24, с. 53].

заканчивают свои сочинения пламенными призывами: «Провались вся мировая буржуазия! Воскресни, пролетариат!», «Да здравствует победа над капиталом!» [22, с. 107] или «Скорее бы истребили и избавили от антихристов нашу избитую и истерзанную Родину!», «Правда восторжествует, и Россия светом Христовой веры озарит весь мир!», «Сыны Родины с окрепшими силами и верой в правое дело станут на русский берег и освободят Россию от власти Интернационала!» [23, с. 113, 162].

Эта же особенность прослеживается в рукописных гимназических журналах. Если девочки пишут преимущественно о школе, о любимых и нелюбимых учителях, о собственных взаимоотношениях, дают характеристики одноклассникам (материалы «Случай в N-ской гимназии», «Из жизни гимназии», «Кое-что о нашем классе» и др.) [25, ед. хр. 9662(1), 9662(2)], то мальчики более склонны к романтично-возвышенному отображению действительности (стихотворение «Вперед!», рассказ «Кровавый бой»), к рассуждениям на общие морально-этические темы (эссе «Оптимизм и пессимизм», «Ложный стыд» и др.) [25, ед. хр. 8833(1), 8833(2)].

Все эти особенности четко вписываются в концепцию гендерного «женского» письма, предлагаемую и разрабатываемую современной наукой*. При этом специфика «женского письма» накладывается и пересекается со спецификой «письма детского», тем более что по сути своей они очень близки. По мнению французского философа и феминистского теоретика Э. Сиксу, писать текст и для женщины, и для ребенка — это значит длить ситуацию незавершенности и бесконечности: такой текст не имеет ни начала, ни конца и не поддается присвоению. В нем отражается наивное, не отягощенное рефлексией восприятие, существующее до всяких языковых категорий, основанное на «телесной» коммуникации с физическим миром вещей [29, Р. 875–899].

Правда, в нередких случаях исследователю, работающему с «детскими» воспоминаниями 1920-х гг., бывает достаточно сложно определить половую принадлежность их авторов. Советские издатели часто не затрудняли себя указанием имени и пола ребенка, эмигрантские — тоже предпочитали анонимные публикации детских сочинений. Вот пример такого текста: «В 1917 году мы жили в городе Николаеве... Мы жили рядом с госпиталем. Я помню, как пришли немцы, и мы прятались в подвале, потому что мы жили на третьем этаже, и пулей уже пробило окно и нас могло бы убить. Потом я еще помню, как должны были прийти большевики, и мы хотели уехать...» [30, с. 37–38]. Пол ребенка в данном случае может быть установлен только исходя из контекста.

Таким образом, очевидно то, что общность происхождения, функционирования, сходство исследовательских стратегий и тактик, некая

* Об основных положениях теории «женского письма» см., в частности [26, с. 241–273; 276 с. 299–302; 28, с. 553–556] и др.

похожесть историографической судьбы неразрывно связала между собой «детские» и «гендерные» исследования. В детском мире — мире мальчиков и девочек, так же, как и в мире взрослых мужчин и женщин — постоянно происходит складывание гендерных иерархий, фемининностей и маскулинностей, а такие дискурсивно созданные идентичности, как возраст и пол, неизбежно пересекаются и взаимодополняют друг друга. «Гендерированное детство» — это новая дисциплина, поистине революционизирующая «childhood studies» и позволяющая соотнести различные уровни гендерного анализа (персональный, индивидуальный, социальный, символический) с историческим, географическим, этническим и расовым контекстом, в котором существовали и существуют дети и детство.

Литература

1. *Журавлев С.В., Соколов А.К.* «Счастливое детство» // Социальная история: Ежегодник, 1997/1998. — М., 1998.
2. *Кошелева О.Е.* «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI—XVIII вв.). — М., 2001.
3. *Юсупова Л.Н.* Военное детство в памяти поколения, пережившего оккупацию Карелии // Военно-исторический антропологический ежегодник, 2003/2004: Новые научные направления. — М., 2005.
4. *Сальникова А.А.* Российское детство в XX веке: История, теория и практика исследования. — Казань, 2007.
5. *Здравомыслова Е., Темкина А.* Институализация гендерных исследований // Гендерный калейдоскоп. — М., 2001.
6. *Дашкова Т.* Гендерная проблематика: подходы к описанию // Исторические исследования в России-II: Семь лет спустя. — М., 2003.
7. *Зверева Г.И.* Роль познавательных «поворотов» второй половины XX века в современных российских исследованиях культуры // Выбор метода: Изучение культуры в России 1990-х годов. — М., 2001.
8. *Gradska Yu.* Soviet People with Female Bodies: Performing Beauty and Maternity in Soviet Russia in the mid 1930–1960-s. — Stockholm, 2007.
9. *Rothchild N.* Introduction // *Kamp K.* (ed.) Children in the Prehistoric Pue-bloan Southwest. — Salt Lake City, 2002.
10. *Baxter J.E.* The Archaeology of Childhood: Children, Gender, and Material Culture. — N.Y.; Toronto; Oxford, 2005.
11. *The Gendering of Children* // RCHA Newsletter. 2004–2005.
12. *Скотт Дж.* Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные исследования. Ч.2: Хрестоматия. — Харьков, СПб., 2001.
13. *Montgomery H.* Gendered Childhoods: a Cross Disciplinary Overview // Gender and Education. — December 2005. — V. 17. — № 5.
14. *Kehily M.J.* Gendered Childhoods // Gender and Education. — December 2005. — V. 17. — № 5.

15. *Келли К.* «Хочу быть трактористкой!»: (Гендер и детство в довоенной советской России) // Социальная история: Ежегодник, 2003: Женская и гендерная история. — М., 2003.
16. *Блюм А.В.* Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929—1953. — СПб., 2000.
17. *Дружников Ю.* Доносчик 001, или вознесение Павлика. — М., 1995.
18. *Kelly C.* Comrade Pavlik: The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero. — L., 2004.
19. *Келли К.* «Маленькие граждане большой страны»: Интернационализм, дети и советская пропаганда // Новое литературное обозрение. — 2003. — № 60.
20. *Лукашевич В.* Молодая республика: (Быт и психология учащихся и школьная летопись 1921—1922 гг.). — М., 1923.
21. *Рубинштейн М.М.* Юность по дневникам и автобиографическим записям. — М., 1928.
22. *Гринберг А.* Рассказы беспризорных о себе. — М., 1925.
23. *Дети русской эмиграции:* Книга, которую мечтали и не смогли издать изгнанники. — М., 1997.
24. *Рыбников Н.* Идеалы современного ребенка // Современный ребенок. — М., 1923.
25. *Отдел рукописей* и редких книг Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского Казанского государственного университета (ОРРК НБЛ КГУ).
26. *Пушкарева Н.Л.* «Пишите себя!» (Гендерные особенности письма и чтения) // Сотворение истории.
27. *Пушкарева Н.Л.* Гендерная проблематика в исторических науках // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие. — Харьков; СПб., 2001.
28. *Жеребкина И.* Феминистская литературная критика // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие. — Харьков; СПб., 2001.
29. *Sixous H.* The Laugh of Medusa // Signs. — Summer, 1976. — № 1.
30. ДРЭ.

Розділ III

Історія історії

О.М. БОГДАШИНА

**ПРО МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. –
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.**

Визначальною рисою європейської історіографії у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. стала зміна проблематики наукових досліджень, предмету самої історичної науки та її міжпредметних зв'язків.

Міжпредметні зв'язки та методологічні основи історичної науки Російській імперії у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. досліджували В.О. Ключевський, М.О. Коялович, О.С. Лаппо-Данилевський, П.М. Мілюков та інші автори. Радянська та сучасна російська історіографія (Р.О. Кіреєва, Б.Г. Могильницький, О.М. Нечухрін, А.М. Сахаров, Л.М. Хмільов та ін.) найбільшу увагу приділяли предмету та методології соціально-економічного напрямку. Постійно підкреслювався великий вплив ідей позитивізму на суспільні науки. Позитивізм, як слушно зазначав Б.Г. Могильницький, перетворився на офіційну методологію значної частини дореволюційної історіографії, «визначаючи у значній мірі як методи та прийоми, так і саму спрямованість історичного дослідження» [1, с. 106].

У сучасний період з'явилося ряд розвідок українських авторів, присвячених як методології історичної науки в Україні того періоду (І.І. Колесник, К.М. Колесников, І.П. Куций, Ю.А. Левенець, Т.М. Попова, В.А. Потульницький, О.Г. Самійленко, С.П. Стельмах та ін.), так і теоретико-методологічним поглядам окремих визначних українських істориків (В.В. Березинець, В.П. Будз, В.В. Ващенко, Л.О. Зашкільняк, В.В. Масненко, Ю.А. Пінчук, О.І. Кіян, Г.А. Поперечна, В.В. Тельвак та ін.).

Втім, на сьогодні у літературі спостерігається лише загальна констатація факту міжпредметних зв'язків, що склалися між окремими науками у досліджуваній період.

Перед початком викладу історіографічного матеріалу вважаємо необхідним зробити декілька застережень:

1. Як відомо позитивістська методологія представляє собою явище досить складне, внутрішньо суперечливе. В ряді випадків це заважає визначенню ідейно-методологічних позицій того чи іншого історика, як позитивіста. Спостерігається певний еkleктизм у творчості (поєднання ідей романтизму, позитивізму, неокантіанства, марксизму).

2. У нашому дослідженні саме поняття «українські історики-позитивісти» використовується у широкому значенні цього слова: це не лише

історики, які працювали в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХст.) та у спеціальних теоретичних працях давали позитивістське трактування історичного процесу. Досить часто цінні теоретичні ідеї містилися не у спеціалізованих працях, а в різноманітних фактографічних розвідках, рецензіях, нотатках до лекцій, тощо. Крім того, вчені споріднених наукових дисциплін та публіцисти, не маючи часто фахової історичної освіти, трактували суспільний процес, виходячи з позитивістських методологічних засад.

3. Вибір конкретних персоналій обумовлюється не їх заявами про свої теоретико-методологічні погляди, а визначається на підставі аналізу наукових та публіцистичних праць, інших історіографічних джерел.

Спочатку головним об'єктом історичних розвідок українських істориків-позитивістів стала соціальна та (частково) економічна історія; діяльність не окремих видатних особистостей, а «народу». Крім того велика увага стала надаватися соціальним рухам. Звичайно, деякі науковці продовжували друкувати й суто описові роботи з політичної історії, в тому числі з історії царювань. Але панівним в історичній науці в Україні у другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст. став соціально-економічний напрям.

Соціально-економічна проблематика історичної науки вимагала принципово нових методологічних підходів. Політична історія, як головний об'єкт праць попередньої історіографії, була історією подій, що, як правило, не повторювалися. Між тим дослідження соціально-економічних явищ вимагали ґрунтовних теоретичних узагальнень, що приводило до пошуку закономірностей чи сталих тенденцій розвитку суспільства. Звідси досить висока оцінка частиною науковців вчення К.Маркса, яке сприймалася як більш-менш вдала спроба сформулювати закони суспільного розвитку. Переорієнтація історичної науки на соціально-економічну тематику обумовила, зокрема, широке використання статистичного методу.

Крім того, історія почала трактуватися не як сукупність окремих історичних фактів, а прояв більш загальних зв'язків — закономірностей. Професор Харківського університету М.Я. Арістов підкреслював, що саме під впливом праць О. Конта та англійських вчених-позитивістів більш глибокими стали дослідження «внутрішнього складу минулого життя» [2, с. 666]. Відомий критик позитивізму, викладач Київської духовної академії П.І. Ліницький визнавав, що на даний час «позитивізм визначає обсяг наших знань, завдання чи їх напрям, встановлює метод їх обробки та взаємний між ними зв'язок» [3, с. 108].

Самі історичні факти (явища та події) розглядалися не лише у статичі як предмет, а й у динаміці — як поступальний та обумовлений сукупністю факторів багатовіковий процес розвитку суспільства. Причому останній був вперше поданий еволюційно. Наслідком широкого використання принципу еволюції стало нове розуміння принципу історизму: «на зміну подіям прийшли процеси, на зміну фактам — ідея закономірності, на зміну роз'єднаності — історичні зв'язки» [4, с. 12–13].

Зміна проблематики наукових досліджень та предмету самої історичної науки обумовила новий характер міжпредметних зв'язків між окремими науками та галузями знань.

Праці О. Конта, Г. Спенсера, Дж. С. Мілля, так і відомих природознавців: Ч. Дарвіна, І.М. Сеченова, Л. Бюхнера, Я. Молешотта, К. Фохта оцінювалися прогресивною громадськістю як останнє слово в науці. Напівматеріалістичний характер позитивістської теорії обумовлював певний образ науковості. Полтавський історик О.І. Стронін безапеляційно заявляв: «історія чи взагалі науки моральні повинні чекати свого відродження від природознавства...історик повинен бути разом з тим і природознавцем» [5, с. 20]. Обґрунтування нового на той час принципу методологічної єдності природничих та суспільних наук, на його думку, мало велике значення [5, с. 19–20]. Показовою також у цьому контексті є критика професором Київського університету І.В. Лучицьким неокантіанської класифікації наук Г. Ам-Ріна за протиставлення ним природничих та гуманітарних наук [6, с. 69–70].

Взагалі типовою рисою інтелектуальної поведінки науковців того періоду було захоплення природознавчими науками. Не випадково учень І.В. Лучицького В.К. Пискорський підкреслював, що успіхи природознавства та сам позитивізм «відповідав потребам часу створити з історії точну науку, науку про суспільство, соціологію» [7, с. 3–4].

Навіть математичні знання вважалися придатними для історичних розвідок. Характерна їх висока оцінка професором Ніжинського історико-філологічного інституту М.М. Бережковом: «Історія не математика, але у неї багато позитивних і навіть точних свідoctв» [8, Ф.23. Спр.296. Арк.12 зв.].

Фундатори першого позитивізму, як відомо, вважали, що суспільні науки, методи та явища, які ними досліджуються, принципово подібні природничим. Тоді ж вперше почали активно застосовувати в історичних дослідженнях дані та методи точних наук. Проте ці спроби були не дуже вдалим. Найбільш яскравий приклад такої спроби перенести методи природознавства в історичні дослідження – «История и метод» О.І. Строніна.

Викладач Ніжинського історико-філологічного інституту та Київського університету В.В. Новодворський більш глибоко підійшов до цього питання. Він, зокрема, відзначив, що не лише успіхи природознавства, а також нові надбання політичної економії, права, психології та інших наук позитивно вплинули на розвиток історичної науки [9, с. 2].

Водночас сама історична наука великий поштовх розвитку соціології, політичної економії, демографії, статистики, і, у свою чергу, зазнала впливу інших суспільствознавчих наук. Останні М.М. Бубнов поділяв на науки, допоміжні по відношенню до історії у широкому розумінні цього слова (філологія, державне право, соціологія, мистецтвознавство, антропологія, етнографія, етнологія) та науки допоміжні у вузькому розумінні цього слова (дипломатика, геральдика, генеалогія, нумізMATика,

палеографія) [10, с. 43–44]. І.Я. Франко виділяв серед нових суспільних наук ХІХ ст., які мають велике значення для дослідження історії, історичну антропологію та соціологію [11, с. 79], М.П. Драгоманов – антропологію, етнографію, соціологію [8, Ф.1. Од. сх.44073. Арк.1].

В історіографії відбувається зміна трактовки науки взагалі. Так, на думку професора Київського університету П.М. Ардашева, «Наука – не є відома система знань, а відоме коло проблем. Її предмет – відоме коло явищ; її ідеальний зміст (тобто зміст, який є ідеалом даної науки). – ...система знань про фактичне коло явищ» [8, Ф.1. Спр. 8973. Арк.60 зв.].

Викладач Новоросійського університету Є.М. Щепкін визначав характерною рисою розвитку суспільствознавства зазначеного періоду те, що «юридичні, економічні та соціологічні поняття ставали історичними категоріями» [12, с. 20].

В ході наукової дискусії про те, яку науку вважати головною – історію чи соціологію, В.К. Піскорський зазначав: «у цій боротьбі перемогу повинна отримати історія; очевидно, вже тепер соціологи готові визнати за історією самостійне значення, як науки про індивідуальне та конкретне, яка повинна служити основою для абстрактних соціологічних побудов» [7, с. 5]. Історична наука, на переконання переважної більшості істориків того періоду, повинна надавати фактичний матеріал для соціологічних узагальнень. В цьому сенсі можна трактувати реакцію П.М. Ардашева на назву досить популярного російського перекладу книги П.Ж. Лакомба «Социологические основы истории» (СПб., 1895): «Можна говорити про історичні основи соціології, але вже ніяк про «соціологічні основи історії»» [13, с. 3 прим.].

Фактично головні теоретичні питання історичної науки оголошувалися предметом соціології. Так, М.М. Ковалевський визначав: «Предметом соціології є людство та його складові частини...суспільні інститути, розуміючи цей термін у самому широкому сенсі: мови, вірувань, моралі та права, громадянських, суспільних та політичних установ, художньої творчості, літератури і науки» [14, с. 55].

Більшість істориків (серед них І.В. Лучицький [15, с. 2–5], Є.В. Тарле [16, с. 35], М.П. Драгоманов [17, с. 173–174]) розглядали соціологію як головну суспільну дисципліну, а історію, право, етнографію, психологію як допоміжні науки до неї, що надають фактичний матеріал для широких узагальнень та пошуку закономірностей історичного розвитку.

Так, М.П. Драгоманов оцінював соціологію, як науку, у «якій більшість з існуючих до сього часу самостійних наук може бути відділами» [17, с. 173–174]. М.М. Бубнов зазначав з цього приводу: «Історик повинен знати соціологію, а соціолог повинен звернутися до історика для одержання матеріалу» [10, с. 44]. Подібні думки висловлювали М.П. Драгоманов [17], І.В. Лучицький [15, с. 2–5], В.В. Лесевич [18, с. 172], та В.В. Новодворський [9, с. 20].

Головним завданням соціолога (а не історика) оголошувався пошук законів. Відомий київський популяризатор позитивізму В.В. Лесевич визначав як головне завдання соціології «вивчення суспільних явищ у сенсі неминучої підлеглості їх природним законам» [18, с. 172].

Соціології відводилася роль метанауки, яка є теоретичним синтезом усіх інших суспільствознавчих наук. Через позитивістську соціологію «історична наука засвоїла цілий ряд основних онтологічних та гносеологічних понять, була зорієнтована на пізнання законів суспільного розвитку» [19, с. 20].

Фундатор позитивізму О. Конт, як відомо, оголосив основні проблеми філософії (особливо основне питання філософії) псевдонауковими проблемами. М.П. Драгоманов [17, с. 7], П.М. Ардашев [8, Ф.1. Спр.8972. Арк.27], як і переважна більшість істориків-позитивістів, критично ставилися до самих термінів «філософія», «метафізика» та «філософія історії». Фактично соціологія оголошувалася новою філософією історії. Як влучно підмітив професор Київського університету О.О. Козлов: «У філософів-метафізиків наука, що відповідає позитивістській соціології, називається філософією історії» [21, 1893. — Кн.1 6. — С. 55 прим.]. Сама метафізика розглядалася позитивістами, у відповідності з вченням О. Конта про три стадії розумового розвитку, як проміжна ланка між теологією та позитивним знанням. Характерний приклад тлумачення метафізики, як застарілого способу мислення, міститься у статті В.В. Лесевича «Філософія історії на научній почве» [18]. При цьому, за їдким зауваженням О.О. Козлова: «Позитивізм заперечує метафізику як науку, ніколи проте не визначаючи ясно, що він під нею розуміє» [21, 1893. — Кн. 16. — С. 55]. Боротьба з «метафізикою» — визначальна риса світогляду українських істориків-позитивістів. В.В. Лесевич зізнавався: «Позитивізм без протиставлення метафізики немислимий» [22, с. 151]. Під «метафізикою» позитивісти розуміли і спосіб мислення, і французький матеріалізм XVIII ст., і німецький ідеалізм (насамперед Г. Гегеля). Марксизм багатьма тоді також сприймався як метафізичне вчення в тому числі через т.зв. «гегелівську схоластику». З цього приводу київський філософ Г.І. Челпанов досить слушно вважав головним недоліком позитивізму саме відсутність гносеології (теорії пізнання), підкреслюючи при цьому, що «якщо б...наука...відкидала все, що Конт визнавав метафізичним, то вона, безумовно, зупинилася би у своєму розвитку» [23, с. 250].

Українські науковці крім «соціології» використовували різні терміни для визначення науки, що має досліджувати теоретичні питання історичного процесу. Визначний український історик М.С. Грушевський, наприклад, замість терміну «філософія історії» найчастіше використовував термін «історіософія» [24, с.2 0], потім «генетична соціологія» [25]. Декан історичного факультету Київського університету М.М. Бубнов окремо виділяв «методологію історії» як «вчення про особливості, про саму суть методу» [10, с. 4].

В оцінці ідей фундаторів позитивізму особливо яскраво виявилася суть позитивістської історіографії. Одразу зазначимо, що на відміну від праць українських істориків-позитивістів кінця 1860-х – 1870-х років, для кінця XIX – початку XX ст. характерним є більш критичний підхід до ідей позитивізму. Відома висока оцінка І.В. Лучицьким вчення Огюста Конта, як останнього слова в науці та критерія для визначення цінності будь-якої історичної теорії: «лише слідуючи цьому методу, ми дійдемо до правильних та чисто наукових думок» [26, с. 37]. В.В. Лесевич у рукописній замітці «Позитивізм як теорія» визнавав деяку обмеженість цієї теорії: «Ми не вважаємо позитивізм ані повною, ані кінцевою істиною, але вважаємо його одним із здорових елементів сучасного європейського мислення» [8, Ф.214. Спр.8. Арк.1].

Демонструючи повагу до вчення фундаторів позитивізму, українські історики-позитивісти часто вибірково ставилися до окремих його положень: критикували одні ідеї та захищали інші. З 1880-х рр. історіографічна практика змушувала істориків все більш по-новому трактувати канони класичного позитивізму.

Філософія історії переважної більшості українських істориків того періоду свідомо дуалістична. П.М. Ардашев підкреслював: «Дуалізм людської природи є наріжний камінь новітньої філософії» [8, Ф.167. Спр.2. Арк.2]. Без дуалізму, тобто поєднання елементів матеріалізму та ідеалізму [27], було б неможливе успішне пізнання соціально-економічної історії, а позитивістська історіографія не досягла таких значних успіхів, в тому числі і у методології.

На кінець XIX ст. історія історичної науки була виділена в окрему наукову та навчальну дисципліну. Хоча істориків за старою традицією продовжували інколи називати історіографами, але відбувся інституціональний процес виокремлення історіографії та джерелознавства, як допоміжних історичних дисциплін. У праці Р.О. Кіреєвої наведено відповідний матеріал про виділення історіографії, йдеться, зокрема й про наукову творчість таких відомих українських історіографів, як В.С. Іконніков, Д.І. Багалій, І.В. Лашнюков, тощо [28].

Водночас широкому загалу науковців маловідомим залишається поділ І.Я. Франком історичної науки на дві галузі: 1) історіографію, яка досліджує суспільні та політичні відносини, події, виконані як народними масами, так і визначними особистостями; 2) «традиціоналізм» або фольклор, що досліджує «слідження народних традицій в найрізніших формах, себто слідження зображення минулого життя, відносин, вірувань і фантазійних витворів різних поколінь, збережених при помочі чи того усного переказу, чи писаного або друкваного слова» [29, с. 13]. На його думку історична наука має підпорядковуватися більш широкому комплексу знань – народознавству [30, с. 254].

Список літератури:

1. *Могильницкий Б.Г.* Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX — начала 900-годов. — Томск: изд-во ун-та, 1969. — 409 с.
2. *Аристов Н.Я.* Разработка русской истории в последние двадцать пять лет (1855—1880) // Ист. вестн. — 1880. — Кн. 4. — С. 665—680.
3. *Линицкий П.И.* Обзор философских учений. — К.: тип. Еремеева, 1874. — 245 с.
4. *Дорошенко Н.М.* Становление и развитие методологии истории. — Калинин: КГУ, 1987. — 86 с.
5. *Стронин А.* История и метод. — СПб.: тип. Котомина, 1869. — 446 с.
6. *Лучицкий И.В.* Обзор литературы по философии истории за 1872 год // Знание. — 1873. — №9. — С. 59—92;
7. *Пискорский В.К.* О предмете, методе и задачах науки всеобщей истории: Вступительная лекция В.К. Пискорского — Казань: тип. ун-та, 1906. — 13 с.
8. ІР НБУВ.
9. *Новодворский В.* Несколько слов о направлениях в современной историографии: Вступительная лекция, читанная в университете св. Владимира // Университетские известия. — 1909. — № 5. — С. 1—19.
10. *Бубнов Н.М.* Пособие по методологии истории. — К.: Труд, 1911. — 249 с.
11. *Франко І.Я.* Мислі об еволюції в історії людськості // Франко І.Я. Збір. творів: У 50-ти томах. — К.: Наук. думка, 1986. - Т. 45: Філософські праці. — С.76—139.
12. *Шепкин Е.* Вопросы методологии истории. 1. Психологическое толкование исторических законов. 2. Значение идей в истории // Летопись ист.-филол. о-ва при Новороссийском ун-те. — 1905. — Вып. XII. — С. 275—318.
13. *Ардашев П.Н.* История как наука // Русское богатство. — 1896. — № 4. — С. 1—25.
14. *Ковалевский М.М.* Очерк истории развития социологии в конце XIX и в начале XX века. — СПб., 1910. — 145 с.
15. *Лучицкий И.В.* Отношение истории к науке об обществе (Вступительная лекция в курс новой истории, читанная доцентом университета св. Владимира, 18-го октября 1874 г.) // Знание. — 1875. — № 1. — С. 1—42.
16. *Тарле Е.В.* Из истории обществоведения в России (Социологические воззрения Н.К.Михайловского) // Литературное дело: Сб. ст. — СПб.: тип. Е.А.Колпинского, 1902. — С. 34—53.
17. *Драгоманов М.П.* Положение и задачи науки древней истории // Журнал мин-ва народного просвещения. — 1874. — Ч. 10. — С. 152—181.
18. *Лесевич В.В.* Философия истории на научной почве (Очерк из истории культуры XIX века) // Отеч. зап. — 1869. — № 1. — С. 163—196.

19. *Нечухрин А.Н.* Теоретико-методологические основы российской позитивистской историографии (80-е гг. XIX в. – 1917 г.). – Гродно: Гр.ГУ, 2003. – 351 с.
20. *Драгоманов М.П.* Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М.П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»). – К.: Либідь, 1991. – С. 461–558.
21. *Козлов А.* Позитивизм Конта // Вопросы философии и психологии. – 1892. – Кн.15. – С. 53–70; 1893. – Кн. 16. – С. 41–70.
22. *Лесевич В.В.* Опыт критического исследования основ начал позитивной философии. – СПб.: тип. Стасюлевича, 1877. – 295 с.
23. *Челпанов Г.И.* Введение в философию. – 2-е изд. – К.: кн. маг. В.А. Просяченко, 1907. – 528 с.
24. *Грушевський М.С.* Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – К.: Наук. думка, 1991. – Т.І. – С. 20.
25. *Грушевський М.* Початки громадянства (генетична соціологія). – Відень: Укр. соціол. ін-т, 1921. – 328 с.
26. *Луцицкий И.В.* Адам Фергюсон и его историческая теория // Университетские известия. – 1868. – № 11. – С. 1–47.
27. Пор. з думкою М.І.Кареев: «позитивна філософія» – єдина наукова філософська система, яка в своєму синтезі пододала крайнощі матеріалізму та ідеалізму. Кареев Н.И. Мифическое мировоззрение и положительная философия // Знание. – 1876. – № 11. – С. 7–8.
28. *Киреева Р.А.* Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX века до 1917 года. – М.: Наука, 1983. – 216 с.
29. *Франко І.Я.* Хмельниччина (думи, пісні та вірші) // Франко І.Я. Збір. творів: У 50-ти томах. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 43. – С. 13.
30. *Франко І.* Найновіші напрямки в народознавстві // Франко І. Збір. творів: У 50-ти томах. – К.: Наук. думка, 1986. – Т. 45: Філософські праці. – С. 254–267.

Т.А. БУЛЫГИНА

**ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
50-х – НАЧАЛА 80-х ГОДОВ**

Советские общественные науки в 20-е годы заменили бурно развивавшуюся в начале XX в. российскую гуманитаристику. В этот период под общественными науками понимался некоторый набор элементарных социально-политических знаний и предписаний в контексте упрощенных идей марксизма и большевистской политики. После ситуации перехода и экспериментов с социально-гуманитарными науками в 30-е годы в СССР вплоть до начала 50-х годов функционировала стабильная система общественных наук. В образовательном и политпросветовском вариантах она представляла собой единый комплекс «основ марксизма-ленинизма» и действовала параллельно с восстановленными гуманитарными науками – историей, филологией, правом. В крайне неблагоприятных условиях оказалась в те годы история советского общества, которая, как свидетельствуют факты, до XX съезда КПСС была фактически изъята из поля научных исследований. По результатам проверки Грузинского отделения Академии наук СССР Отделом ЦК КПСС летом 1954 года выявлено, что с 1941 года не было подготовлено ни одной научной работы по современной тематике. На кафедре истории КПСС исторического факультета МГУ из 25 кандидатских диссертаций, защищенных в 1958–1960 гг., только 2 было посвящено советскому периоду (1). Представления о советской истории ограничивались «Кратким курсом» и текущими партийными указаниями.

В 30-е – 40-е годы XX в. роль общественных наук официально ограничивалась комментированием, что в конечном итоге привело к оскудению научного облика советского обществоведения. Складывалась парадоксальная ситуация, когда всевластие советского обществоведения как идеологического оружия, основанное на вере и страхе, не требовало их творческого развития, а это, в свою очередь, подрывало прочность советской идеологии, т.к. социум не мог успешно развиваться только на основе иррациональной веры и отрицательных эмоций. Требовались рациональные усилия, в частности, развитие гуманитарной науки, особенно в послевоенный период, когда советское общество по сравнению с 1930-ми гг. существенно изменилось. Такое положение дел в советском обществоведении вызвало тревогу у партийных чиновников начала

50-х годов. Из уст Сталина в это время раздался призыв к творчеству в обществоведческих науках: «Общепризнанно, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики» (2). Специальное постановление ЦК партии, подготовленное в 1951 году, призвало учёных покончить с догматизмом и начётничеством в общественной науке (3). На фоне идеологического диктата и репрессивной политики в отношении обществоведческой элиты, в том числе историков, эти слова звучат цинично.

Гуманитаристика стала предметом исторического анализа только в конце шестидесятых, когда была нарушена сакральность советской идеологии, и стало возможным говорить не только о достижениях, но и о недостатках советского прошлого, в том числе обществоведения. Новый политический курс партийного руководства после 1953 г., включавший и критику сталинской эпохи, вызвал к жизни некоторые различия во взглядах ученых-гуманитариев, хотя и в пределах марксизма-ленинизма. Требование XX съезда о творческом развитии марксистско-ленинской теории многие гуманитарии восприняли с доверием, т.к. партийное руководство само демонстрировало новые подходы в ряде вопросов теории социализма, в частности, в вопросах о национальной специфике социалистической системы, а также о возможности мирного перехода к социализму. Кроме того, была сделана робкая попытка переосмыслить личность Сталина и его политику.

Безусловное признание преимуществ и прогрессивности социализма, недопустимость идеологического плюрализма не помешали, например, историкам разделиться на сталинистов и антисталинистов. После XX съезда тематика гуманитарных исследований расширилась, появились ограниченные возможности научного изучения отдельных вопросов истории советского общества, в том числе идеологии, образования, науки и культуры. В то же время следует учитывать, что в отличие от периферийных по отношению к советской идеологической системе тем, например, по истории естественных наук или по проблемам дореволюционной России, вопросы истории общественных наук в СССР находились в эпицентре идеологии. Поэтому обществоведение могло оцениваться только с позиций партийных установок, независимо от результатов объективного исторического анализа.

Проблематика истории общественных наук в советское время впервые наиболее серьезно начала разрабатываться авторами многотомного историографического издания под редакцией М.В. Нечкиной «Очерки истории исторической науки в СССР» (4). В ней впервые с большой полнотой был представлен систематизированный фактический материал по советской историографии со строгим соблюдением хронологической последовательности. Воедино были собраны примерные факты, характеризующие государственную политику советских властей с 1917 г., исследовательские практики историков, состояние исторического образования

в СССР. Советской исторической науке посвящено более половины издания: 4-ый — 7-ой тома.

Что касается историографической концепции «Очерков», то с одной стороны, очевидна попытка объективного анализа ситуации в советской науке, с другой — авторы жестко следуют бинарному принципу оценки согласно господствующей идеологии: марксистские, немарксистские работы. В четвертом томе издания рефреном звучит идея борьбы за марксизм в исторической науке. Авторы подробно освещают характер дискуссий и споров, серьезно анализируют содержание учебников (специальная глава!), исторической периодики. В то же время вообще не затронут вопрос о репрессиях ученых в 20-е годы, отрицается продуктивность любых иных методов, кроме марксистского. Например, 12-томная история Рожкова подверглась критике за попытку психологического подхода к проблемам истории России.

В то же время, в издании даны подробные очерки о М.Н. Покровском, на имя которого до 60-х гг. был наложен официальный запрет. Кроме того, авторы, отдавая дань идеологической конъюнктуре («Советская историческая наука в 30-е годы достигла блестящих успехов»), представили реальную картину смены живой научной действительности 20-х — начала 30-х годов мертвящим единообразием 30-х годов. По тексту этого тома издания можно увидеть, как угасли общественные организации историков, как была сломлена глухая оппозиция Академии наук, как отпала необходимость в альтернативных коммунистических научных структурах, как один за другим закрывались исторические периодические издания.

В отличие от 4-го тома, проникнутого влиянием XX съезда, где говорилось в духе «оттепели», что в начале 30-х годов в научной жизни страны проявились отрицательные черты, связанные с влиянием складывающегося культа личности Сталина, история советской исторической науки 30-х — 60-х годов (5-ый том) изложена иначе. Согласно политической конъюнктуре 70-х — 80-х годов, вопрос о негативных последствиях культа личности Сталина для исторической науки был обойден. Более того, отмечалось положительное влияние работ Сталина о языкознании и его книги «Экономические проблемы социализма в СССР» на развитие исторической науки 50-х годов.

В ряде случаев дело дошло до искажения фактов, как это случилось с освещением дискуссии вокруг «Истории Казахской ССР» или критики труда по историографии, созданного Н.Л. Рубинштейном. Особенно явно ощущался возврат к временам до 1956 г. в освещении идеологических решений ЦК ВКП (б) конца 40-х годов. Авторы положительно оценили борьбу партии не только с аполитичностью и безыдейностью, но и с буржуазным космополитизмом. Замалчивание множества фактов из истории исторической науки 50-х гг. граничат с фальсификацией. Так, ситуация с журналом «Вопросы истории» была сведена к фразе о необходимости укрепления идейности и положительной оценке соответ-

ствующего партийного постановления, а о партийном решении по Саратовскому университету вообще ничего не было сказано. Партийное управление творчеством издателей книги проявилось и в том, что был высоко оценен вклад в советскую историографию сталинского «Краткого курса», вполне в духе позиции учебника по истории партии, который утверждался в ЦК КПСС.

Вместе с тем, даже в этих томах дано системное описание высшего исторического образования, история развития академической науки, связей советских ученых с зарубежной наукой, обширная историография в разных отраслях истории, включая имена впоследствии опальных историков. Например, называя авторов работ по истории российской империализма, были названы не только В.Я. Лаврычев и В.И. Бовыкин, но и А.Я. Аврех, И.Ф. Гиндин, А.П. Сидоров, К.Н. Тарновский, П.В. Волобуев. Среди успешно разрабатывавших в 60-е годы вопросы истории советского общества были представлены В.П. Данилов и С.И. Якубовская, раскритикованные позже за аполитизм. Столь полного изложения истории исторической науки советского периода до этого не было.

Важной тенденцией оживления отечественного обществоведения и гуманитаристики стал интерес к методологии обществоведения в исторической, философской и социологической литературе середины 60-х годов. Это обстоятельство отмечал А.Я. Гуревич, который писал о методологическом буме 60-х гг., когда была расчищена почва для свободного анализа исторического процесса (5). Самый конец 60-х годов ознаменовался целой серией работ советских авторов и переводных изданий, в которых рассматривались содержание и функции общественных наук, их связь и отличия от естественных наук. Неординарность позиций ряда ученых, в том числе историков, была столь очевидна, что они были подвергнуты идеологической критике. Данная литература — не только источник изучения состояния обществоведения в брежневскую эпоху. Ряд ее положений позволяют расширить теоретико-методологические представления гуманитариев.

В книге английского физика и общественного деятеля Джона Демонда Бернала, переведенной и изданной на русском языке в 1956 г., 13-ая глава посвящена истории общественных наук, в которой отмечалась специфичность обществоведения, в частности, большее (в сравнении с другими науками) влияние донаучных идей религиозного и традиционалистского характера (6). Автор замечал, что неразвитость общественных наук объясняется не столько их внутренними особенностями, сколько сильным давлением правящих кругов, не заинтересованных в беспристрастном анализе основ управляемого ими общества. Одновременно он был сторонником социального эксперимента, подобно опыту социалистических стран. Относясь с большим сочувствием к марксизму и к советскому обществу, ученый, тем не менее, отмечал слабое развитие марксистской теории в Советском Союзе, видя главный успех советского обществоведения

в смелости социального эксперимента по строительству социалистического общества, экономическому планированию, эффективности советского образования. Он отмечал догматизм и сектантство некоторых марксистов-профессионалов из СССР, растворенность общественных наук в текущей политике, упрощенность философских теорий. В то же время Бернал указывал на эвристическое значение марксистского метода для развития некоторых отраслей исторической науки, антропологии и археологии в нашей стране.

Новые оценки советского обществоведения прозвучали в выступлениях многих советских ученых на заседании секции общественных наук Академии наук СССР 3-6 января 1964 г. Это собрание было посвящено методологическим вопросам исторической науки. В частности, было признано, что сталинский культ личности затруднял творческую деятельность обществоведов, а в четвертой главе «Краткого курса» давалось одностороннее экономическое понимание исторической науки. Симптоматичным для настроений ученых-гуманитариев стало заявление Б.А. Рыбакова о необходимости преодолеть страх и переступить запретную черту в исторических исследованиях. М.Я. Гефтер отмечал, что в советской исторической науке понятие методологии истории только лишь получает права гражданства. Он первым поставил вопрос об альтернативности истории, возражая против сталинского «выпрямления» истории и канонизации данного развития событий. В сообщении М.В. Нечкина обратила внимание на такие явления, как подмена теории фактографией, прямое администрирование науки: «Учебник в те годы не был просто учебным пособием, — в этой форме развивалась и утверждалась марксистско-ленинская концепция исторического процесса» (7).

В целом историографическая позиция участников данного заседания оставалась в рамках партийности и идеологической обусловленности, но наметились новые оценки, свежие подходы в границах, очерченных XX и XXII съездами КПСС. Подобным образом можно охарактеризовать и упомянутый научный сборник «Историческая наука и некоторые проблемы современности», чья судьба оказалась трудной в силу сменившейся политической конъюнктуры. Несколько раньше, в послесловии к переводу книги болгарского ученого Николы Стефанова, касаясь истории советских общественных наук, А. Гулыга, пока еще безнаказанно (1967 год!), высказывает бесспорное — с современных позиций — суждение: «В течение многих лет мы догматически отождествляли методологию обществоведения с историческим материализмом» (8).

Характерной для историографии советского обществоведения, которая рвалась из удушливых объятий идеологии, стала работа А.М. Румянцева. С одной стороны, это любопытнейший документ эпохи, а с другой — факт историографии, ибо автор, используя эзопов язык, в ходе анализа ситуации в Китае по сути характеризует советское обществоведение. Он говорит о вредном воздействии «субъективистской псевдоидеологии на

общественные науки, когда все сводится к набору готовых клише, а научные формулы сакрализуются, и носители идеологии становятся пленниками ритуала. Реальность уходит в подтекст, умолчание и условности» (9).

Конец 60-х гг. характеризовался началом повышенного партийного внимания к общественнонаучному. Сигналом и символом нового поворота политики в области социально-гуманитарных наук стало постановление ЦК КПСС 1967 года об общественных науках. С этого момента до конца 80-х история обществоведения была обязательным атрибутом не только книг соответствующей проблематики, но и обобщающих фундаментальных изданий. Примером могут служить многотомные труды по истории СССР и по истории партии. Описание истории обществоведения в них дано в соответствии с официальными партийными установками 70-х — начала 80-х годов, когда была свернута критика культа личности Сталина. Поэтому все оценки идеологической политики ВКП(б) конца 40-х гг. носят сугубо апологетический характер. На основе обширного фактического материала авторы учебника по истории партии показали возрастание партийной заботы об общественных науках, благотворное воздействие на их развитие инспирированных сверху дискуссий. При описании картины обществоведения в конце 50-х — начале 60-х гг. в одной из этих книг внимание уделялось в основном вопросам «прикладного», в частности, вузовского обществоведения. Так, рассматривалась кадровая политика и исследовательская работа кафедр общественных наук, процесс структурных изменений системы преподавания социально-политических дисциплин (10). История общественных наук в СССР в официальных изданиях носила клишированный характер. Например, во 2-ой серии «Истории СССР с древнейших времен» под редакцией известного выпускника Института красной профессуры, члена ЦК КПСС, одного из редакторов «Краткого курса» и автора вузовского учебника по истории КПСС Б.Н. Пономарева оценка истории советских общественных наук абсолютно, вплоть до лексики, совпадает с многотомной «Историей КПСС» и поздними томами «Очерков истории исторической науки в СССР» (11).

В 60-е — 70-е годы советская гуманитаристика становилась предметом исследования в книгах, анализирующих идеологическую работу. Вопросы идеологической деятельности КПСС стали предметом научных исследований 70-х годов в контексте процесса «онаучивания» как обществоведением, так и партийной работы. Это было связано, на наш взгляд, с ослаблением главного мотора прежнего идеологического влияния — страха и веры. Для укрепления ослабленной идеологии нужны были внешние скрепы в виде научных институтов, теоретических рассуждений и научных степеней.

В работах по идеологии история обществоведческой науки отождествлялась с историей советской идеологии. Общественные науки рассматривались исключительно как научное обоснование идеологической

работы и сущности идеологии как социального и духовного института. В то же время, обществоведению отводилась роль средства идеологии, подчиненного партийным задачам. Такое противоречие ничем не объяснялось, а история советских общественных наук носила описательный характер с фигурами умолчания в зависимости от политической конъюнктуры. Примером могут служить «Очерки истории идеологической деятельности КПСС в 1938–1961 годах». В книге обществоведам отводилась вспомогательная роль в развитии теории, тем не менее, именно теоретическая работа советских историков, философов, политэкономов рассматривалась особенно подробно, с привлечением обширных фактических данных, с позиций партийной целесообразности (12). Усилия авторов были направлены на доказательство единства и преемственности советских общественных наук со сталинских времен до периода «победившего полностью и окончательно социализма».

К литературе по идеологическим вопросам КПСС примыкает обширная группа работ, посвященных идейному воспитанию молодежи, особенно студенчества. Общественные науки здесь рассматривались как главный элемент процесса воспитания, так как выработка научного мировоззрения согласно партийной концепции рассматривалась в качестве одного из направлений воспитательной работы молодежи. В 60-е – 80-е годы проблема коммунистического воспитания учащейся молодежи стала, по уже изложенной выше причине, востребованной в научно-исследовательской работе обществоведов. Был создан научно-исследовательский институт проблем высшей школы, который опубликовал ряд сборников об организации научных исследований в этой области (13).

Эта модная тенденция не обошла и историков. В середине 70-х гг. наблюдается лавинообразное нарастание диссертационных работ по данной тематике, которое достигает кульминации к началу 90-х годов. С 1965 по 1992 гг. проблема коммунистического воспитания в различных ракурсах была освещена более чем в 60 защищенных диссертациях. Более половины из них посвящено студенчеству в отдельных городах, регионах, почти всех республиках и даже по всей стране. Временные рамки также чрезвычайно разнообразны, но преобладает период «развитого социализма». Больше десятка диссертантов рассматривают вопросы коммунистического воспитания среди школьников, некоторые освещают ход этой работы в техникумах и профессионально-технических училищах. С легкой руки главного идеолога страны М.А. Суслова авторы объясняли возрастающее внимание партийной власти воспитанию молодежи тем, что последняя не прошла школы революций и войн (14).

В 70-е – 80-е гг. сложилась историография отдельных отраслей обществознания. Наиболее полно была представлена история исторической науки. Однако большая часть серьезных работ была посвящена периоду становления исторической науки в советской социальной системе. Хуже обстояло дело с историей исторической науки более позднего периода.

За рамками исследований остались вопросы организации науки, проблемы изучения истории на различных уровнях образования. Все сводилось только к историографии научных работ по различной проблематике, к примеру, к истории разработки проблем развитого социализма и т.п. В целом тон исследований не мог не быть апологетическим, политически ангажированным. При этом критический анализ ограничивался общими фразами о недостаточной полноте или глубине разработки истории того или иного вопроса.

Аналогичный характер носили работы по истории других общественных и гуманитарных наук, в частности, по истории философии. Наиболее полно история советской философии была освещена в многоотомной монографии по истории философии в СССР. В ней подробно рассказано о научной проблематике советских философов в разные годы, о дискуссиях 20-х и 40-х годов, о специфике развития философской науки и ее организации в союзных и автономных республиках, об истории научного атеизма, этики, эстетики в Советском Союзе. Однако в книге полностью отсутствует подлинная картина истории философии с ее противоречиями и драмами. Рисуетя идиллическая картина неукротимого научного прогресса под мудрым руководством партии. Авторы отождествляют философию с политикой и в качестве одной из главных задач науки провозглашают необходимость борьбы с идейными врагам, а в качестве главного научного принципа — партийность (15).

В 70-е гг. в советской литературе прослеживается появление новых аспектов исследований по истории общественных наук. Во-первых, в условиях политической разрядки особое внимание уделялось общественным наукам как средству идейной борьбы на международной арене. Во-вторых, предпринимались определённые шаги по изучению обществоведения в контексте научно-технической революции. В это время появляются работы социологического профиля, в которых видно стремление рассматривать общественные науки как значительную социальную силу. Например, Б. Лещинер из Томска пытался проанализировать причины региональной неравномерности качественного состава обществоведов, ввел понятие «социальное производство» и заявил о необходимости новых организационных форм общественных наук (16).

Очевидно, что советские общественные науки отождествлялись с идеологией, как в содержании, так и в функциях, а все главные научные принципы гуманитаристики ставились в зависимости от ее партийности. Любое исследование исходило из посылок о прогрессивном, поступательном развитии советских общественных наук. Критика советского обществоведения строилась не на анализе внутреннего научного механизма, а на политических оценках. Поэтому дело не пошло дальше более или менее добросовестных конъюнктурных диссертационных работ.

Литература

1. РГАНИ. Ф.5. Оп. 17. Д. 454; ГАРФ. Ф. 9606. Оп. 1. Д. 1209.
2. *Сталин И.* Относительно марксизма в языкознании. К некоторым вопросам языкознания. — М., 1950.
3. *КПСС* в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 9. — М., 1986.
4. *Очерки истории исторической науки в СССР.* В 7 томах. — М., 1955—1968.
5. *Гуревич А.Я.* Двойкая ответственность историка. // Новая и новейшая история. — 1997. — № 5.
6. *Наука в истории общества.* — М., 1956.
7. *История и социология* — М., 1964.
8. *Стефанов Н.* Теория и метод в общественных науках. — М., 1967.
9. *Румянцев А.М.* Проблемы современной науки об обществе. — М., 1969.
10. *История КПСС.* Т. 5. Кн. 2. — М., 1980.
11. *История СССР.* С древности до наших дней. 2-ая серия. Т. 11. — М., 1980.
12. *Очерки истории идеологической деятельности КПСС.* 1938—1961. — М., 1986.
13. *Актуальные проблемы организации и методики исследований коммунистического воспитания.* — М., 1983.
14. *Сулов М.А.* На путях строительства коммунизма. Речи и статьи, Т. 1, 2. — М., 1977.
15. *История философии* в 6 томах // под редакцией М.А. Дынника. — Т. 6 Кн. 1, 2. — М., 1965.
16. *Лецинер Б.* Общественные науки и производство // Вопросы теории научного коммунизма. — Томск, 1966.

Г.І. КОРОЛЬ

В.Г. САРБЕЙ І ПРОБЛЕМИ БІОГРАФІСТИКИ: ДО 80-РІЧЧЯ ВЧЕНОГО

На сучасному етапі розвитку історичної науки України зростає розуміння значення біоісторіографії. Тим більше, що на сьогодні існують загальні тенденції підвищення уваги до людини та особистості в різних сферах життя. Дослідження життєвого шляху, загального внеску і діяльності у вивчення історії її представників дозволяє глибше осягнути зміни та тенденції, які спостерігаються в історичній науці та суспільстві загалом. Людське суспільство й кожна окрема особистість взаємозалежні та взаємопов'язані, не можливо подати біографію людини, висвітлити її діяльність, творчість, поза тими подіями, що відбувалися за часів її життя, ситуацією (в економіці, політичній, культурній, духовній сфері), що складалася в місцях її проживання. Середовище в якому існує особистість, у тій чи іншій мірі, впливає на неї, в багатьох випадках виступає чинником майбутнього цієї людини й, фактично зумовлює його. З іншого боку, кожна окрема особистість, своїми міркуваннями, ідеями, діями чи то бездіяльністю, індивідуально, в різному ступені, впливає на навколишню дійсність.

Так, і в історії історичної науки, її творять окремі історики, їх внесок може бути різний – хтось продукує ідеї, теорії, концепції, стає засновником наукових шкіл, інші займаються розробкою цих ідей, деякі, залишаючись поза вивчення популярних у той чи інший час тем, присвячують свою роботу дослідженням більш вузьких проблем. Тим більш цікавим й актуальним видається вивчення осіб істориків, конкретних персоналій. Історіографія взагалі – це не лише праці й концепції, а й люди, й без вивчення їх творчості та життєвого шляху не можна зрозуміти прихованих пружин поступу науки, визначити провідні ідеї, тенденції розвитку гуманітарних знань у різні часи тощо [6, с. 3]. На важливості та необхідності біоісторіографічних досліджень наголошує академік В. Смолій. Він відзначив, що розробка даного напрямку сприяє відтворенню та реконструкції загального образу української науки, вивченню темпів та інтенсивності розвитку історичної думки впродовж різних етапів та епох, особливостей формування і нагромадження знань про історичне минуле, континуїтету, дискретності та просторово-регіональної конфігурації наукового процесу, формальної та неформальної інституціональної структури науки, соціокультурних та інтелектуальних передумов, чинників та середовищ її функціонування, теорії й методології історії тощо [15].

Біографічні дослідження мають свою традицію, їх витoki йдуть із давнини. Одним із засновників жанру наукової біографії на східноєвропейському просторі дослідники називають В. Ключевського, а фундаментом саме української біографістики — праці М. Костомарова [10, с. 4]. Розробка цього напрямку відбувалася і в радянські часи. Але, більш активно — лише з середини 1950-х рр., коли певною мірою розширилися дослідницькі можливості науковців. Повною мірою це стосується й вивчення біографій вчених.

Втім, набагато бурхливішим цей процес стане в останні двадцять років. В центрі уваги дослідників опинилися й біографії істориків. В цей час було опубліковано чимало робіт Р. Пирога, В. Ульяновського, В. Заруби, І. Верби, О. Рубльова, О. Удода, Ю. Пінчука та інших. Вивченню життя і творчості вчених-істориків було присвячено ряд дисертаційних досліджень. Так, увага науковців спрямовувалася на постаті В. Антоновича, В. Базилевича, М. Біляшівського, М. Владимирського-Буданова, М. Грушевського, М. Дашкевича, Д. Донцова, М. Драгоманова, В. Іконнікова, М. Кордуби, Ф. Леонтовича, О. Лотоцького, І. Лучицького, М. Максимовича, О. Маркевича, О. Новицького, О. Оглобліна, М. Петрова, В. Романовського, Є(Ю). Сіцінського, А. Скальковського, С. Шелухіна, В. Шульгіна, М. Яворського та ін.

Необхідно відзначити й в наш час активно відбувається процес переосмислення спадку українських вчених, які працювали в умовах СРСР. Радикальні твердження про те, що в радянські часи не було історичної науки, що вона була повністю сфальсифікована [3], які мали місце в 1990-х рр. вже майже не зустрічаються. Ряд дослідників звертають свою увагу саме на творчий доробок науковців радянського періоду. Вони намагаються помірковано й неупереджено переглянути надбання цих істориків, простежити впливи суспільно-політичних процесів, визначити «межі можливого». Очевидно, що праці вчених радянського періоду містять чимало актуальних на сьогодні ідей, положень, висновків. Вони не лише демонструють тенденції розвитку науки, а є багаті на фактичний матеріал і тому не заслуговують на забуття, потребують поміркованого ставлення, переоцінки й ґрунтовного вивчення. Зокрема, останнім часом, дослідницький інтерес привертала постаті Н. Пігулевської [10], І. Шульгі [16], К. Гуслистого [17], М. Петровського [18], М. Слабченка [8], В. Дядиченка [4], Ф. Шевченка [2] та ін. Проводяться різноманітні конференції, читання, що присвячені окремим таким постатям.

Поряд з іншими званими фахівцями на увагу заслуговує відомий український історик Віталій Григорович Сарбей. До наукового доробку цього вченого продовжують звертатися дослідники різних проблем історії України. Особливий інтерес становить його концепція історії України ХІХ ст., котра, до речі, була однією з перших спроб по новому розглянути цей складний, заповнений «білими плямами» період. Саме він розпочинав розробляти малодосліджені тоді проблеми становлення і консолідації

української нації, формування національної самосвідомості, процеси українського національного відродження. Водночас, оцінка діяльності та доробку науковця в історичній літературі неоднозначна. Причини цього різні, пов'язані значною мірою з різними світоглядними орієнтирами істориків. Тому існує потреба дослідити сприйняття і оцінки наукової спадщини В. Сарбея його сучасниками та наступними поколіннями, спробувати зрозуміти причини подекуди досить критичного ставлення до його праць та тверджень.

Розробка даної проблеми в історіографії представлена довідковими статтями в енциклопедичних виданнях, ювілейними в періодичних, публікаціями, що присвячені загальній оцінці життя та спадку В. Сарбея. Початок більш широкому осмисленню внеску вченого в розвиток української історичної науки, фактично поклали Сарбеївські читання, які відбулися 30 січня 2003 р. в Інституті історії України НАН України, з нагоди 75-річчя з дня народження історика. Втім, науковий спадок В. Сарбея, його життєвий шлях, має бути висвітлений у комплексному дослідженні, де можна було б прослідкувати становлення його як науковця, його праці на тлі загального розвитку історичної науки, еволюцію історичних поглядів, вплив на них та на долю вченого окремих суспільно-політичних подій. Крім того, життєвий та науковий шлях В. Сарбея демонструє ряд змін, що відбувалися з істориками на зламі 1980-х — 1990-х рр., — коли він зазнав особливого впливу фактору часу із закінченням однієї епохи і початком переходу до іншої. Й тому, можна сказати, що історичні погляди дослідника відзеркалює світоглядні орієнтири цілої епохи.

Значним за своїм обсягом та різноманітним за тематикою є науковий доробок В. Сарбея, втім особливу увагу необхідно звернути саме на постійний, сталий інтерес дослідника до розробки проблем біоісторіографії. Від самого початку наукової діяльності й до кінця творчого шляху В. Сарбей займався вивченням життя та наукової творчості різних істориків. Дослідники відзначали, що «В.Г. Сарбей розширив наше сприйняття, піднявши із забуття десятки імен талановитих істориків, учених, краєзнавців» [7, с. 29]. Наукове становлення Віталія Григоровича розпочалося саме з біоісторіографічного дослідження, в ході написання кандидатської дисертації [12]. Він займався вивченням історичних поглядів О. Лазаревського, й розгляд цієї теми не полишив надалі. Починаючи з другої половини 1960-х рр. інтерес В.Г. Сарбея до проблем особи в історії та біоісторіографії значно зріс. Це добре прослідковується в списку друкованих праць науковця з даної тематики. Так, до кінця першої половини 1960-х рр. науковець, окрім О. Лазаревського, звертав увагу на постаті Б. Хмельницького, Т. Шевченка, Лесі Українки, діячів, що були пов'язані з революційним рухом — наприклад, А. Іванова, М. Ольмінського, А. Бебеля. Пізніше цей список значно розширився, хоча інтерес до названих особистостей зберігся [14]. Загалом В. Сарбей є автором більше двохсот публікацій присвячених дослідженню життя та діяльності істориків. Зокрема, він звертався до

вивчення постатей В. Антоновича, М. Аркаса, В. Базилевича, Д. Багалія, В. Барвінського, М. Бантиш-Каменського, Д. Бантиш-Каменського, М. Берлінського, М. Білозерського, Є. Болховітінова, І. Вагилевича, Б. Грекова, М. Грушевського, К. Гуслистого, Я. Головацького, І. Гуржія, А. Добрянського, М. Драгоманова, Г. Житецького, М. Зібера, Д. Зубрицького, В. Іконнікова, І. Каманіна, В. Ключевського, М. Ковалевського, М. Костомарова, І. Крип'якевича, А. Кримського, П. Куліша, О. Лазаревського, О. Левицького, Ф. Лося, М. Максимовича, А. Маркевича, Я. Марковича, М. Могилянського, В. Модзалевського, І. Новицького, О. Оглобліна, М. Петровського, Н. Полонської-Василенко, О. Рігельмана, А. Санцевича, А. Скальковського, Г. Сковороду, І. Срезневського, В. Тарновського, Ф. Уманця, А. Чепи, М. Шашкевича, Д. Яворницького, М. Яворського, В. Яковенка, О. Янати та ін. [14].

До речі, сам В. Сарбей в одній із публікацій, відзначав, що за радянських часів було складно займатися вивченням персоналій. Він наголошував, що насаджувалася безлика історія, в історичній науці активно використовувалися терміни «трудящі маси», «народні маси», що призводило до знеособлення реального історичного процесу; фактично зводилася нанівець активна роль людського фактору [9, с.67]. Історик визнавав, що часто нові імена просто оминалися, й підкреслював, що в цьому випадку «спрацювала автоцензура, що міцно в'їлася у душі істориків. Вони твердо засвоїли встановлене у видавництвах «правило»: не підписувати до друку рукопис, якщо в ньому є будь-які прізвища, не «апробовані» попередніми чи іншими виданнями (переважно 70-х рр.)» [9, с. 68]. Варто згадати, що труднощі у науковців викликали й дослідження спадщини цілого ряду відомих українських особистостей. Зокрема, необхідно згадати докторську дисертацію В. Сарбея «Основоположники марксизму-ленінізму і дожовтнева історіографія України» [13], коли використання праць К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, дало можливість В. Сарбею, хоч й не в повному обсязі, дослідити праці М. Костомарова, М. Драгоманова, О. Єфименко, О. Лазаревського, О. Левицького, М. Зібера, С. Подолинського, М. Павлика, М. Максимовича, І. Лучицького та інших видатних діячів української історії. Втім, посилання на «основоположників», висвітлення проблем у межах дозволеного, не убезпечило його від критики. Так, В. Сарбею докоряли, що він приділяв надмірну увагу та не критично ставився до ряду представників української інтелігенції [19, с. 147] тощо. Необхідно відмітити ще одну сторону публікацій В. Сарбея радянських часів, в яких він звертався до постатей М. Драгоманова, М. Костомарова, М. Зібера, С. Подолинського, О. Оглобліна. В контексті критики праць зазначених авторів, він викладав їх історичні погляди, цитував, а не обмежувався простим засудженням чи запереченням, й тим самим знайомив із ними ширше коло істориків.

Чимала кількість біоісторіографічних публікацій В. Сарбея є вельми різноманітною за своїм характером. Він досить активно готував статті для

енциклопедичних, довідникових видань, створював статті до ювілейних дат, розглядав окремі аспекти діяльності, маловідомі сторінки з життя і творчості, вводив у обіг нові історіографічні джерела, які поглиблювали розуміння ролі й значення діяльності певної особистості, її поглядів тощо. Дослідження біографій українських істориків у спадщині В. Сарбея можна поділити на публіцистичні, науково-популярні та наукові. На перший погляд, для вивчення історіографічної спадщини В. Сарбея більший інтерес становлять його наукові статті та монографії. Втім, для реконструкції історіографічних поглядів дослідника, встановлення зв'язку його творчості з громадсько-політичним життям, важливими є всі роботи — енциклопедичні, популярні журнальні та газетні статті тощо [1, с. 36]. Біоісторіографічні дослідження В. Сарбея за будовою поділяють на дві групи. Перша — праці, в яких автор не розмежовує життя та діяльність історика і висвітлює його творчість, погляди на фоні життєвого шляху. Друга — праці, які умовно можна поділити на дві частини. В одній, подається матеріал про життя та діяльність історика, в другій — розглядається його творча спадщина за окремим тематичними блоками. Вчений, досліджуючи життя та творчість українських істориків, в основному, використовував проблемно-хронологічний принцип викладу матеріалу [1, с. 36].

Дослідження життєвого шляху та наукової спадщини В. Сарбея і сьогодні є актуальним, як із наукової, так із суспільно-політичної точки зору (бо В. Сарбей жив і працював фактично на зламі двох епох), тому важливо створити узагальнюючу працю, присвячену особі Віталія Григоровича, в якій можна було б простежити наукові вподобання та зацікавлення, еволюцію історичних поглядів, сформувати уявлення про його наукову та громадську діяльність, окреслити в загальних рисах основні віхи життєвого шляху. Процес становлення В. Сарбея як науковця-історика, як і більша частина його життя, відбувалася в умовах існування радянської України, й це залишило свій відбиток на його роботах, ряд положень яких носять заідеологізований характер, оцінки та висновки, щодо різних подій і явищ є неоднозначними. В 1990-х рр., у контексті подій, що відбувалися, він не відмовляючись від раніше зробленого, хоч й визнаючи необґрунтованість низки висловлених ним тез та положень, розпочав процес переосмислення власних історичних поглядів і згодом виклав своє бачення того, за якими принципами, на яких методологічних засадах має відбуватися розгляд історії України. Вивчення життя та спадщини Віталія Григоровича допоможе глибше зрозуміти ті внутрішньонаукові та суспільні процеси, що впливали на долю українських істориків радянського та пострадянського часу.

Література

1. *Андреев В.М.* Біоісторіографічний підхід у науковій спадщині В.Г. Сарбея // Сарбейські читання. — К.: Інститут історії України НАН України, 2003. — С.35—38.

2. Батуріна С.С. Федір Павлович Шевченко: життя і творчість. – Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 2007. – 20 с.
3. Білокін С. Чи маємо ми історичну науку? // Літературна Україна. – 1991. – 10 січня. – С. 7.
4. Близняк М.Б. Вадим Архипович Дядиченко (1909-1973) – історик України. – Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Острог, 2006.
5. Войцехівська І.Н. Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконнікова. – Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 2000. – 28 с.
6. Дідух Л.В. Академік М.Ф. Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець XIX – перша чверть XX ст.). – Дис. ... канд. іст. наук. – К., 2005.
7. Заремба С.З. Грані діяльності В.Г. Сарбея // Сарбеївські читання. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 27–33.
8. Заруба В.М. Історик держави і права України академік М.Є. Слабченко (1882–1952). – Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2004. – 456 с.
9. Кондуфор Ю.Ю., Сарбей В.Г. Моральний потенціал більшовизму // Комуніст України. – 1989. - №1. – С.66-73.
10. Лебідь Л.В. Н.В.Пігулевська – історик Візантії. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Дніпропетровськ, 2005. – 227 с.
11. Санцевич А.В. Методика исторического исследования. – К.: Наукова думка, 1990. – 212 с.
12. Сарбей В.Г. Історичні погляди О.М. Лазаревського. – Дис. ... канд. іст. наук. – К., 1958.
13. Сарбей В.Г. Основоположники марксизму-ленінізму і дожовтнева історіографія України. – Дис. ... докт. іст. наук. – К., 1972.
14. Сарбей Віталій Григорович (1928–1999): Бібліографічний покажчик. Під ред. Смоля В.А. – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 104 с.
15. Смолій В.А. Про науково-дослідний проект «Визначні постаті української історіографії XIX–XX ст.» // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2002. – Вип. 12. – С. 3–4.
16. Товстолят Л.М. І.Г. Шульга як історик України. Автореф. дис. ... канд. іст. наук – К., 2005. – 19 с.
17. Удод О.А. Кость Гуслистий – історик України. – К.: Генеза, 1998.
18. Удод О.А., Шевченко А.Ю. Микола Неонович Петровський (1894–1951): життя і творчий шлях історика. – К.: Генеза, 2005. – 192 с.
19. Шморгун П.М. В.Г. Сарбей В.І.Ленін і дожовтнева спадщина історіографії України // Український історичний журнал. – 1973. – № 3. – С. 147–148.

В.Г. ПИКАЛОВ, С.М. КУДЕЛКО

**СУДЬБА ОДНОЙ КНИГИ
(К 50-летию учебника В.И. Астахова
«Курс лекций по русской историографии»)**

Действительный путь науки получает своё полное и отчетливое выражение в её наиболее ярких и типичных представителях.

Н.Л. Рубинштейн «Русская историография»

Вторая половина 50-х годов XX столетия стала отправным моментом нового этапа развития советской историографии. Об этом, прежде всего, свидетельствовало издание ряда крупных историографических работ. В числе первых в эти годы были изданы «Очерки истории исторической науки в СССР» (М., 1955. — Т.1.) и учебное пособие Л.В. Черепнина «Русская историография до XIX века: Курс лекций» (М., 1957).

Вслед за ними было опубликовано и учебное пособие «Курс лекций по русской историографии» (Х., 1959. — Ч.1.) доцента кафедры истории СССР Харьковского госуниверситета В.И. Астахова, которое, по словам автора, «сложилось на основе стенографирования курса лекций, прочитанных на историческом факультете Харьковского государственного университета в 1956/57 учебном году» [1].

В кратком предисловии к «Курсу» В.И. Астахов с присущей ему прямоотой и откровенностью писал, что не претендует на оригинальность и ставит своей целью всемерно облегчить студентам изучение истории исторической науки. Он подчеркивал, что широко использовал работы Н.Л. Рубинштейна, Л.В. Черепнина, «Очерки истории исторической науки СССР», а также монографии и отдельные статьи Д.С. Лихачева, В.Е. Иллерицкого, С.О. Волка и других ученых.

Уже в августе 1960 г. на страницах журнала «Исторические науки» появилась обширная, на девять страниц (с. 187—195), рецензия известного московского историографа А.М. Сахарова «О курсе русской историографии В.И. Астахова», которая заняла весь раздел «Критика и библиография» [5].

А.М. Сахаров в начале рецензии отмечал, что курс историографии принадлежит к числу важнейших в методологическом отношении учебных дисциплин на исторических факультетах вузов, поскольку он вырабатывает углубленное понимание истории как науки и закономерностей

её развития, синтезирует данные целого комплекса дисциплин и является своеобразным завершением научной подготовки студента-историка [5].

А.М. Сахаров подчеркивал, что в учебном обиходе, до выхода в свет курса лекций В.И. Астахова, было учебное пособие Л.В. Черепнина 1957 года издания, которое отличали высокие научные и методологические достоинства, но в нём рассматривался период лишь до конца XVIII в. В том же 1957 году научно-методическим кабинетом по заочному обучению при МГУ им. М.В. Ломоносова были изданы два выпуска учебных материалов по курсу «Русской историографии» С.К. Бушуева. В них рассматривался период до середины XVIII в. В распоряжении студентов были также несколько выпусков лекций по русской историографии второй половины XIX в., прочитанных В.Е. Иллерицким в Московском историко-архивном институте.

Если при этом учесть, что указанный первый том «Очерков истории исторической науки в СССР» был скорее научным изданием, высшая школа СССР не имела в то время не только учебника, но и систематизированного лекционного курса, который выходил бы за пределы XVIII в.

В связи с этим А.М. Сахаров отмечал в своей рецензии: «А пока столичные историографы все еще собираются с силами, Харьковский университет сделал интересный и важный почин, опубликовав первую часть лекционного курса В.И. Астахова по русской историографии до середины XIX в.». Рецензент считал, что «Курс» имеет недостатки, но заслуживает внимания со всеми его недочетами не только потому, что другого такого курса нет, но и потому еще, что он обладает рядом несомненных достоинств [5]. А.М. Сахаров отмечал, что В.И. Астахов стремился создать пособие для студентов и с этой задачей справился в целом хорошо, ибо курс содержит все необходимые сведения о русской историографии. И далее он подчеркивал, что автор правильно определяет предмет курса, «имея в виду историю самой исторической науки». В то же время рецензент указывал, что название курса в учебных планах — «Историография истории СССР», и такое название определяет необходимость рассматривать всю литературу, посвященную истории СССР, в том числе и зарубежную.

В действительности, университетский курс историографии по традиции строился как курс истории исторической науки. А.М. Сахаров в этой связи писал: «И это, конечно, правильно потому, что такой подход дает возможность глубоко раскрыть закономерности развития исторической науки, борьбу идей и направлений». Далее в совершенно категорической форме он подчеркивал, что «необходимо привести название курса в точное соответствие с его содержанием и установить, что читается курс «Истории исторической науки», подобно тому как читаются курсы истории физики, истории химии и т. п. [5].

В рецензии четко высказана мысль о необходимости решительно отказаться от взгляда на историографию как вспомогательную историческую дисциплину. К достоинству учебного пособия В.И. Астахова

рецензент относил правильную структуру его в плане курса истории исторической науки, четкость и продуманность в определении предмета курса, верно поставленную основную задачу. «Изучая историю русской исторической науки, необходимо прежде всего выработать критическое отношение к историографическому прошлому» [5]. Рецензент относил к достоинствам «Курса» тщательно отобранный основательный материал, удачно изложенные сложные вопросы русской историографии. Он отмечал, что следует обратить внимание также на умело сделанные короткие, но четкие введения к лекциям, в которых В.И. Астахову удалось дать в немногих словах необходимую для понимания историографических явлений и процессов характеристику социально-экономических и политических условий.

К сожалению, писал А.М. Сахаров, автор явно меньше внимания уделил таким важным для развития науки факторам, как развитие источниковедческой базы, научных учреждений и научной периодики. В то же время Анатолий Михайлович подчеркивал, что В.И. Астахов выступает не просто компилятором, но проявляет самостоятельность в освещении многих вопросов, справедливо критикуя писавших до него авторов: С.К. Бушуева, Н.Г. Сладкевича и других.

В частности, заслугой автора рецензент считал интересные, содержательные лекции, посвященные анализу исторических воззрений революционных демократов.

Завершающие рецензию страницы посвящены скрупулезному рассмотрению некоторых недочетов и неточностей, допущенных в курсе лекций, которые скорее выглядят доброй подсказкой автору на будущее.

А.М. Сахаров также высказал сожаление по поводу плохой работы редактора книги над текстом.

В последнем абзаце рецензии подчеркивалось, что можно, конечно, многие недочеты курса объяснить и состоянием разработки историографических проблем, и оправданным желанием поторопиться с созданием остро необходимого пособия для студентов.

Понятно, писал А.М. Сахаров, что В.И. Астахов самим фактом издания курса сделал большое и нужное дело, за которое пока не берутся другие историки. Создать такой курс, отмечал А.М. Сахаров, чрезвычайно трудное дело. И если мы остановились здесь на некоторых недочетах этого курса, то не для того, чтобы умалить бесспорно положительное значение работы харьковского ученого, а для того, чтобы, выражая признательность В.И. Астахову за его работу, подчеркнуть еще раз острую необходимость разработки проблем историографии и улучшения преподавания этого очень важного университетского курса [5].

Интересным откликом на учебное пособие В.И. Астахова явилась публикация в пражском академическом «*Ceskoslovensky casopis historicky*» рецензии Ярослава Марека. Рецензент отмечал, что учебник В.И. Астахова направлен в сторону изучения историографии как специальной

исторической дисциплины и в нем рассматривается поступательное развитие русской историографии до начала второй половины XIX столетия. Я. Марек в заключение писал, что иностранный читатель значительно пополнит свои исторические знания интересным историографическим материалом, рассмотренным в книге В.И. Астахова.

В апреле 1962 года в журнале «Вопросы истории» была опубликована рецензия А.М. Сахарова на изданное в 1961 году учебное пособие «Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции» (под редакцией В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева), подготовленное коллективом авторов: Н.Л. Рубинштейн, В.Е. Иллерицкий, И.А. Кудрявцев, А.С. Рослова, Н.К. Додонов, Е.В. Чистякова, С.О. Шмидт [6].

В начале рецензии А.М. Сахаров отмечал, что за последние годы появилось несколько работ, которые восполнили прежний пробел в области изучения историографии, и назвал два тома «Очерков истории исторической науки в СССР», курсы лекций Л.В. Черепнина и В.И. Астахова, книгу С.Л. Пештича о русской историографии XVIII века. По его мнению, все изложенные обстоятельства поставили в повестку дня вопрос о координации во всесоюзном масштабе усилий специалистов в области историографии, которая начала формироваться в особую отрасль исторической науки, раскрывающую её собственную историю, в связи с чем курс историографии приобрел важнейшее методологическое значение.

В августе 1962 года в журнале «Вопросы истории» была опубликована статья А.М. Сахарова «Предмет и содержание университетского курса историографии истории СССР». Публикуя эту статью, редакция надеялась, что поставленные в ней вопросы привлекут внимание специалистов, и готова была предоставить страницы журнала для обсуждения проблем [7].

Статья А.М. Сахарова включала пять частей, в которых последовательно рассказывались «предмет и содержание» курса историографии. Нас в данном случае интересует третья часть статьи, в которой автор, рассматривая развитие исторической науки в дореволюционный период, подчеркивал, что оно представляет собой не плавный эволюционный процесс, а острую борьбу различных направлений и школ, что характеристика этой борьбы и составляет одну из задач историографии. Далее А.М. Сахаров писал о необходимости учитывать некоторые специфические проблемы. Например, что представители передовой общественной мысли России XIX века, декабристы, в подавляющем большинстве случаев не были историками-исследователями и опирались в своих суждениях на фактический материал, который черпали в трудах историков дворянского и буржуазного направления. А.М. Сахаров подчеркивал, что идеи революционной демократии оставили след в профессиональной исторической науке второй половины XIX в., но это не дает права сводить чуть ли не всю историографию XIX в. к изучению наследства одних лишь революционеров [7]. Вслед за этим, А.М. Сахаров сделал выпад в адрес

курса лекций В.И. Астахова, «в котором из восьми лекций, посвященных первой половине XIX в., профессиональным историкам отведено только три» [7].

В марте 1963 г. на страницах журнала «Вопросы истории» появились первые отклики на статью А.М. Сахарова под рубрикой «О предметном содержании университетского курса историографии истории СССР». Авторами выступили доцент Саратовского университета Л.А. Дербов, доцент Ростовского университета А.Г. Беспалова и доцент Казахского университета Н.П. Калистратов. Н.П. Калистратов писал, что в «Курсе лекций по русской историографии» В.И. Астахов совсем не затрагивает вопрос об изучении проблем всеобщей истории в русской исторической литературе. Впрочем, «досталось» и авторам учебного пособия под редакцией В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева, которое, по мнению Н.П. Калистратова, не отвечает своему названию. Однако, в целом, что призыв к обсуждению проблем историографии не вызвал энтузиазма «на местах».

В такой обстановке не было замечено издание второй части учебника В.И. Астахова, с грифом Минвуза УССР, который увидел свет в конце 1962 года: «Курс лекций по русской историографии. Часть вторая (эпоха промышленного капитализма)».

Автор в предисловии книги отмечал, что повышенный интерес и углубленное изучение истории русской исторической науки, обозначившиеся в последние годы, в том числе выход второго тома академического издания «Очерков», учебного пособия «Историография истории СССР» и курса лекций по русской историографии эпохи империализма, заставили его отказаться от первоначального намерения опубликовать в качестве второй части имеющиеся стенограммы лекций о периоде с 1861–1917 гг. [2].

Далее, В.И. Астахов подчеркивал, что необходимость более глубокого изучения и освещения основных проблемных вопросов обусловила выделение второй половины XIX века в качестве важного периода в развитии русской историографии.

В конце июня 1963 г. В.И. Астахов на основе упомянутой второй части «Курса лекций по русской историографии» с успехом защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук.

В 2002 г. на страницах «Харьковского историографического сборника» в разделе «Документы и материалы» были опубликованы отзывы известных московских историков – П.А. Зайончковского и А.А. Зимина, которые выступили оппонентами при защите этой диссертации [10, 11].

П.А. Зайончковский в отзыве указывал, что разработка оригинальных курсов историографии имеет большое значение как для развития исторической науки, так и для подготовки молодых историков. Он отмечал также, что курс лекций охватывает все важнейшие проблемы историографии второй половины XIX столетия, и сделал следующий вывод: «Курс лекций В.И. Астахова – результат серьезного научного

исследования». Затем оппонент охарактеризовал каждую из 11 глав (лекций) и перешел к замечаниям. Он отметил путаницу в таком высказывании В.И. Астахова: «Однако все же революционные демократы 60-х годов, не народники, а народники 70-х годов — не революционные демократы». Далее П.А. Зайончковский указал, «что в главе о народнической историографии почти ничего не написано о трудах В. Воронцова и Н. Даниельсона, о воззрениях М.Е. Салтыкова-Щедрина».

Резюме отзыва П.А. Зайончковского гласит: «Труд В.И. Астахова соответствует требованиям для работ, представленных на соискание ученой степени доктора наук».

А.А. Зимин в своем отзыве подчеркнул необычность «Курса», который основан на самостоятельном изучении автором основных направлений развития русской исторической науки второй половины XIX века, и отмечал: «Перед нами удачное сочетание исследования и лекционного курса».

По его мнению, издание курсов — вещь чрезвычайно важная, ибо является показателем развития научной мысли в вузах, связана с конкретными задачами высшего образования и свидетельствует о росте научных кадров. А.А. Зимин отмечал, что при наличии «Очерков истории исторической науки», работ В.Е. Иллерицкого, В.Л. Черепнина, А.Л. Шапиро и других В.И. Астахов сумел сохранить вполне самостоятельный творческий подход в изучении и освещении истории исторической науки.

Оппонент скрупулезно изложил достоинства 11 лекций «Курса» и сделал такой вывод: «В целом для лекций В.И. Астахова характерен очень строгий и продуманный отбор материала, умение сосредоточить внимание на важнейших страницах историографических явлений второй половины XIX века».

Буквально через год в «Украинском историческом журнале» (май-июнь 1964 года) появилась рецензия А.А. Гельфмана и А.М. Мелихова на «Курс лекций» В.И. Астахова, в которой подчеркивалось, что развитие историографии — важнейшее условие повышения уровня научно-исследовательских работ в области истории. Рецензируемая книга, писали одесские историки, существенно отличается от других учебных пособий, в том числе и от её первой части, как выбором тем, так и полнотой их освещения. В лекциях В.И. Астахова, указывали рецензенты, присутствует материал, который еще не стал достоянием историографической литературы, высказывается немало интересных соображений по поводу научного творчества выдающихся историков.

В целом, авторы рецензии немало внимания уделили достоинствам «Курса», отметив, что книга В.И. Астахова представляет заметное явление в учебной литературе по русской историографии и является полезным пособием. В качестве замечаний они указали на ряд неточностей в тексте.

Через год после защиты докторской диссертации, в сентябре 1964 года, благодаря инициативной деятельности В.И. Астахова на историческом факультете Харьковского университета была открыта первая в Украине

кафедра историографии и источниковедения, которая через несколько лет отметит свое пятидесятилетие.

Многолетний период создания и совершенствования учебного пособия по русской историографии В.И. Астахова завершился изданием в 1965 году отдельной книги «Курс лекций по русской историографии (до конца XIX в.)», в которую с дополнениями вошли материалы ранее изданных пособий автора. Она получила гриф: Допущено Министерством высшего и среднего специального образования УССР в качестве учебного пособия для студентов исторических факультетов университетов.

Литература

1. *Астахов В.И.* Курс лекций по русской историографии. Ч. I. (До середины XIX века). — X., 1959.
2. *Астахов В.И.* Курс лекций по русской историографии. Ч. II. (Эпоха промышленного капитализма). — X., 1962.
3. *Астахов В.И.* Курс лекций по русской историографии. Ч. I. (До конца XIX в.). — X., 1965.
4. *Всесоюзное совещание историков*, 18–21 декабря 1962. — М., 1964.
5. *Сахаров А.М.* О курсе русской историографии В.И. Астахова // Исторические науки. — 1960. — № 3.
6. *Сахаров А.М.* Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции // Вопросы истории. — 1962. — № 4.
7. *Сахаров А.М.* Предмет и содержание университетского курса историографии истории СССР // Вопросы истории. 1962. — №8.
8. *Дербов Л.А., Калистратов Н.П., Беспалова А.Г.* О предмете и содержании университетского курса историографии истории СССР // Вопросы истории. — 1963. — № 3.
9. *Гельфман О.А., Мелихов О.М.* [Рецензия] // Український історичний журнал. — 1964. — № 3. — Рец. на кн.: Астахов В.И. Курс лекций по русской историографии. Ч. II. (Эпоха промышленного капитализма).
10. *Зайончковский П.А.* Отзыв о книге В.И. Астахова «Курс лекций по русской историографии» (Ч. II.), представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук // Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу: Харківський історіографічний збірник. — X., 2002. — Вип. 5.
11. *Зимин А.А.* Отзыв о докторской диссертации В.А. Астахова // Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу: Харківський історіографічний збірник. — X., 2002. — Вип. 5.
12. *Марек Ярослав* [В.И. Астахов. Курс лекций по русской историографии, ч. I] // Ceskoslovensky casopis historicky. — 1960. — С. 2.

Є.Г. СІНКЕВИЧ

**ПРОБЛЕМИ БІОГРАФІСТИКИ
В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
(НА ПРИКЛАДІ КРАКІВСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ)**

Як відомо, історики історіографії віддавна надавали велике значення систематизації історіографічних явищ, опертій на теорії історичних шкіл. У цьому контексті важливе місце належить біоісторіографії. Як зазначає один із сучасних дослідників, «треба очікувати написання інтелектуальних біографій окремих істориків, як «першого», так і «другого» плану» [1, с. 19]. Разом із тим, дослідження історіографії не може обмежитися аналізом доробку окремих істориків, їх наукового інструментарію, методологічних концепцій, поглядів на минуле чи суспільно-політичної діяльності. Маємо також поставити ширші завдання, стосовно історичного середовища. Одним із найбільш яскравих явищ в історії польської історіографії є діяльність представників краківської історичної школи у другій половині XIX століття.

Соціально-економічні та суспільно-політичні процеси, що характеризували ситуацію в Європі XIX століття, обумовили формування концептуальних засад польської історичної науки. «Ідеологія позитивізму і потреби технічного прогресу створювали сприятливі умови для розвитку наукової думки. ...З усіх наукових дисциплін найбільшого розвитку досягла історіографія, яка знаходилася в епіцентрі роздумів про минуле і майбутнє Польщі... Найшвидше сформувалася «краківська школа» в історіографії, представлена ідеологами та політиками краківського консерватизму» [2, с. 378–379]. Від свого зародження і до остаточного занепаду краківська історична школа набула як палких прихильників [3], так і непримиренних опонентів [4–6].

Поняття «краківська історична школа» утвердилося в польській історіографії завдяки її антагоністам – варшавським науковцям Владиславові Смоленському і Тадеушу Корзону. Самі історики, її репрезентанти, воліли окреслити школу найменням «сучасна», «нова», «критична» тощо. Обидві сторони прямо протилежно трактували сам термін «школа» в історіографії. По-скільки для варшавських істориків «школу» становили дослідники, що сповідували схожий погляд на історію держави (в такому ж сенсі «школу» стосовно давньої польської історіографії трактував і Валеріан Калінка), то для Юзефа Шуйського чи Станіслава Смольки поняття «сучасна школа» становили ті, хто послуговувався в своїй праці новими

дослідницькими методами, якими так славилася «конкретна історична методологія». «Олії у вогонь долив» Освальд Бальзер, який у полеміці з Тадеушем Корзоном у 1890 році доводив, що не має жодної краківської історичної школи і в своїх висновках опирався на найширше тлумачення поняття історіографічної школи. На його думку, для її формування повинні бути виконані три умови: 1) існувати її творець — тобто керівник, 2) колектив вчених, 3) «певний однотайний напрямок досліджень і розуміння історії» [7, s. 16]. Очевидно, в цьому контексті категорія «школа» займає особливе місце, оскільки, з одного боку, це поняття відтворює реально-існуючі осередки історичної освіти та науки, з іншого боку — «школа» є інструментом пізнання науково-дослідної та педагогічної діяльності істориків у межах певного наукового соціуму [8, с. 2].

Зрештою, полеміка навколо теоретичних засад краківської історичної школи та деяких оцінок історичного минулого привернула увагу до найбільш яскравих представників «школи» і важливих епізодів їх біографій. Особливо приваблювала колоритна постать М. Бобжинського. Один із його колег «по цеху» і особистий товариш Станіслав Естрейхер зазначав: «Подати образ діяльності Міхала Бобжинського буде не так легко. Працював одночасно на кількох наукових полях: був відомим істориком і правником. Але також був діючим політиком і відігравав впродовж піввіку (1885—1935) у історії народу видну роль, часто визначальну. І на одному, і на другому полі діяльність його збуджувала в одних подив, у других гостру критику, що доходила до ненависті. Адже був то характер сміливий, а боротьба в захисті власних переконань була його покликанням» [9, s. 3]. Зазначимо, що такого роду розвідки були на перших порах, як правило, побіжними і вийшли друком у зв'язку із смертю фундаторів школи або ж із роковинами цих скорботних дат [10]. Разом із тим, ці публікації зафіксували ключові моменти біографій дослідників, їх найбільш значимі наукові здобутки, віхи громадської та політичної діяльності. В них, чи не вперше, було здійснено спробу показати велич фундаторів краківської історичної школи на тлі епохи, а також ціну, яку інколи доводилося платити за подвижництво у науці. «25 років тому серед болю найближчих і жалю народу згасло в Кракові велике життя повне влади і духовних сил. Перед лицем смерті, Юзеф Шуйський мовив: «все маю хворе, тільки одна голова здорова». Рвалися струни життя, а живий і неспрацьований погляд прагнув на вершину великих, найбільших помислів, аби напередодні порогу вічності виділити таємниці буття народу і всього людства. Шуйський прагнув завше до самого джерела правди, намагався кожну справу довести до кінця, кожен момент пов'язати з минувиною, ...» [11, s. 3].

У вищезазначених, специфічних розвідках, зазвичай, не приходилося розраховувати на глибокий аналіз впливу основних подій у кар'єрі й біографії науковців на їх світогляд та професійні зацікавлення. Але, вони дали поштовх для нагромадження і вивчення архівних матеріалів, фіксації оцінок та спогадів сучасників, більш глибокого аналітичного аналізу

творчості фундаторів школи [12]. Серед спогадів відзначимо замітку історика «другого плану» Б. Дембінського про лекції М. Бобринського: «В літнє півріччя 1879 року в давньому Колегіумі юридикум при вулиці Бродській у Кракові слухав лекції професора Міхала Бобжинського. Читав він їх, як правило, у повній аудиторії чітко, розмірено, з повагою і зрілістю вченого, стилістю правника, одночасно з розумінням, спрямованим слухачам, щодо значення своїх досліджень і роздумів над історією Польщі. Мовив про поділ історії на епохи на підставі державного устрою як головного критерію. Було то у зв'язку із недавно опублікованими «Dziejami Polski w zagysie», які власне жваво обговорювалися, породжуючи суперечливі погляди і судження, схвальні голоси й різні застереження, критику і протести, що виходили поза наукові межі. Автор «Dziei Polski w zagysie» стояв відважно наперекір публічним оцінкам, ламав стріли у полемічному запалі «в ім'я історичної правди», стояв і відстоював своє бачення, підкріплюючи його аргументами, аби зміцнити і відстояти свою конструкцію. Бобжинський мав потребу і дар конструювання, то було особливою рисою його мислення і характеру. Вчений і людина, історик-теоретик і політик, становив єдину індивідуальність, цілісну і гармонічну» [13, s. 333].

Невдовзі, історики здійснили перші вдалі спроби досягнути діяльність Ю. Шуйського, В. Калінки, С. Смольки, М. Бобжинського на тлі епохи і впорядкувати більш докладні їх біографічні портрети [14]. Своєрідним відображенням долі народу в біографії конкретного науковця і політичного діяча стала публікація у 1950-х роках біографічних заміток М. Бобжинського [15]. Стосувалися вони загалом періоду 1908–1913 років, коли він перебував на посаді намісника Галичини. Про те, що Міхал Бобжинський написав спогади, знали віддавна. Його найближчі приятелі та співпрацівники, такі як Станіслав Тарновський і Владислав Леопольд Яворський, читали їх ще в період створення. Біографія Бобжинського пера Станіслава Естрейхера (1936) наводить на думку, що при її написанні автор послуговувався цими спогадами. Ще у 1936 році, син Міхала, Ян Бобжинський, на шпальтах редактованого ним консервативного видання «Nasza Przyszłość» опублікував невеликий витяг із праці [16]. Був то, як зазначав сам видавець, начерк вступу, що не потрапив до остаточного варіанту спогадів.

Новим кроком у пошуків інтересу наукової спільноти і загалу громадськості до краківської історичної школи стали заходи приурочені до 100-ї річниці від початку заснування в Ягеллонському університеті кафедри історії Польщі. Провідні польські історики організували у Кракові круглий стіл щодо значення цієї події для розвитку польської історіографії. Фактично дискусія звелася до ролі краківських істориків другої половини XIX століття в науковому, громадському та політичному житті Галичини, зокрема, і Австро-Угорщини, загалом [17]. Жваві дебати на цьому науковому зібранні мали далекосяжні наслідки – згодом польські історики на шпальтах наукового часопису «Historyka» розгорнули дискусію стосовно ролі та місця «наукової школи» в історіографії [18].

Цілеспрямована праця польських істориків увінчалася написанням біографій фундаторів краківської історичної школи, що вийшли друком упродовж 1960-х – 2000-го року [19]. Звичайно, що науковими біографіями інтерес до життя і творчості Ю. Шуйського, М. Калінки, С. Смольки, М. Бобжинського не обмежився [20]. У цьому контексті особливої уваги заслуговують дисертаційні дослідження [21]. Своєрідною констатацією значимості зазначених краківських дослідників є систематичне включення загальних відомостей про них в численні енциклопедичні та довідкові видання [22].

Чи отримали польські дослідники вичерпні наукові біографії представників краківської історичної школи? Чи опрацьовано необхідні методологічні підходи в царині біоісторіографії? Очевидно, що ні. Сучасний темп життя, а також незатухаючий інтерес наукової спільноти (і не тільки польської) до конкретних етапів біографій Ю. Шуйського (наприклад, потребує опрацювання і уточнення теза про безпосередні витоки родини науковця з відомого московського боярського роду), В. Калінки, С. Смольки, М. Бобжинського вселяють надію, що нас очікують ще нові відкриття.

Література

1. *Андреев В.* Интегральный напрям сучасної історіографії: інтелектуальна історія // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. -- К., 2005 -- Вип. 1.
2. *Зашикільняк Л., Крикун М.* Історія Польщі. -- Львів, 2002.
3. *Koźmian S.* List otwarty do posła Bobrzyńskiego. – Kraków, 1889.
4. *Smoleński W.* Stanowisko Waleriana Kalinki w historiografii polskiej. – Warszawa, 1887.
5. *Buszczyński S.* Obrona spotwarzonego narodu. – Zesz. I. – Kraków, 1888..
6. *Buszczyński S.* Owoce histor. Szkoły krakowska. Czasopismo wydawane przez młodzież // Obrona spotwarzonego narodu. – Zeszyt 3. – Część 1. – Wydanie 2. – Kraków: Nakładem komitetu, 1894.
7. *Grabski A. F.* Orientacje polskiej myśli historycznej. – Warszawa, 1972.
8. *Мерников Г.І.* Школи в українській історичній науці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: проблеми теорії та історіографії / автореф. дис. канд. іст. наук.- Дніпропетровськ, 1997.
9. *Estreicher S.* Michał Bobrzyński. – Warszawa, 1936.
10. *Tarnowski St.* Książd Walerian Kalinka. – Kraków, 1902. Smolka S. J.Szujski. Jego stanowisko w literaturze i w społeczeństwie. – Kraków, 1883. Balzer O. Pamięci Kalinki. Przemówienie na pogrzebie dnia 18 grudnia 1886 r. Imieniem Towarzystwa Historycznego we Lwowie // Kwartalnik Historyczny. – 1887. – R.1. – S. 143–147. Balzer O. Przed tablicą pamiątkową Szujskiego. Przemówienie imieniem Uniwersytetu Lwowskiego przy uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Józefa Szujskiego w Collegium Nowum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1896. // Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. – Lwów: b.r. – T.1. – S. 60–61. Zakrzewski S. Stanislaw Smolka // Kwartalnik Historyczny. – 1924. – R.38. – S.I-XXVI. Wspomnienie pośmiertne o S.Smolce // Rocznik PAU. – Rjk

1924/25. – Kraków. – 1926. – S. 52–55. Konopczyński W. Józef Szujski. 1835–1883. – Warszawa, 1933. Zakrzewski S. Michał Bobrzyński. Próba charakterystyki historyka // *Kwartalnik Historyczny*. – 1935. – R.49. – S. 515–539. Bidło J. Michał Bobrzyński. – Praga: Česke Akad., 1936. Dembiński B. Michał Bobrzyński. Próba charakterystyki człowieka i działalności // *Przegląd Historyczny*. – 1936. – T.33. Estreicher S. Michał Bobrzyński // *Przegląd Współczesny*. – 1936. – Nr.165–168. Estreicher S. Michał Bobrzyński. – Warszawa, 1936. Handelsman M. Bobrzyński jako uczony // *Przegląd Historyczny*. – 1936. – T.33. – S. 341–361.

11. *Dembiński B.* Szujski i jego synteza dziejów. Rzecz czytana na publicznym posiedzeniu Akademii Umiejętności w dniu 16 maja 1908 r. – Kraków, 1908.

12. *Tarnowski St.* Ksiądz Walerian Kalinka. – Kraków, 1902. Tarnowski St. Michał Bobrzyński w Radzie Szkolnej Krajowej. – Kraków, 1901. Sokolnicki M. Polska myśl historyczna od Naruszewicza do Lelewela // *Biblioteka Warszawska*. – 1905. – T.3. – S. 213–231. Sokolnicki M. Upadek polskiej myśli historycznej // *Krytyka*. – 1905. – T.1. – S. 13–19.

13. *Dembiński B.* Michał Bobrzyński. Próba charakterystyki człowieka i działalności // *Przegląd Historyczny*. – 1936. – T. 33.

14. *Handelsman M.* Historycy. Portrety i profile. – Warszawa, 1937. Estreicher S. Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku. – Kraków, 1931. Bobrzyński Michał (1849-1935) // *Polski Słownik Biograficzny*. – T. 2. – Kraków, 1936. – S. 165–168. Barycz H. Do charakterystyki Stanisława Smolki // *Życie i Myśl*. – 1951. – T.2. – S. 398–418. Grzybowski K. Szkoła historyczna krakowska. Michał Bobrzyński (1849–1935) // *Studia z dziejów wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego*. – Kraków, 1964. – S. 163–186.

15. *Bobrzyński M.* Z moich pamiętników. – Wrocław-Kraków, 1957.

16. *Bobrzyński J.* «Szkie do pamiętnika» // *Nasza Przyszłość*. – T.49. – Warszawa. – 1936. – S. 57–74.

17. *Mitkowski J.* Józef Szujski jako badacz polskiego średniowiecza // *Spór o historyczną szkołę krakowską. W stulecie katedry historii Polski UJ. 1869–1969*. – Kraków, 1969. – S.71–82. Gierowski J. Józef Szujski jako historyk czasów nowożytnych // *Spór o historyczną szkołę krakowską. W stulecie katedry historii Polski UJ. 1869–1969*. – Kraków, 1969. – S. 83–94. Gieysztor A. Stanisław Smolka jako mediewista // *Spór o historyczną szkołę krakowską. W stulecie katedry historii Polski UJ. 1869–1969*. – Kraków, 1969. – S. 95–118. Barycz H. Stanisław Smolka jako organizator nauki, profesor i wychowawca // *Spór o historyczną szkołę krakowską. W stulecie katedry historii Polski UJ. 1869–1969*. – Kraków, 1969. – S. 119–144. Bartel W. Michał Bobrzyński (1849-1935) // *Spór o historyczną szkołę krakowską. W stulecie katedry historii Polski UJ. 1869–1969*. – Kraków, 1969. – S. 145–190. Buszko J. Historycy «szkoły krakowskiej» w życiu politycznym Galicji // *Spór o historyczną szkołę krakowską. W stulecie katedry historii Polski UJ. 1869–1969*. – Kraków, 1969. – S.191–208. Barycz H. Stanisław Smolka jako organizator nauki, profesor i wychowawca // *Spór o historyczną szkołę krakowską: Stulecie katedry historii polski UJ 1869–1969*. – Kraków, 1972. – S. 119–144.

18. Śreniowska K. Co to jest szkoła historyczna? // *Historyka*. – 1983. – T.13. – S.127–131. Serczyk J. Wokół pojęcia szkoły historycznej // *Historyka*. – 1983. – T.13. –

S.133–137. Kula M. “Szkoła” – ideał – rzeczywistość // *Historyka*. – 1983. – T.13. – S.139–140. Olszewski H. Rozważania o szkołach historycznych // *Historyka*. – 1984. – T.14. – S.129–140. Francić M. “Szkoła historyczna” – zjawisko realne czy zwyczaj językowy // *Historyka*. – 1985. – T.15. – S. 121–133. Hilaire M. Co to jest szkoła historyczna // *Historyka*. – 1986. – T.16. – S. 99–103.

19. *Tarnowski St.* Józef Szujski jako poeta. – Warszawa, 1961. – 201 s. Mrówczyński J. Ks.Walerian Kalinka. Życie i działalność. – Poznań-Warszawa-Lublin, 1969. Łazuga W. Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna. – Warszawa, 1982. Łazuga W. Ostani stańczyuk. Michał Bobrzyński – portret konserwatysty. – Poznań, 1982. Walasek S. Działalność Waleriana Kalinki. – Wrocław, 1993. Barycz H. Stanisław Smolka w życiu i w nauce. – Kraków, 2000.

20. *Maternicki J.* Michał Bobrzyński wobec tzw. idei jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i jej uwarunkowania // *Przegląd Humanistyczny*. – 1977. – R. 21. – Nr.12. – S. 131–142. *Maternicki J.* Stanisław Smolka i powrót historiografii polskiej do mitu jagiellońskiego // *Przegląd Humanistyczny*. – 1989. – Nr.1. – S. 83–101. *Demkovič-Dobrzanskij M.* Potockij i Bobzyinski cisarski namisniki Galicini 1903-1913. – Rim, 1987.

21. *Jaskólski M.* Histotia – naród – państwo. Zarys syntezy myśli politycznej konserwatystów krakowskich w latach 1866–1934. – Wydz. Hist. – pr. Dokt. – Kraków, 1981. *Słoczyński H.M.* Poglądy Józefa Szujskiego na dzieje Polski. – T.1–2. – Wydz. Hist. – pr. Dokt. – Kraków, 1998. *Pijaj S.* Polacy wobec przemian ustrojowych w monarchii habsburskiej (Polityka polska w Wiedniu w latach 1866–1869). – pr. Dokt. – Kraków, 2000.

22. *Bobrzyński Michał* // *Słownik historyków polskich*. – Warszawa, 1994. – S. 47–48. *Bobrzyński Michał* // *Wielka encyklopedia PWN*. – T.4. – Warszawa, 2001. – S. 200. *Perkowska U.* Józef Szujski (1835–1883) // *Uniwersytet Jagielloński. Złota księga wydziału historycznego*. – pod red. J.Dybca. – Kraków, 2000. – S. 51–62. *Wyrozumski J.* Stanisław Smolka (1854–1924) // *Uniwersytet Jagielloński. Złota księga wydziału historycznego*. – pod red. J.Dybca. – Kraków, 2000. – S. 87–96. *Stanisław Smolka* // *Encyklopedia Krakowa*. – Warszawa-Kraków, 2000. – S. 907. *Józef Szujski* // *Encyklopedia Krakowa*. – Warszawa-Kraków, 2000. – S. 962. *Walerian Kalinka* // *Encyklopedia Krakowa*. – Warszawa-Kraków, 2000. – S. 354. *Bobrzyński Michał* // *Encyklopedia Krakowa*. – Warszawa-Kraków, 2000. – S. 72

Розділ IV

**Проблемна
історіографія**

Ю. А. ГОЛУБКИН

ДИСКУССИЯ О «РАННЕМ» ЛЮТЕРЕ И ЕГО «ОЗАРЕНИИ В БАШНЕ»

На протяжении нескольких последних десятилетий западные (преимущественно германские) теологи и историки уделяют пристальное внимание изучению «раннего», «дореформационного» Лютера. При этом ведется оживленная дискуссия о сущности и датировке т. наз. «*Türmerlebnis*» («озарения в башне»), в результате которого радикально изменились теологические взгляды Лютера, что, по мнению исследователей, повлекло за собой его превращение в реформатора. Характеристике этой дискуссии и посвящена настоящая статья. Публикуя ее, мы стремимся привлечь внимание отечественных историков к «раннему» Лютеру, который не был объектом специального исследования ни в дооктябрьской, ни в советской, ни в постсоветской историографии.

Башню, о которой неоднократно вспоминал Лютер, пристроили в 1504–1508 гг. к зданию виттенбергского монастыря августинцев-эремитов. Ее стены были массивными. Кроме того, в отличие от других строений монастыря, башня отапливалась. Поэтому в ней отвели помещение для занятий монаха, который читал в Виттенбергском университете лекции по библеистике («*lectura in biblia*»). С 1512 года оно стало рабочим кабинетом новоиспеченного доктора теологии Лютера. Там-то и произошло его «озарение». Свидетельства о нем встречаются в ряде его «Застольных речей» 30-х – 40-х годов XVI в.¹ Но самое обстоятельное воспоминание Лютера об этом поворотном моменте его духовной эволюции содержится в написанном им за год до смерти предисловии к первому тому своих латинских сочинений Виттенбергского издания².

В течение нескольких столетий историкам и теологам, изучавшим воззрения Лютера до 1517 г., доводилось довольствоваться этими источниками. И только в последней трети XIX – конце 20-х годов XX вв. в разных библиотеках и архивах были найдены новые материалы, которые давали возможность расширить и уточнить прежние представления об эволюции взглядов «раннего» Лютера. В 1874 г. была обнаружена его рукопись «Лекций о Псалмах» (1513–1515), в 1899 г. – лютеровский манускрипт «Лекций о Послании к римлянам» (1515–1516), в 1918 г. – студенческий конспект лютеровских «Лекций о Послании к галатам» (1516–1517), в 1929 г. – студенческий конспект лютеровских «Лекций о Послании к евреям» (1517–1518)³. Особый интерес исследователей вызвала

опубликованная в 1908 г. Йоганном Фиккером рукопись лютеровских «Лекций о Послании к римлянам»⁴. Наряду с этим тезисы диспутов «раннего» Лютера «О возможностях и воле человека без милосердия [Божьего]» (1516)⁵ и «Против схоластической теологии» (1517)⁶ давали возможность охарактеризовать его расхождения со схоластической теологией.

Некоторые из этих источников вскоре после их публикации попали в поле зрения доминиканца, архивариуса Ватиканского архива Генриха Денифле. Он получил широкую известность как исследователь аристотелевской философии, средневековой схоластики и мистики и истории средневековых университетов. В конце своей жизни Г. Денифле приступил к исследованию «раннего» Лютера. Результаты этой работы нашли отражение в его фундаментальном труде «Лютер и лютеранство в первой стадии развития, представленные на основе источников» и в приложениях к нему⁷. При характеристике теологических исканий «раннего» Лютера Г. Денифле уделил основное внимание его отношению к средневековой схоластике и мистике. Но при этом он, с одной стороны, пытался доказать, что будущий реформатор плохо знал труды крупнейших средневековых теологов, а с другой — стремился дать ответ на заведомо тенденциозный вопрос: когда и как Лютер покатился вниз по наклонной плоскости?⁸. В конечном счете все изыскания Г. Денифле свелись к осуждению морального облика Лютера и к обоснованию тезиса о том, что он выдвинул свое учение для того, чтобы без особых мук совести вести распутную жизнь.

Этот тезис был еще более заострен в работе иезуита Гартмана Гризара⁹, который возвестил, что Лютер может быть понят только как патологический феномен. Разумеется, такая оценка Лютера не представляла собой чего-то принципиально нового по сравнению с характеристикой, данной ему его современником, первым католическим биографом и автором около 200 антилютеровских сочинений Иоганном Кохлеем, который называл великого реформатора Иудой, церковным вором, богохульником, гадюкой, шмелем, дураком, свиньей, волком, бестией, желчью дьявола и т. д.¹⁰. Но вместе с тем следует отметить, что работы Г. Денифле и Г. Гризара способствовали пробуждению интереса как католических, так и протестантских исследователей к изучению эволюции взглядов «раннего» Лютера¹¹.

Из протестантских исследователей наиболее значительное влияние на изучение Лютера вообще и «раннего» Лютера в частности оказал берлинский профессор церковной истории Карл Голл. Блестящий теолог, историк, филолог, автор множества работ по истории древней Церкви, догматике, литургике, издатель трудов восточных Отцов Церкви, он вместе с тем, по общепринятому мнению, положил начало «Ренессансу Лютера» в XX столетии. Основанное в 1918 г. «Лютеровское общество» («Luthergesellschaft») избрало в 1925 г. Карла Голла своим председателем. В 1910 г. Карл Голл опубликовал статью, посвященную учению Лютера об оправдании верой,

которое, как считал автор, было сформулировано в «Лекциях о Послании к Римлянам»¹². В 1921 г. появился труд Карла Голла «Лютер»¹³. Это был сборник статей, который, однако, позволял составить цельное представление об учении и деятельности знаменитого реформатора. При характеристике «раннего» Лютера Карл Голл уделил главное внимание эволюции его взглядов, результатом которой стало знаменитое учение об оправдании верой. Это учение исследователь назвал «религией совести». Карл Голл утверждал, что «религия совести» представляет собой единую основу мысли Лютера. Исходя из этого, он отрицал неоднозначность взглядов «раннего» и «позднего» Лютера и считал, что его развитие шло чрезвычайно последовательно¹⁴.

Оценивая «Ренессанс Лютера», начало которому положил Карл Голл, известный историк из ГДР Макс Штейнмец писал, что это явление было не чем иным, как «... бегством из истории, от ее дальнейшего закономерного развития к социализму и коммунизму»¹⁵. Разумеется, характеристика учения Лютера как «религии совести» может быть названа односторонней, не соответствующей принципам историко-критического метода, столь популярного в немецкой историографии второй половины XIX — начала XX вв. Но, констатируя это, нам не следует забывать о том, что Карл Голл скептически воспринимал психологический, или, пожалуй, вернее сказать, психопатологический подход Г. Денифле и Г. Гризара к изучению Лютера, а также отверг безудержное восхваление реформатора националистически настроенными авторами. Наряду с этим Карл Голл выступил против попраania в современном ему мире общечеловеческих ценностей, против буйных всходов себялюбия, корыстолюбия и бессердечия и стремился дать духовную опору миллионам немцев, которые в последние годы Первой мировой войны и после ее окончания находились в состоянии отчаяния и духовной опустошенности, ощущали себя заброшенными и покинутыми не только людьми, а и Богом. Ведь в то время, когда появились работы Карла Голла о Лютере, философы уже окрестили XX век столетием кризиса, а те, которые были далеки от какой бы то ни было философии, смятенно вопрошали: почему милосердный и всемогущий Господь позволил совершиться такой чудовищной кровавой бойне? Вспомним литографию Эрнста Берлаха, созданную под впечатлением битвы при Вердене. Подпись под литографией гласит: «Anno Domini MCMXVI post Christum natum» («Год Господен 1916 по Рождеству Христову»). На переднем плане литографии изображены Христос и человек с искаженным мукой и укоризной лицом. За спиной у Христа — три голгофских креста, на которых были распяты Он Сам и два разбойника. «Неужели Твоя голгофская Жертва оказалась напрасной?» — недоумевает человек и выразительным жестом руки предлагает Христу взглянуть на изображенный слева от них нескончаемый лес крестов, под которыми покоятся те, кто погиб у Вердена.

В годы военных и послевоенных страданий Лютер представлялся надеждой, спасительной гаванью не только Карлу Голлу. «Кризис

культуры преодолет тот, — писал Хорст Степан, — кто знает более высокое, чем культура, кризис человека — тот, кто знает более высокое, чем человек. Поэтому стоим мы перед вопросом о Лютере. Не может ли он, призванный преодолеть кризис XVI столетия посредством нового восприятия Бога, как-нибудь вновь помочь сегодня?»¹⁶.

Одной из сторон «Ренессанса Лютера» стало интенсивное исследование его работ 1512—1518 гг. Первые университетские лекции и диспуты Лютера всесторонне анализировались в трудах Е. Фогельзанга, Р. Германа, Г. Тимме, П. Альтхауза¹⁷. Влияние средневековой теологии на формирование мировоззрения Лютера было основательно изучено Отто Шеелем¹⁸.

Пробуждение интереса к «раннему» Лютеру было в определенной степени также обусловлено тенденцией к сближению протестантов и католиков, которая наметилась после Первой мировой войны. Их диалог был возобновлен после Второй мировой войны. Уделяя пристальное внимание «раннему» Лютеру, протестантские и католические исследователи пытаются выяснить, что следует понимать под специфически «реформационным» и что отделило будущего реформатора от Римско-Католической Церкви. На этой основе они стремятся глубже понять те разногласия, которые еще существуют между протестантами и католиками, и преодолеть их¹⁹.

Но несмотря на обилие работ по названной теме, она до настоящего времени остается дискуссионной. Больше всего споров вызывают вопросы о сущности лютеровского «озарения в башне» и о датировке этого события. Перед обнаружением ранних лекций Лютера многие авторы считали, что его «озарение» произошло еще до посещения им Рима. Аргументы для такого утверждения они черпали на основе не критического анализа примечаний Лютера на полях «Сентенций» Петра Ломбардского. Но в XX веке исследователи пришли к выводу, что эти лютеровские примечания еще не выходили за рамки средневековой католической традиции²⁰. Первостепенное значение стало придаваться изучению вновь обнаруженных лекций Лютера. Исходя из их анализа, Отто Шеель и Карл Голл понимали под «озарением в башне» «открытие Евангелия Лютером» и относили это событие ко времени между осенью 1512 и летом 1513 гг.²¹. Ряд исследователей характеризует «озарение в башне» как «реформаторский поворот» Лютера, свидетельством чего, по их мнению, являются его «Лекции о Послании к римлянам» 1515—1516 гг.²². Вопреки этому, Альфред Лёппле отмечает, что «... первый горизонт религиозного освобождения Лютер увидел тогда, когда он весной 1516 г. познакомился с мистикой в немецких проповедях Иоганна Таулера»²³. Много споров вызвала книга Эрнста Бицера²⁴. Этот автор датирует «реформаторский поворот» Лютера весной 1518 года²⁵ и сводит его содержание к открытию Лютером Слова Божьего как средства Божественного милосердия, посредством которого в человеке пробуждается оправдывающая его вера. Именно это открытие, по мнению Э. Бицера,

стало водоразделом между дореформационной «теологией смирения» и «реформаторской теологией». Автор фундаментальной биографии Лютера в трех томах Мартин Брехт также считает, что проповедь дореформационной «теологии смирения» — это главная идея лютеровских лекций о Псалмах и о Послании к римлянам. Но центром новой, реформаторской теологии Лютера, по мнению М. Брехта, является признание Лютером того, что во Христе, Сыне Божьем — доподлинном Человеке и доподлинном Боге — нам безвозмездно, без каких бы то ни было наших заслуг Богом даруется праведность, мудрость и сила²⁶.

Некоторые исследователи говорят не о «реформаторском повороте», а о «реформаторском прорыве» Лютера. Ганс-Вальтер Крумвиде²⁷ датирует его 1515—1516 годами, Курт Аланд²⁸ относит его к 1517—1518 годам. В отличие от этих авторов Бернанд Лозе подчеркивает, что «реформаторский прорыв» Лютера следует понимать не как какое-то четко датируемое событие, а как растянувшееся на долгие годы созревание новых теологических представлений²⁹. В фундаментальной работе о лютеровской теологии Б. Лозе выделяет два этапа этой эволюции: зарождение ранней реформаторской теологии, о чем свидетельствуют первые лекции о Псалмах (1513—1515); разработка реформаторской теологии во время экзегезы Лютером посланий апостола Павла (1515—1518)³⁰. Отто Герман Пеш проводит различие между «реформаторским прорывом» и «реформаторским поворотом» Лютера. Первый он датирует весной 1518 г. и связывает его с рефлекторным осознанием Лютером уже отчасти отраженного в его ранних лекциях нового понимания правосудия Божьего. А второй он считает началом «достигшей полного рефлекторного осознания теологической переориентации», что повлекло за собой конкретные реформаторские выступления³¹. Дифференцированно подходит к оценке реформаторского учения Лютера и Маттиас Крёгер. Он считает, что лютеровские «Лекции о Послании к римлянам» уже не содержат схоластического понимания термина «правосудие Божие». Вместе с тем, по мнению этого автора, только в лютеровских «Лекциях о Послании к евреям» (1517—1518) нашло отражение новое понимание Слова Божьего и веры. Исходя из этого, М. Крёгер пытается разграничить историческое и систематическое содержание понятия «реформаторский». Под первым он понимает «озарение в башне», под вторым — позднейшую четкую, обобщенную лютеровскую трактовку новой теологии³².

Таковы основные трактовки содержания и датировки лютеровского «озарения в башне». Характеризуя эту разногласию мнений, Йоганн Бросседер пишет: «Сложнее обстоит дело с датировкой и содержанием так называемого «озарения [Лютера] в башне». Если попытаться оценить значение исследования Лютера по разноречивым результатам работы многочисленных исследователей этой проблемы, то от этого останется не что иное, как чувство разочарования»³³. С такой оценкой трудно согласиться. Ведь в результате более чем вековой целеустремленной, громадной

по своим масштабам работы множества исследователей высочайшей квалификации был проведен кропотливый текстологический анализ ранних работ Лютера, осуществлена их публикация, поставлен и решен широкий комплекс вопросов, относящихся к сложнейшей теме эволюции взглядов «раннего» Лютера. Но вместе с тем мы не можем не возразить против использования эпитета «реформаторский» в разных определениях, характеризующих сущность лютеровского «озарения в башне»: «реформаторское открытие», «реформаторский поворот», «реформаторский прорыв» и т. д. На наш взгляд, определения такого рода свидетельствуют о том, что и сторонники ранней датировки лютеровского «озарения в башне», и их оппоненты, склоняющиеся к его поздней датировке, по сути, считают Лютера единственным «творцом» Реформации, а Реформацию — плодом религиозных исканий ее «творца». Именно такую исходную позицию декларировал более полувека тому назад известный немецкий историк Герхард Риттер. «К исторически наиболее существенным признакам немецкой Реформации, — писал он, — относится то, что ее происхождение следует искать не в каких-то общественных конфликтах, а в чуждой миру замкнутости монастырской кельи, в сугубо личных муках совести одиноко борющейся со своим Богом человеческой души»³⁴. Но такой подход, исключающий рассмотрение Лютера как исторической личности, вне какой бы то ни было связи со временем, когда он жил, без учета тех изменений, которые произошли на рубеже XV—XVI вв. в разных сферах жизни германского общества и отразились в общественном сознании, вряд ли позволяет объективно оценить и его учение, и сущность такого сложного события, как Реформация. Ведь на протяжении истории возникала тьма-тьмущая новых идей. Многие из них возникали — и умирали вместе с теми, в чьих головах они зарождались. Быть же реализованной новая идея может лишь в том случае, если она отвечает назревшим общественным потребностям, становится достоянием широких слоев общества и получает их поддержку. К тому же громадное значение для реализации новой идеи имеет множество факторов общественной жизни, которые либо благоприятствуют, либо препятствуют этому. Поэтому при характеристике содержания лютеровского «озарения в башне» нам нужно отложить до поры до времени в сторону этикетки со словом «реформаторский» и прежде всего исходить из того, что говорил о нем сам Лютер.

Как уже отмечалось, самое обстоятельное воспоминание Лютера об «озарении в башне» содержится в написанном им предисловии к первому тому его латинских сочинений Виттенбергского издания 1545 г. В нем ни разу, ни в каких сочетаниях не встречается слово «реформаторский». Предисловие Лютера убедительно свидетельствует о том, что «озарение в башне» означало для него *обретение уверенности в собственном Небесном спасении*. Такой уверенностью он, по его словам, проникся в результате мучительных размышлений над содержанием семнадцатого стиха первой главы Послания апостола Павла к римлянам, в котором говорится

о правосудии Божьем. В отличие от традиционных схоластических представлений Лютер стал воспринимать это правосудие не как «активное», а как «пассивное», в соответствии с которым Небесное блаженство достигается человеком не посредством свершения им множества «добрых дел», подвигов благочестия и неукоснительного соблюдения Божественного закона, предписанного ему грозным, неумолимым Судией-Господом, а через веру в оправдание Божие. Таким образом, в соответствии с новым лютеровским истолкованием текста Рим. 17, 1, Небесное спасение не *заслуживается* человеком, а *даруется* ему без каких бы то ни было предварительных условий милосердным Богом. Иными словами, правосудие Божие стало восприниматься Лютером как дар, а не как исходящее от Бога наказание или оправдание.

Воспоминанием о своем «озарении», означавшем восприятие правосудия Божьего как Его милосердного дара, Лютер делился и в одной из «Застольных речей» 1532 года³⁵. В ней же содержится и важное дополнение Лютера о том, что составной частью его «озарения в башне» была также мысль о том, «что мы оправдываемся и спасаемся через Христа»³⁶. Об этом же Лютер рассказывал своим собеседникам и в 1540 году³⁷.

На наш взгляд, свидетельства Лютера о сущности его «озарения в башне» заслуживают полного доверия. Для того, чтобы подменять их собственными интерпретациями, у нас нет никаких оснований.

Сложнее обстоит дело с датировкой лютеровского «озарения в башне». Несомненно, оно произошло в какой-то определенный день и час. Но свидетельства Лютера о времени, когда свет истины озарил его сознание, не отличаются ни полнотой, ни исключающей всякие сомнения точностью. Большинство исследователей, вполне справедливо, отмечают, что этому «озарению в башне» предшествовала продолжительная, напряженная экзегетическая работа Лютера. В ходе ее в мозгу виттенбергского монаха и профессора вспыхивали искорки предположений, догадок, частных выводов. И очень часто исследователи принимают отдельные искорки за всепоглощающее пламя духовного прозрения Лютера. Отсюда ведут свое начало разные мнения о датировке лютеровского «озарения в башне».

Но возвратимся к воспоминаниям самого Лютера. В предисловии к первому тому собрания своих латинских сочинений Лютер говорит о том, что его «озарение в башне» произошло в то время, когда он во второй раз стал читать лекции о Псалмах, после лекций о Посланиях апостола Павла к римлянам, галатам и евреям³⁸. Последний из этих курсов читался Лютером в 1517-1518 гг. Кроме того, в своем предисловии Лютер пишет: «Между тем я в этом году возвратился к Псалтири, чтобы вновь истолковать ее...»³⁹. Непосредственно перед этим свидетельством Лютер вспоминал о своих переговорах с папским легатом Карлом фон Мильтицем, которые проходили 4–5 января 1519 г. Казалось бы, на основании этих фактов мы можем утверждать, что лютеровское «озарение в башне»

произошло в начале 1519 года. Но новое понимание «правосудия Божьего» могло возникнуть у Лютера не перед и не в начале, а в ходе чтения им во второй раз «Лекций о Псалмах». Этот курс Лютер прервал после 13 января 1521 г., в связи с тем, что он был вызван на Вормский рейхстаг⁴⁰. Таким образом, исходя из свидетельств Лютера, мы можем предположить, что его «озарение в башне» произошло в какой-то момент времени между 1519 – началом 1521 гг.

Что же касается исследования эволюции взглядов «раннего» Лютера, то, по нашему мнению, при этом следует сконцентрировать внимание на анализе его первых лекций и диспутов и выяснить: содержится ли в них критика вероучения, культуры и институтов Римско-Католической Церкви и предложения, касающиеся обновления церковной жизни в соответствии с теми изменениями, которые произошли в разных сферах жизни Западной Европы и германских земель на рубеже XV–XVI вв.

Примечания

1. WA TR. – Bd. 3. – Nr. 3232; WA TR. – Bd. 4. – Nr. 4007; WA TR. – Bd. 5. – Nr. 5247; WA TR. – Bd. 5. – Nr. 5518.

2. WA. – Bd. 54. – S. 185-186; Мы цитируем это предисловие по изданию: Luther Deutsch/ Hrsg. von Kurt Aland. – Bd. 2. – Göttingen, 1981. – S. 11–21.

3. См. об этом: Boehmer H. Luther im Lichte der neueren Forschung. – Leipzig, 1910. – S. 29.

4. Luther, Martin. Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516/ Hrsg. von Johannes Ficker. – Teil I: Glossen; Teil II: Scholien. – Leipzig, 1908.

5. Luther, Martin. Quaestio de viribus et voluntate hominis sine gratia disputata (1516) // WA. – Bd. 1. – S. 145–151.

6. Luther, Martin. Disputatio contra scholasticam theologiam (1517) // WA. – Bd. 1. – S. 224–228.

7. Denifle, Heinrich. Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung quellenmäßig dargestellt. Ergdnzt von Albert Maria Weiss O. P. – Bd. I-II. – Mainz, 1904–1905; Ergbd. I. – Mainz, 1906; Ergbd. II. – Mainz, 1904.

8. См.: Boehmer H. Luther im Lichte... – S. 45.

9. Grisar H. Luther. – Bd. I-III. – Freiburg in Breisgau, 1911–1912; 1924/ 25 (mit Sonderbd. der Nachträge).

10. Цит. по: Horkel W. Lutherförschungen einst und heute. – Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft evangelische Akademiker AEA, 1986. – S. 2.

11. См. об этом: zur Mühlen, Karl-Heinz. Zur Erforschung des «jungen Luther» seit 1876 // Luj. – 50, 1983. – S. 53–60.

12. Holl K. Die Rechtfertigungslehre in Luthersvorlesungen über Römerbriefvorlesung // ZThK. – 20, 1910. – S. 245-291.

13. Holl K. Luther. – Tübingen, 1921.

14. См. об этом: Bornkam H. Luther im Spiegel der deutschen Geistesgeschichte. – Heidelberg, 1955. – S. 78.

15. Steinmetz M. Probleme der frühbürgerlichen Revolution in Deutschland in der ersten Hälfte des 16. Jahrhundert // Die frühbürgerliche Revolution in Deutschland. – Berlin, 1961. – S. 36.

16. Stephan H. Luther in den Wandlungen seiner Kirche: 2. Aufl. – Berlin, 1951. – S. 89–90.

17. Vogelsang E. Die Bedeutung der neu veröffentlichten Hebräervorlesung Luthers von 1517/18. – Tübingen, 1930; Hermann R. Luthers These «Gerecht und Sündler zugleich». – Güttersloh, 1930; Timme H. Christi Bedeutung für Luthers Glauben. Unter Zugrundelegung des Römer-, des Hebräer-, des Galater – Kommentar von 1531 und der Disputationen. – Güttersloh, 1933; Althaus P. Paulus und Luther über den Menschen. Ein Vergleich. – Güttersloh, 1938.

18. Scheel O. Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reformation. – 2 Bde. – Tübingen, 1916–1917.

19. Сборник работ известных исследователей о «прорыве реформаторского познания» Лютера издал Б. Лозе. См.: Der Durchbruch der reformatorischen Erkenntnis bei Luther/ Hrsg. Von Bernhard Lohze. — Darmstadt, 1968.

20. См. об этом: Schmidt, Kurt Dietrich. Grundriß der Kirchengeschichte: 9. Aufl. – Güttingen, 1990. – S. 280.

21. См. об этом: Heussi K. Compendium der Kirchengeschichte: 18. Aufl. – Tübingen. – S. 280.

22. См.: zur Mühlen, Karl-Heinz. Luther II // TRE. – Bd. 21. – S. 532.

23. Липпе А. Martin Luther. – Мюнхен и Зюрих, 1982. – S. 102.

24. Bizer E. Fides ex auditu. Eine Untersuchung über die Entdeckung der Gerechtigkeit Gottes durch Martin Luther: 3. Aufl. – Neukirchen, 1966.

25. Ibid. – S. 190.

26. Brecht M. Martin Luther. – Bd. 1. – Stuttgart, 1990. – S. 223.

27. Krumwiede, Hans-Walter. Die Wiederentdeckung des Evangeliums durch Luther und die Reformation der Kirche (1515–1527) // JGNKG. – 68, 1970. – S. 183–207.

28. Aland K. Der Weg zur Reformation. – Мюнхен, 1965.

29. Lohse B. Von Luther bis zum Konkordienbuch // Dogma und Bekenntnis in der Reformation: Handbuch der Dogmen und Theologiegeschichte. – Bd. 2. – Güttingen, 1998. – S. 18.

30. Lohse B. Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang. – Güttingen, 1995. – S. 8.

31. Pesch, Otto H. Zur Frage nach Luthers reformatorischer Wende // Der Durchbruch der reformatorischen Erkenntnis bei Luther... – S. 499–500.

32. Kroeger M. Rechtfertigung und Gesetz. Studien zur Entwicklung der Rechtfertigungslehre beim jungen Luther. — Güttingen, 1968. – S. 26.

33. Бросседер И. Мартин Лютер (1483–1546) // Классики теологии. Эпоха Реформации и Контрреформации / Пер. с нем. Ю. А. Голубкина. – Харьков, 2005. – С. 15.

34. Ritter G. Die Neugestaltung Europas im 16. Jahrhundert. Die kirchlichen und staatlichen Wandlungen im Zeitalter der Reformation und Glaubenskämpfe. – Berlin, 1950. – S. 74.
35. WA TR. – Bd. 3. – Nr. 3232 c.
36. Ibid.
37. WA TR. – Nr. 5247.
38. Luther, Martin. Vorrede zu Band I der lateinischen Schriften... – S. 19.
39. Ibid.
40. Ibid. – S. 21.

Список сокращений

- JGNKG – Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte
- Lu – Lutherjahrbuch
- TRE – Theologische Realenzyklopädie
- WA – D. Martin Luthers Werke: kritische Gesamtausgabe. – Weimar, 1883 ff.
- WA TR – D. Martin Luthers Werke: kritische Gesamtausgabe: Tischreden. – Weimar, 1912–1921
- ZThK – Zeitschrift für Theologie und Kirche

С.И. ЛИМАН

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ ПРОБЛЕМА В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ И. В. ПЛАТОНОВА (1803–1890)

В отечественной историографии, посвященной Кириллу и Мефодию, особым периодом её развития являются 1860-е — первая половина 1880-х гг. Именно на эти годы пришёлся пик исследований о жизни и деятельности славянских первоучителей. Работы этого периода носили главным образом юбилейный характер. Они были вызваны тремя «тысячелетними юбилеями» славянских первоучителей: началом их миссионерства в Великой Моравии (1863), смерти Кирилла (1869), смерти Мефодия (1885). Эта тенденция была характерна для всех региональных научных центров Российской империи, в том числе для её южных университетов. Из 30 работ, изданных по данной тематике учёными Харькова, Киева, Одессы, 27 были написаны и опубликованы в период с 1862 по 1885 г. Эти данные позволяют нам скорректировать известное утверждение о том, что юбилеи солунских братьев являлись лишь «дополнительным стимулом» для изучения их жизни и деятельности [1, с. 233]. Применимо к региональным исследованиям мы считаем указанные юбилеи не дополнительным стимулом, а основным.

Особое место в отечественной литературе о Кирилле и Мефодии принадлежало Ивану Васильевичу Платонову (1803–1890). В настоящее время это имя почти забыто. О его вкладе в изучение жизни и деятельности солунских братьев молчат обобщающие издания по истории славистики. В коллективном исследовании «Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян» его имя лишь упомянуто в перечне фамилий авторов кирилло-мефодиевской литературы, которая «носила церковно-исторический характер» [1, с. 233]. И лишь в статье В.И. Кадеева и С.Ю. Страшнюка «Балканистика в Харьковском университете (1805–1917 гг.)» признаётся, что деятельность И.В. Платонова наряду с деятельностью его коллеги П.А. Лавровского «завершает первый этап изучения южных славян в Харьковском университете» [2, с. 44]. Что касается справочной и мемориальной литературы [3, с. с. 277–278; 4, с. 279–281; 5, с. 147], то в ней изложены лишь биографические сведения, не всегда, впрочем, точные.

Таким образом, цель данной статьи — заполнить существующий пробел в историографии и на максимально доступном источниковом материале представить результаты изучения И.В. Платоновым жизни и деятельности

славянских первоучителей. Такой анализ позволит выяснить реальную роль харьковского учёного в развитии дореволюционной региональной и общероссийской науке о Кирилле и Мефодии.

Научно-педагогическая деятельность И.В. Платонова (Холмогорова) неразрывно связана с Харьковом. Выпускник Вифанской духовной семинарии и Московской духовной академии, он после заграничной научной командировки выдержал экзамен на степень доктора законоведения Петербургского университета и в том же 1835 году был назначен в Харьковский университет [5, с. 147]*. Здесь, на юридическом факультете, И.В. Платонов преподавал сначала по кафедре государственного и публичного права, а с 1837 г. занял кафедру законов благоустройства и благочиния государственного в качестве экстраординарного профессора. В 1848 г. он становится ординарным профессором той же кафедры, на которой будет преподавать до самой своей отставки в 1856 г. [4, с. 279]**. Мотивы добровольной отставки И.В. Платонова точно неизвестны; лишь в «Сообщении» о его кончине уклончиво говорится о том, что он «за выслугу срока оставил службу при университете из принципа, чтобы дать место молодым силам» [3, с. 278]. После отставки учёный остался в Харькове и посвятил себя как науке, так и общественной деятельности, тесно связанным друг с другом.

Как следует из «Обзрений преподавания предметов» в Харьковском университете И.В. Платонов читал различные курсы — «Уставы о гражданской службе», «Законы о состоянии», «Уставы благоустройства государственного», «Уставы благочиния», «Законы о финансах», а с 1839/1840 уч. г. до самой своей отставки — бессменный курс «Законы благоустройства и благочиния государственного» [6, с. 4; 7, с. 8; 8, с. 18]. Таким образом, его многолетняя преподавательская деятельность не была непосредственно связана с тематикой его последующих исследований о славянских первоучителях.

Вообще, особенностью изучения И.В. Платоновым деятельности Кирилла и Мефодия являлось то, что все свои труды по данной тематике он написал уже после того, как покинул Харьковский университет. Есть все основания утверждать, что не только юбилеи солунских братьев, но и основательное духовное образование сыграли большую роль в создании И.В. Платоновым его трудов. «В России деятельность солунских братьев и их учеников изучали представители двух областей: славяноведения и богословия», — утверждал С.Б. Бернштейн [9, с. 22]. Не относясь

* По другим данным степень доктора прав он получил в Петербургском университете в 1840 г. за диссертацию «О действиях российского правительства в отношении к сельскому хозяйству» [4, с. 280].

** Наряду с 1856 год, как годом отставки И.В. Платонова упоминается и другая дата — 4 февраля 1857 г. [4, с. 45].

непосредственно к первому из направлений, И.В. Платонов с полным основанием может быть причислен ко второму.

Первый из юбилеев Кирилла и Мефодия (1863 г. — тысячелетие их миссионерства в Великой Моравии) накладывался на другой юбилей — 1000-летие образования Русской государственности. Как писал об этом И.В. Платонов, «по исследованиям учёных, 862-й год есть та замечательная эпоха, когда на севере отечество наше начало слагаться в государственный строй, а на юге два солунских уроженца, Кирилл и Мефодий, изобрели славянские письма и вслед за тем начали переводить на славянский язык божественное писание» [10, №6, с. 281]. Совпадение юбилеев также следует считать одной из причин активности учёного. Тема объединения Киевской Руси и подвижничества солунских братьев удачно вписывалась и в панславистские идеи, широко распространившиеся в то время в обществе и научной славистике. Они являлась в свою очередь составной частью глобальной проблемы взаимоотношений православного Востока и католического Запада. Прозападные реформы 60-х и контрреформы 80-х гг. также оказывали влияние на тон работ, не меняя, впрочем, их предостерегающего содержания.

Уже в 1862 году в журнале «Духовный вестник» и отдельно вышел очерк И.В. Платонова «Жизнь и подвиги первоучителей славянских, Кирилла и Мефодия». Очерк хотя и являл по сути пересказ ряда известных источников (Паннонские жития, Житие Св. Климента, письма папы Иоанна VIII и др.), тем не менее, сопровождался подробнейшим научным комментарием. Этот комментарий составлял около половины текста самой работы и раскрывал ряд острых дискуссионных вопросов. Не все из них нашли исчерпывающее отражение в изданном А.Е. Викторовым в 1858 г. обзоре источников о деятельности Кирилла и Мефодия. При этом труд И.В. Платонова увидел свет раньше, чем известная публикация О.М. Бодянского «Кирилл и Мефодий. Собрание памятников до деятельности святых первоучителей и просветителей славянских племён относящихся. Паннонское житие Кирилла» (1863—1866).

И.В. Платонов первым из историков региона столь подробно передал политическую обстановку, сложившуюся в IX в. как в самой Византийской империи, так и в тех странах, в которых суждено было проповедовать солунским братьям. В связи с этим автор весьма настойчив в своих попытках показать, какими политическими целями руководствовалась Византия, направляя в эти страны миссионеров православия. По мнению И.В. Платонова эти цели сводились к тому, чтобы «приблизить их к себе единением веры, смягчить жестокие их нравы и из страшных соседей сделать их преданными союзниками и подручниками» [10, №6, с. 290—291]. «Расчёты политические» наряду с религиозными, преследовал, по мнению И.В. Платонова, и великоморавский князь Ростислав, боровшийся против немецких притязаний. «Не естественно ли было, — указывал учёный, — обратиться к византийскому двору с прошением о наставлении в вере, дабы вероисповедным

союзом вызвать и утвердить союз политический?» [10, № 7, с. 326]. Таким образом, несмотря на юбилейный характер своего труда, И.В. Платонов первым из региональных историков столь рельефно подчеркнул политические цели, как Византии, так и Ростислава. Однако независимо от выводов И.В. Платонова, почти одновременно с ним, именно на политические цели было обращено внимание киевского учёного Ф. Лебединцева, автора научно-популярной статьи «О жизни и трудах Св. Кирилла и Мефодия» [11, с. 549].*

Панегирический тон и частые антизападные выпады И.В. Платонова почти не оказали существенного воздействия и на ряд других его выводов. «Некоторым хотелось бы сделать первоучителей наших чистыми славянами, — с недоумением отмечал учёный. — Но для подобного утверждения нет положительного и несомненного основания» [10, №6, с. 301]. Опровержению мнения М.П. Погодина о славянском происхождении Кирилла и Мефодия он посвятит впоследствии отдельную статью, в котором, подкрепил свою мысль тщательным анализом ряда текстов («Житие Св. Кирилла», «Житие Климента», латинское сказание о Св. Кирилле и Мефодии из католических «Acta sanctorum» и т.д.). [12]. Помимо вопроса об этнической принадлежности солунских братьев, автор в своей монографии подробно включился в обсуждение историографической дискуссии о «двух Мефодиях» [10, №7, с. 354—355] и отверг высказанное некоторыми историками мнение о том, будто Мефодий проповедовал в Польше [10, № 8, с. 589].

И.В. Платонов старался избегать излишне упрощённых оценок в вопросе отношения к солунским братьям со стороны современных им римских пап. Тёплый приём, оказанный Кириллу и Мефодию в Риме Адрианом II, принятие им книг на славянском языке и освящение изобретённой Кириллом азбуки, — все эти факты, описанные автором, свидетельствовали в пользу его исследовательской объективности. В то же время они не затеняли той острейшей борьбы, которую вело против миссионеров православия католическое духовенство и немецкие феодалы в Моравии. Поэтому общая концепция о неизбежности острой борьбы западно-католического и восточно-православного влияний остаётся у И.В. Платонова неизменной. Даже смерти Кирилла в Риме он придавал огромный символический смысл: «Промыслу Божию, конечно, угодно было положить подвижника восточного православия в столице римского неправоверия для того, чтобы западная церковь, отступившая от единства веры, носила в собственных недрах постоянного обличителя её неправомыслия и неумолкающего увещателя к восстановлению единства церквей» [10, № 8, с. 568]. Эта доктрина не подвергалась автором деформации и в дальнейшем. Научные споры в литературе о Кирилле

* Статья Ф. Лебединцева была опубликована лишь месяцем спустя после выхода работы И.В. Платонова. В ней автор однозначно считал императора организатором миссии солунских братьев.

и Мефодии могли вестись по самым разным вопросам, не затрагивая при этом общей идеологической и политической линии, установившейся в многовековом споре двух церквей.

Повод к острым антипапским высказываниям зачастую давал и сам Римский престол своими попытками направить чествование памяти Кирилла и Мефодия в нужное ему русло. Изданная с этой целью в 1880 г. папой Львом XIII «Энциклика» вызвала весьма резкую реакцию И.В. Платонова. Начавшиеся в Российской империи контрреформы, несомненно, усиливали критический тон его книги «Анти-энциклика, или братское слово православного славянина к славянам католикам» (1882). Эта книга должна была противодействовать стремлениям католических иерархов «усвоить себе исключительно личности и заслуги Солунских Вероучителей, отторгая их от Востока» [13, с. 2].

«Анти-Энциклика» И.В. Платонова являла собой типичную полемическую работу, в которой автор выделил наиболее сложные узлы противоречий между католическими и православными историками деятельности Кирилла и Мефодия. К таковым относились: степень влияния папства на миссионерскую деятельность солунских братьев; их отношение к Римскому престолу; их место в католической иерархии; действительные цели папства, разрешившего богослужение в Моравии на славянском языке; обстоятельства и значение погребения Кирилла в папском Риме; условия, в которых проходила дальнейшая деятельность Мефодия.

Выясняя отношение солунских братьев к двум церквам, И.В. Платонов стремился доказать, что в IX в. ещё не было резкого различия между ними, хотя между папой и патриархом происходили уже «враждебные столкновения». Уже в силу этого он считал неуместными претензии западных авторов, считавших, будто Кирилл и Мефодий были католиками, а не православными и «всецело отдали себя Западу» [13, с. 2–3]. Если в первой своей книге И.В. Платонов выделял политическое значение миссионерской деятельности Кирилла и Мефодия, то в «Анти-Энциклике» основное внимание было обращено на церковно-богословские вопросы. Центральное место здесь харьковский учёный отводил дискуссии об отношении славянских первоучителей к католическому догмату об исхождении Святого Духа и от Бога Сына. Привлечённые И.В. Платоновым источники (Письмо Иоанна к Собору в Константинополе, «Исповедание Веры» Кирилла и Мефодия из Болгарского письма Московской Синодальной библиотеки) позволили ему отвергнуть мнения католических славистов о том, что солунские братья клялись в Риме «исповедовать святому веру Христову по разумению и чину Римской церкви» [13, с. 17]. Более того, по мнению автора, Мефодий не только «непреложно исповедовал догмат по учению Вселенской церкви, но и самого папу заставил признать и одобрить его исповедания, хотя и под некоторым прикрытием» [13, с. 26]. В разрешении же папством славянского языка в богослужении И.П. Платонов склонен был видеть, прежде всего, давле-

ние на Рим «внешних обстоятельств», таких как страх «ущерба для власти» и угрозы «отпадения целых областей» [13, с. 82].

Весьма резкий тон заключения «Анти-Энциклики» явно бросал вызов тем католическим авторам, которые знали русский язык. «Ваше празднество в честь Кирилла и Мефодия, — отмечал И.В. Платонов, — нам представляется скорее поруганием их памяти, чем прославлением, скорее кощунством, чем актом благочестия» [13, с. 119]. Эти слова вызвали новый виток исторических дискуссий. Мишенью научных филиппик И.В. Платонова стал хорватский католический епископ Й.Ю. Штроссмайер. В своё время епископ выступал против принципа непогрешимости папы и даже добивался от России помощи в борьбе хорватов против австрийских Габсбургов [14, с. 133, 138]. Однако даже такой «послужной список» Й.Ю. Штроссмайера не удержал И.В. Платонова от желания оспорить содержание «Пастырского послания» епископа, в котором тот высказал несогласие с рядом утверждений харьковского учёного.

И.В. Платонов опубликовал обширный «Ответ автора «Анти-Энциклики» на последовавшие противу неё со стороны католичества возражение» (1884). Не все богословские вопросы «Ответа» касались истории Кирилла и Мефодия, хотя и нельзя не признать той тщательности, с какой автор аргументировал каждый свой тезис. И всё же в пылу полемики И.В. Платонов, подобно епископу Й.Ю. Штроссмайеру, в ряде случаев впадал в очевидные крайности. Если католический пастырь голословно настаивал на «не прерывавшемся в западной церкви почтительном отношении к имени Свв. Первоучителей славян», то харьковский учёный склонен был усматривать в этом отношении «одни враждебные отношения пап к славянскому делу и его началоположникам и поборникам, Свв. восточным пришельцам» [15, с. 91–92]. Верный в предыдущих своих работах тезису о политических причинах миссионерской деятельности солунских братьев, И.В. Платонов не развил данного тезиса в настоящей работе и не учёл политической ситуации в Западной Европе во второй половине IX в. На обломках распавшейся Каролингской империи, в эпоху яростных норманнских вторжений, папство оказалось единственной интернациональной силой, способной сплотить Западную Европу. В связи с этим его гонения на славянскую церковь в Моравии были априори лишь составной частью той борьбы, которая велась против ряда единоверных Риму правителей, а в скором времени будет вестись им и против самих германских королей. И.В. Платонов же склонен был видеть в этой борьбе папства лишь восточное её направление, лишь религиозный её смысл. Поэтому учёный откровенно отмечал, что его работа направлена не против славян-католиков, а против «иерархии католической, издавна и в особенности в нынешнее время, задавшей слишком смелою мыслию притянуть весь православный славянский род к подножию папского престола» [15, с. 129]. «Мы ведём брань не с пасомыми..., а с их пастырями...», — указывал И.В. Платонов в другом месте [15, с. 130],

разъясняя, таким образом, современникам и потомкам смысл своего научного вклада в изучение деятельности славянских первоучителей.

Отметим, что этот вклад был высоко оценен в ряде отечественных рецензий. Труды И.В. Платонова, по мнению И.С. Пальмова (И.П.), стали наиболее обстоятельным ответом католикам и являли собой «сжатое и достаточно полное опровержение папских доводов и притязаний на усвоение Св. Кирилла и Мефодия Риму» [16, с. 29]. В таком же духе была выдержана и рецензия П. Сырку на болгарский перевод «Антиэнциклики» И.В. Платонова. Книга эта, — отмечал рецензент, — «путеводная звезда среди ловитвенных сетей католических, как в самой Болгарии, Восточной Румелии и Македонии, так и в Западной Европе» [17, с. 95]. «Антиэнциклика» И.В. Платонова была хорошо известна и обер-прокурору Священного Синода К.П. Победоносцеву. Письма к нему, обнаруженные нами в фондах Института рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского, не только отражали стремление харьковского учёного своей «Антиэнцикликой» способствовать «к отражению нелегитимного католичества» и его «враждебного движения», но и содержали в себе призывы И.В. Платонова действовать более решительно в борьбе с «неугомонным папством» [18, л. 1 — 2].

Критическое изучение источников о деятельности Кирилла и Мефодия И.В. Платонов осуществлял на протяжении всей своей научной деятельности. При этом он стремился оперативно пресекать попытки отдельных отечественных учёных представить солунских братьев авторами чужих сочинений. «Некоторые, желая приумножить оставленные ими в наследство сокровища духа, — отмечал харьковский учёный в одной из своих статей, — стали приписывать нашему Кириллу и книгу, известную на Западе под названием *Apologi S-ti Cyrilli* или притчей св. Кирилла, и в защиту славянских прав на неё печатать учёные статьи» [19, с. 378]. Подробнейший источниковедческий разбор указанных притчей позволил И.В. Платонову прийти к заключению, что они «не только не принадлежат нашему Кириллу, но и ни одному из Кириллов греческих и даже вообще греческому миру...» [19, с. 400]. Учёный представил неопровержимые доказательства немецкого происхождения источника и датировал его XV столетием. И хотя И.В. Платонов оставил открытым вопрос о реальном авторе притчей, приёмы его источниковедческой работы, сравнительный метод, текстологический анализ, наконец, объективность общих выводов свидетельствовали о высочайшем профессиональном уровне учёного.

Исследования И.В. Платонова оказались востребованы его современниками. На наш взгляд, именно эта область его деятельности привела к тому, что учёный в декабре 1863 г., семь лет спустя после своей отставки, был удостоен звания почётного члена Харьковского университета [4, с. 279]. Уже в качестве этого почётного члена И.В. Платонов развернул энергичную деятельность в новосозданном Кирилло-Мефодиевском братстве (КМБ). Оно действовало по всей России, в том числе в Харькове.

Общество собирало пожертвования на строительство храма в честь солунских братьев, который предполагалось соорудить в г. Остроге (Волынь). В Харькове сбор этих пожертвований (не менее 20 копеек и не более 1 рубля серебром в год) проходил в доме И.В. Платонова, в Черноглазовском переулке [20, с. 475, 480]. Исполняя должность старшего братчика КМБ, И.В. Платонов являлся реальным организатором празднования в Харькове юбилеев Кирилла и Мефодия. В рубрике «Известия» журнала «Духовный вестник» за 1866 год сохранилось описание праздничных торжеств 11 мая: «Святой восторг был общим чувством всех почтивших празднование памяти угодников. Не знаем, много ли подобных восхитительных и блаженнотворных зрелищ может представить изобретательный на удовольствия мир... У старшего братчика Кирилло-мефодиевского братства, И.В. Платонова, собралось, в вечеру, несколько почитателей имени первоучителей, внесших свои вклады на святое и общепольное дело братства» [21, с. 597, 599]. На этом собрании говорилось о расширении благотворительной и образовательной деятельности КМБ, дальнейшем распространении знаний о жизни и деятельности солунских братьев.

Творчество И.В. Платонова затронуло все, наиболее важные, аспекты кирилло-мефодиевской проблемы, включая основные этапы жизни и деятельности славянских первоучителей, разбор основных источников, посвящённую им научную дискуссию. Конфессионализм, которым было проникнуто это творчество, не помешал учёному выделить в первую очередь политические цели Византии и Ростислава в миссии Кирилла и Мефодия. И.В. Платонов успешно преодолел многие крайности отечественной науки. Он опровергал утверждения о славянском происхождении солунских братьев, отвергал их авторство над некоторыми неправоммерно приписываемыми им сочинениями, выступал против намеренного расширения географии их подвижничества. Рассматривая эти проблемы на протяжении более чем двадцати лет своего творчества, И.В. Платонов положил начало специальному научному изучению деятельности Кирилла и Мефодия в Харьковском университете и историческому направлению кирилло-мефодиевских исследований в украинских землях Российской империи в целом. В связи с этим нуждается в уточнении утверждение современного украинского историографа С.А. Копылова о том, что «новый этап в исследовании кирилло-мефодиевской проблематики в Украине начало исследование профессора Харьковского университета П. Лавровского (1827–1886)» [22, с. 205]. Между тем, славист П.А. Лавровский лишь спустя год после своего университетского коллеги И.В. Платонова и студента Киевского университета И. Пигулевского*

* Опубликовано в 1862 г. студенческое сочинение И. Пигулевского «Деятельность Св. Константина (Кирилла) и Мефодия среди фракийских, македонских и булгарских славян» было отмечено золотой медалью историко-филологического факультета, несмотря на естественную для издания такого рода компилятивность ряда выводов.

опубликовал свою работу «Св. Кирилл и Мефодий как православные проповедники и учителя у западных славян» (1863). Данная работа, в отличие от творчества И.В. Платонова, хорошо известна современной отечественной историографии, однако не с неё начинаются харьковские исследования о Кирилле и Мефодии и новый этап этих исследований в Украине. С полным основанием заслугу эту следует приписать именно И.В. Платонову. В общероссийской славистике его имя достойно стать в один ряд с авторами важнейших сочинений и комментариев XVIII–XIX вв. о жизни и деятельности солунских братьев от Феофилакта Лопатинского до О.М. Бодянского, П.А. Лавровского и А.Д. Воронова.

Литература

1. *Славяноведение* в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. — М.: Наука, 1988. — 400 с.
2. *Кадеев В.И., Страшнюк С.Ю.* Балканистика в Харьковском университете (1805–1917) // *Etudes Balkaniques*. — 1991. — №3. — С. 38–51.
3. *Сообщение* о кончине И.В. (Холмогорова) Платонова // *Исторический вестник*. — 1890. — Т. 42. — №10. — С. 277 — 278.
4. *Юридический факультет* Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805 - 1905). — Х.: Тип. «Печатное дело», 1908. — 310 с.
5. *Платонов Иван Васильевич* // *Русский биографич. словарь*. — М., 2001. — Т. 12. — С. 147.
6. *Обозрение* публичного преподавания наук в императорском Харьковском университете по определению Совета, от 17 августа 1836 по 30 июня 1837 года. — Х.: В университетской тип., 1836. — 12 с.
7. *Обозрение* преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 1839/40 учебный год. — Х.: В университетской тип., 1839. — 12 с.
8. *Обозрение* преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 1856/57 учебный год. — Х.: В университетской тип., 1856. — 32 с.
9. *Бернштейн С.Б.* Cyrillo-methodiana в России // *Уч. записки Тартуского гос. ун-та*. — 1983. — Вып. 649. — С. 22–29.
10. *Платонов И.* Жизнь и подвиги первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. // *Духовный вестник*. — 1862. — №6. — С. 281–310; №7. — С. 311–356; № 8. — С. 545–611.
11. *Лебединцев Ф.* О жизни и трудах Св. Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских // *Киевск. епарх. ведомости*. — 1862. — № 16. — Отд. 2. — С. 537–557.
12. *Платонов И.* Кто были наши первоучители Св. Кирилл и Мефодий, славяне или греки? // *Духовный вестник*. — 1866. — № 2. — С. 199–218.
13. *Платонов И.* Анти-энциклика, или братское слово православного славянина католикам, по поводу издания папою Львом XIII буллы о

праздновании памяти Св. Кирилла и Мефодия. — Х.: Тип. Окружного штаба, 1882. — 127 с.

14. *Фрейдзон В.И.* Две беседы Й.Ю. Штротсмайера с российскими дипломатами // *Славяноведение*. — 2004. — № 1. — С. 132–140.

15. *Платонов И.* Ответ автора «Анти-Энциклики» на последовавшее противу неё со стороны католичества возражение. — Х.: Тип. Окружного штаба, 1884. — 133 с.

16. *И.П. (Пальмов)* [Рецензия] // *Изв. СПб. Славянского благотворительного общ-ва*. — 1884. — № 11. — С. 27–29. — Рец. на кн.: Платонов И. Анти-энциклика, или братское слово православного славянина католикам, по поводу издания папою Львом XIII буллы о праздновании памяти Св. Кирилла и Мефодия. — Х.: Тип. Окружного штаба, 1882. — 127 с.

17. *Сърку П.* Антиэнциклика в болгарском переводе // *Изв. СПб. Славянского благотворительного общ-ва*. — 1885. — № 2. — С. 95.

18. *Платонов Ив[ан]* [Победоносцеву Константину Петровичу]. Письмо из Харькова в Петербург 28 июня 1882 г. — *Институт Рукописей Национальной библиотеки Академии Наук Украины им. В.И. Вернадского*. — Ф. XIII. — Ед. хр. 5538. — 2 л.

19. *Платонов И.* Исследования об апологах или притчах Св. Кирилла // *Журнал мин-ва народн. просвещения*. — 1868. — № 5. — С. 378–404.

20. *Платонов И.* Известие о Кирилло-Мефодиевском братстве // *Духовный вестник*. — 1865. — Т. 12. — С. 474–480.

21. *Церковное празднество* в Харькове в день святителей Кирилла и Мефодия // *Духовный вестник*. — 1866. — № 8. — С. 594–602.

22. *Копилов С.А.* Проблеми історії слов'янських народів в історичній думці України (остання третина XVII — початок XX ст.). — Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2005. — 464 с.

С.И.МИХАЛЬЧЕНКО

**М.В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКИЙ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
И ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО**

История Великого княжества Литовского (ВКЛ) в последнее время вновь становится объектом внимания отечественной исторической науки. В связи с этим закономерен и особый интерес к историографии этого государства. Одним из первых историков досоветской эпохи, обратившихся к изучению Великого княжества Литовского, был Митрофан Викторович Довнар-Запольский (1867–1934).

Довнар-Запольский обратился к истории Великого княжества Литовского, влекомый интересом к прошлому родной для него земли – Белоруссии. Первые его заметки по истории края появились в газете «Минский листок» в 1888 г. под названием «Белорусское прошлое»*, а уже в 1889–1890 гг. выходят его «Очерки истории Белоруссии» [2, 3]. Всего по истории Великого княжества Литовского Довнар-Запольским опубликовано несколько десятков работ [4, 5, 6, 7, 8].

Одной из первых проблем истории ВКЛ, к которой обратился историк, была проблема образования этого государства.

Следует отметить, что вопросы образования Великого княжества Литовского, периодизация его истории (критерии выделения периодов и содержание их) ставились и по-своему решались уже дворянскими историками в работах середины XIX в. [9, 10] Наиболее четко очерченный вариант периодизации был предложен П.Д. Брянцевым в 1889 г. Брянцев обобщил исследования своих предшественников, в качестве критерия им брались «внешние» факторы, в основном, правление великих князей и внешнеполитические события: первый период («легендарный») от первого появления литовцев на историческом поприще до первой попытки их «образовать ... самостоятельное государство» (середина XIII в.), второй период, с середины XIII в. до Кревской унии ВКЛ и Польши и смерти великого князя Витовта в 1386 г., третий период, 1386-1569 г. (Люблинская уния и образование Речи Посполитой), четвертый период, 1569 – конец XVIII в. (разделы Речи Посполитой) (Брянцев писал историю Литвы, а не ВКЛ). Содержа-ние, вкладываемое Брянцевым в эти периоды, лежало исключительно в области политической истории [11, с. 5–6].

* Напечатано также в кн. [1].

Довнар-Запольским эта периодизация была в значительной степени заимствована, но наполнена новым содержанием, хотя экономика еще не всегда выходила на первый план. Если Брянцев рассматривал историю ВКЛ как часть истории Литвы, то для Довнар-Запольского уже с самых первых работ был характерен подход к истории ВКЛ, как к части истории белорусского государства и народа. Поэтому первый период у него — одновременно часть «удельно-вечевого» этапа российской истории. Поскольку будущая Белоруссия образовалась на территории Полоцкого, Смоленского и Турово-Пинского княжеств, то неслучаен интерес историка именно к ним. Эти княжества населяли племена кривичей и дреговичей. Историю кривичей и дреговичей Довнар-Запольский анализировал под воздействием концепции Н. И. Костомарова — В.Б. Антоновича. Период с XI до половины XIII в. («первый естественный период в истории древней Руси») [8, с. 59] представлялся ему временем борьбы двух начал. Так, он утверждал, что «заметны два различных течения: стремление первых киевских князей централизовать русские земли в своей власти, и затем, когда Русь достаточно сплотилась, — движение обратное, децентрализационное» [4, с. 97]. Последнее виделось историку в желании «отдельных этнографических групп к ... установлению у себя самостоятельного государственного устройства» [4, с. 97, 98].

По мнению Довнар-Запольского, этнографические различия между племенами были основной движущей силой развития Древней Руси, причем, «этнографическое различие племен мешало во все продолжение древнейшего периода к слиянию в одно целое. Это различие поддерживалось неудобствами географического положения, занятого Русью» [1, с. 320]. И хотя Довнар-Запольский справедливо признавал, что «препятствия эти по существу весьма незначительны», это не мешало ему делать вывод о том, что «они, несомненно, имели важное влияние в древности, которое сказывается по настоящее время» [1, с. 320].

Рассматривая предысторию ВКЛ, то есть «удельно-вечевой период» истории Руси, Довнар-Запольский отмечал две его характерные черты: во-первых, вслед за Костомаровым, усиление веча и развитие общественного самосознания племен; во-вторых, вслед за Соловьевым, борьбу главных городов с пригородами и борьбу князей между собой. И здесь он фактически дословно повторяет вывод Костомарова, сделанный последним в заключение статьи «Мысли о федеративном начале в древней Руси»: начала вечевого уклада и самостоятельности областей, — писал Довнар-Запольский, — могли привести к соединению Руси на чисто федеративных основах, с полной областной самостоятельностью», но этот процесс был приостановлен монгольским завоеванием и Литвой [1, с. 324; 13, с. 30]. Причем, «русские без боя подчинялись литовским князьям, напротив, они даже сами приглашали к себе князей из Литвы», — полагал Довнар-Запольский [1, с. 326].

В «Белорусском прошлом» Довнар-Запольский высказал также развитое им позже замечание о том, что «основы древнерусской жизни имели решающее значение для последующей жизни» Великого княжества Литовского [1, с. 323].

Таким образом, в ранних работах Довнар-Запольский сравнительно мало внимания уделил проблеме образования ВКЛ, основной упор делая на изучение ранней истории Белоруссии. Однако отдельные мысли, высказанные им в этих публикациях 1888–1891 гг. (написанных под сильным воздействием идей Костомарова)*, были развиты ученым в трудах более позднего времени.

Вновь Довнар-Запольский обратился к истории создания ВКЛ уже в магистерской диссертации «Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах» (Киев, 1901. — Т. 1). К этому времени в отечественной литуанистике активно дискутировались, среди прочих, два вопроса: во-первых, добровольным или насильственным путем попали в состав ВКЛ русские земли (ставшие позднее украинскими и белорусскими); во-вторых, насколько единым было вновь образованное государство, носило ли оно федеративный характер.

Так, В.Б. Антонович полагал, что русские земли были завоеваны Литвой [15, с. 8–9]. Под влиянием Костомарова Антонович говорил о борьбе двух начал — русского и литовского в первый период жизни ВКЛ. «Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав ВКЛ, попытки их к взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга, составляют главный интерес, преисполненный по временам высокого драматизма», — подчеркивал Антонович [16, с. 5]. М.Ф. Владимирский-Буданов и Ф.И. Леонтович выступили с иными взглядами. Так, например, Леонтович отмечал, что о завоеваниях может быть речь только в «начальную пору» образования территории литовского государства. Но «прибегать к завоеваниям не было ни-какой надобности там, где гнетущие бытовые условия старого времени, *volens-nolens*, должны были заставлять русские земли и русских князей вступать в союз, а затем и добровольно подчиняться власти сильных и энергичных литовских вождей» [17, с. 29].

Более решительно за добровольный характер вступления русских земель в ВКЛ высказался М.К.Любавский. «Литва присоединила к себе эти земли не столько путем завоевания и насилия, — утверждал он, — ... без подавления внутренней самобытности и с сохранением внешнего единства и обособленности» [18, с. 27; 19; 20, с. 41–42], в связи с этим логично выглядел один из главных выводов Любавского. Он утверждал, что бывшие русские земли «заняли в нем отдельное от собственной Литвы положение, как самостоятельные части государства, объединенные только в единой верховной власти. Их государственно-правовое положение в связи с

* Об идеях Костомарова см. подробнее [14].

правительственным устройством их, носившим на себе печать старинной особенности и самобытности, делало их похожими на члены политической федерации» [18, с. 26].

Через два года после выхода в 1892 г. труда Любавского, Леонтович опротестовал его выводы, поскольку, по мнению Леонтовича, «федерация в точном смысле государственного союза предполагает не только политическую самобытность федеративных частей, но и «единство жизни», постоянство и прочность федеративных связей, основанных не на временных и условных рядах и докончаниях..., а на прочном, органическом, государственном законе», чего, как казалось автору, в ВКЛ не было [17].

Таким образом, в середине 90-х годов XIX в. существовало два основных взгляда как на проблему образования ВКЛ, так и на характер устройства этого государства. Они оказали серьезное воздействие на Довнар-Запольского. В «Государственном хозяйстве» он расширил свое толкование форм вхождения русских земель в ВКЛ, высказав точку зрения, которая является доминирующей и в современной науке. «Некоторые земли действительно были присоединены мирным путем, — следовал, казалось, за Леонтовичем Довнар-Запольский, но затем добавлял, — другие, выдержав предварительную борьбу с литовцами, подчинилось им на договорных началах, и, наконец, небольшая группа земель составила несомненную добычу великих князей литовских» [6, с. 12; 21, с. 97–98; 22, с. 123; 23; 24, с. 69–78]*. Причем, именно неодинаковость путей вхождения территорий в ВКЛ определяла, по мнению историка, последующую разницу в их положении в государстве. Часть территории вошла как автономные «земли» (Киевская, Витебская, Полоцкая), часть — как удельные княжения. Различия между ними были минимальные, сходство же заключалось в том, что они пользовались полной автономией, находясь «почти в одинаковых отношениях к центральной власти», которой (особенно в начальный период существования ВКЛ) совсем не существовало» [6, с. 83–84].

Таким образом, Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. представляет собой «конгломерат и земель и княжений. Во главе тех и других стоит вотчина великого князя. Она составилась из родового владения Гедиминовичей, собственной Литвы, и ряда завоеванных или по тому или иному случаю выделенных городов и волостей среди различных русских земель, так что вотчина не представляет собою сплошной территории. Вотчинная территория составила собственность господаря. Русские земли вошли в состав государства посредством договора, хотя иногда он и являлся договором сильного со слабым. Удельные княжения и в этом отношении

*В науке есть и иные точки зрения. Так, И. Б. Греков настаивал на добровольном вхождении русских земель в ВКЛ [25, с. 18]. Напротив, В.Т. Пашуто выступал сторонником насильственной инкорпорации [26, с. 301].

заняли положение, сходное с землями. Известная часть их присоединилась на основании договора; другие... скоро превращаются в вотчины князей и регулируются теми же началами, на основании которых присоединились к государству удельные князья, исконные вотчинники своих уделов, т.е. на договорных началах. Вот почему, — заключал историк, — все государство можно признать построенным на федеративном начале» [6, с. 84, 85].

Однако после возражений Леонтовича на «федеративную» концепцию Любавского Довнар-Запольский, видимо, учитывая эти возражения, сделал уточнения о своеобразии литовской федеративности*. «Своеобразие этой государственной организации заключается в известного рода отступлении от чистой схемы федеративного строя, — утверждал он. — Так, отношения господаря к землям имеет некоторые свойства личной унии: и Смоленск, и Полоцк, и другие земли — отчина великого князя, сидящего в Вильне и Троках; но эти земли — государственные территории, и права отчинника ограничены в них договором, хотя и носящим внешнюю юридическую форму уставной грамоты». Продолжая рассуждать, он впервые для себя вводит термин «феодалные отношения». Понимание историком этого термина было традиционным для науки того времени: отношения вассалитета-сюзеренитета. Именно поэтому он уверенно сравнивал два, казалось бы, разнопорядковые понятия: феодальный (т.е. подчиненный) и федеративный (т.е. равноправный): «Не отрицая известного влияния феодальных понятий в древнейшее время в собственно Литве, нельзя, однако, распространять их на междукняжеские отношения Литовско-Русского государства, т. к. здесь не выработалось определенной общей схемы личных отношений вассала к сюзерену и, наконец, принцип вотчинности княжеской власти и смешение его, как это было и в древности на Руси, с государственным началом противоречили бы условному характеру феодального землевладения». Поэтому, по мнению ученого, «термин федеративного государства имеет большее право на приложение его к государственному строю литовской Руси» [6, с. 85].

Установлению в ВКЛ федеративного строя способствовал, по мнению Довнар-Запольского, так называемый принцип старины, т.е. заимствование основ государственной жизни из древней Руси [8, с. 88]. А поскольку там (по Костомарову) едва не развился федеративный строй, то заимствование зачатков федеративности облегчило установление ее в Великом княжестве Литовском [18, с. 380—381].

Итак, что же представляло собой ВКЛ в XIV—XV веках? По мнению Довнар-Запольского, это был «весьма пестрый состав земских общин, удельных княжений и вотчины господаря великого князя литовского, сложившийся, в свою очередь, путем соединения родовых и частью племенных групп литовского племени» (в связи с этим представляется

* Пашуто считал, что это была «неравноправная федерация» (Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хороскевич А.Л. Указ. соч. — С. 29). См. также [26, с. 92].

преувеличением утверждение М. Ючаса об отрицании Довнар-Запольским роли литовского элемента в формировании ВКЛ [28, с. 77]). «Весь этот конгломерат территорий объединяется под властью в. князя литовского, — продолжал автор. — Но это объединение в первое время не было органическим: земли находятся под властью господаря, и каждая их них считает его своим князем, а князь является вотчинником каждой отдельной земли: земская община вступает в особое соглашение со своим князем. По отношению к удельным княжениям между в. князем и удельными устанавливаются личные договорные начала» [6, с. 800]. И так, в «Государственном хозяйстве» и написанном под его влиянием очерке в коллективном издании «Россия» Довнар-Запольский настаивал на федеративном характере ВКЛ, понимая под этим равные отношения между землями и княжениями, а также между великим князем и удельными князьями.

Эта концепция оказала влияние и на трактовку автором событий истории ВКЛ XVI века. Довнар-Запольский посвятил им многие страницы своих работ*. Его интересовали как вопросы экономики, так и политики этого времени.

Интерес исследователя к XVI в. был неслучаен, он подчеркивал, что «в половине XVI в. истаринный общественный и экономический строй Западной Руси претерпевает значительные перемены: выработанные веками формы его претворяются в новые. Сущность этой переработки бытовых условий заключалась в следующем. Разнообразные отряды населения объединяются в строго сословные группы — шляхетство, мещанство и крестьянство. Новая социальная группировка совпадает с коренными изменениями в экономическом быту: охотничьи промыслы постепенно уступают свое первенствующее место земледелию и скотоводству, что совершается под влиянием новых потребностей западноевропейского рынка» [6, с. 157]. В другой работе историк назвал XV–XVI вв. высшим этапом в развитии торговли в ВКЛ [29, с. 66]. По мнению Довнар-Запольского, эволюция трех составных частей государственной структуры ВКЛ (земель, удельных княжений и вотчины господаря) проходила по пути известной консолидации («отпадают отдельные княжения») [6, с. 802] и превращения вотчины великого князя в государственный домен [6, с. 160]. Иначе говоря, частнопредовой элемент постепенно уступает свое место государственному. Казалось, подобные заявления полностью отвечают постулатам «государственной школы» (вероятно, это и позволило Любавскому, а следом за ним Перцеву, Копысскому и Чепко заявить о преобладании во взглядах Довнар-Запольского государственно-предовой концепции [30; 31, с. 22, 31]). Однако эволюция к экономическому детерминизму, свойственная историке в начале XX в., по моему, ясно проявляется при объяснении причин перехода к государственным отношениям. По справедливому мнению Довнар-Запольского, «этот

* В основном это работы 1897–1905 гг.

распад старого порядка и нарастание нового является следствием не только причин политических, но и совершается на почве коренных изменений в экономическом строе страны» [6, с. 803]. Продолжая настаивать на «коренном значении дре-внерусских начал в деле образования Литовско-Русского государства» [6, с. 803], с одной стороны, и явно оставаясь верным идее единства (в основных проявлениях) исторического процесса*, с другой, Довнар-Запольский, рассматривая эволюцию ВКЛ, характеризующуюся кризисными изменениями в XVI в., и на Литву фактически распротранял теорию Рожкова о переходе от натурального хозяйства к денежному, как причине кардинальных изменений в экономике.

По мнению автора, с переходом к земледелию происходит «перераспределение в сфере поземельной собственности ... на условиях службы. Государство покрывлось массой земельных собственников, число которых и владения которых стали быстро разрастаться. Пока основой хозяйства были промыслы, помещик являлся только сборщиком даней, но когда экспорт сельхозпродуктов стал получать все большее и большее развитие, помещик превращается в сельского хозяина, и тогда поземельное владение приобретает совершенно иной смысл и характер» [6, с. 803].

Параллельно с изменениями в экономике происходили и изменения в политике. Сосуществование литовского и русского начал уже с конца XIV в. (т.е. с Кревской унии) дополняется, по Довнар-Запольскому, проникновением польского начала. Однако Довнар-Запольский не пошел здесь слепо за Антоновичем и, особенно, Н.П. Дашкевичем, которые рассматривали привносимые с запада новшества, как совершенно чужеродные строю ВКЛ [33]. Довнар-Запольский, верный позитивистской теории постепенности, эволюционизма в развитии, внутренней обусловленности государственных процессов, сделал верный, как представляется, вывод не столько о заимствовании нового содержания (имелась в виду, прежде всего, Реформация и зачатки товарно-денежных отношений), сколько о придании новых форм уже вызревшему на местной почве явлению. Он писал: «Взвешивая идейное содержание западнорусской культуры перед реформационным движением и экономическое состояние государства перед тем, как оно вошло в круг экономической эволюции, охватившей Западную Европу, все-таки нельзя не признать, что местная жизнь Литовско-Русского государства представляла готовую почву и в том, и в другом отношении. Вот почему, наблюдая быструю переработку государственного строя в половине XVI века, — заключал он, — мы и в данном случае склонны видеть в этой деятельности не простое заимствование, но претворение старых начал согласно нарастающим

* Он писал, что экономический переворот «находится в тесной связи с теми изменениями в экономической области, которые одновременно поколебали западноевропейский экономический строй» [6, с. 803].

новым условиям жизни» [6, с. 804]. (Везде подчеркнуто мной. — С. М.) (Довнар-Запольский был склонен рассматривать даже магдебургское право, как органически присущее и необходимое явление жизни ВКЛ, хотя тогда был распространен взгляд Владимирского-Буданова и Леонтовича об искусственности и чужеродности этого права для Украины и Белоруссии [34]).

Еще более решительно высказался Довнар-Запольский в 1906 г., подчеркнув, что «новые условия жизни медленно нарастали в самом государстве и из Польши брались лишь те черты, которые подходили к жизни Литвы и Руси», причем «древнерусские особенности быта развивались и воспринимали черты польского, в том случае, если последние находились в соответствии с первыми» [8, с. 88; 18, с. 381; 26, с. 300–301].

Довнар-Запольский верно определил, что «выработанный в течение полутора столетий государственный строй, слившись с Речью Польской, застыл в новых формах как раз тогда, когда в Западной Европе шла переработка средневековых форм жизни» [6, с. 807].

Таким образом, Довнар-Запольский и при изучении тенденций экономического и политического развития ВКЛ в первой половине XVI в. руководствовался теми же принципами старины и федеративности, что и при изучении более ранних периодов истории этого государства.

Литература

1. *Довнар-Запольский М.В.* Исследования и статьи. — К., 1909. — Т. 1.
2. *Календарь Северо-Западного Края на 1889 г.* — М., 1889
3. *Календарь Северо-Западного Края на 1890 г.* — М., 1890.
4. *Довнар-Запольский М.В.* Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII в. Киев, 1891.
5. *Довнар-Запольский М.В.* Западнорусская сельская община в XVI ст. — СПб., 1897.
6. *Довнар-Запольский М.В.* Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. — К., 1901. — Т. 1.
7. *Довнар-Запольский М.В.* Очерки по организации западнорусского крестьянства в XVI в. — К., 1905.
8. *Довнар-Запольский М.В., Шендрик А.З.* Исторические судьбы Верхнего Поднепровья и Белоруссии и культурные их успехи // Россия. — СПб., 1905. — Т. 9.
9. *Турчинович О.* Обзор истории Белоруссии с древнейших времен. — СПб., 1897.
10. *Коялович М.* Лекции по истории Западной России. — М., 1864.
11. *Брянцев П.Д.* История Литовского государства с древнейших времен. — Вильна, 1889.
12. *Довнар-Запольский М.В.* Белорусское прошлое // Исследования и статьи.

13. *Костомаров Н.И.* Исторические монографии и исследования. — М., 1872. — Т. 1.
14. *Рубач М.А.* Федералистические теории в истории России // Русская историческая литература в классовом освещении. — М., 1930. — Т. 2.
15. *Антонович В.Б.* Предисловие // Акты Юго-Западной России. — К., 1870. — Ч. VI. — Т. II.
16. *Антонович В.Б.* Монографии по истории Западной и Юго-западной России. — К., 1885. — Т.1.
17. *Леонтович Ф.И.* Очерки истории литовско-русского права. Образование территории Литовского государства. — СПб., 1894.
18. *Любавский М.К.* Областное и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского статута. — М., 1892
19. *Пресняков А.Е.* Лекции по русской истории. — М., 1939. — Т. II. — Вып. 1.
20. *История Литовской ССР с древнейших времен до наших дней.* — Вильнюс, 1978.
21. *Лаппо И.И.* Западная Россия и ее соединение с Польшею в их историческом прошлом. — Прага, 1924.
22. *История Белорусской ССР.* — Минск, 1954. — Т. 1.
23. *Исторические корни дружбы и единение украинского и белорусского народов.* — К., 1978.
24. *История БССР.* — Минск, 1981. — Т. 1.
25. *Греков И. Б.* Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. — М., 1963.
26. *Пацутто В.Т.* Страны прибалтийского региона // Новосельцев А.П., Черепнин Л.В., Пашуто В.Т. Пути развития феодализма. — М., 1972.
27. *Шабильдо Ф.М.* Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. — К., 1987.
28. *Ючас М.* Русские историки о Великом княжестве Литовском // Труды АН ЛитССР. Сер. А. — 1960. — Т. 2(9).
29. *Доўнар-Запольскі М.В.* Соцыяльна-эканамічная структура Літоўска-Беларускай дзяржавы у XVI—XVII ст. // Гістарычна-Археалёгічны зборнік Інстытуту Беларускае Культуры. — Менск, 1927. — Т.1.
30. *Любавский М.К.* Отзыв на «Государственное хозяйство..» — СПб., 1904
31. *Перцаў В.Н.* Гістарычная думка у Беларусі у XIX — пачатку XX ст. // Весті АН БССР. Сер. грам. навук. — 1997. — № 2.
32. *Копыцкий З.Ю., Чепко В.В.* Историография БССР: Эпоха феодализма. — Минск, 1986.
33. *Дашкевич Н.П.* Заметки по истории Великого княжества Литовского. — К., 1887.
34. *Леонтович Ф.И.* Сословный тип территориально-административного состава Литовского государства и его причины. — СПб., 1895.

М.А. РУДНЕВ

**«КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС» В ПРЕДРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
В НАУЧНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ КАМПАНИЯХ
КОНЦА 1920-Х – 1930-Х ГОДОВ
(Н.М. ДРУЖИНИН CONTRA М.Н. ПОКРОВСКИЙ)**

Среди знаковых фигур советской исторической науки особое место по праву принадлежит академику Н.М. Дружинину, чей более чем столетний жизненный путь и многообразное научное наследие в той или иной мере служат яркой иллюстрацией практически всех этапов ее драматической истории. По словам Н.В. Иллерицкой, одного из авторов коллективного трактата «Советская историография» (М., 1996), – подготовленного и изданного в РГГУ под редакцией Ю. Афанасьева и сочетающего в себе характерный для общей концепции «радикальный демократизм» образца поздней «перестройки» с некоторыми глубокими обобщениями и меткими характеристиками историографического процесса – Н.М. Дружинин, профессиональная деятельность которого «целиком развернулась в советское время», «в качестве основного принципа в выборе проблематики научных исследований... еще в самом начале своей научной карьеры сформулировал для себя понятие актуальности», и поэтому «стремление разрабатывать именно актуальные темы» было присуще ему «всю жизнь» (?) [4, с. 175–176]. И далее: «Такое понимание целей научного познания вывело начинающего историка в конце 20-х гг. на исследование наиболее актуальных для того периода проблем: история революционного движения; история крестьянства и деревни; история крестьянского вопроса – которые необходимо было связать с архисложным делом периодизации истории капиталистических отношений в России» [4, с. 176].

Первым шагом будущего советского академика по реализации столь обширной исследовательской «программы» – и одновременно отправной точкой его профессиональной карьеры – стала монография «Журнал земледельцев» (1858-1860)», написанная в 1923 г. и опубликованная в 1926–1927 гг. в «Трудах» и «Ученых записках» Института истории РАНИИОН. Сорок лет спустя, в мемуарном очерке «Воспоминания и мысли историка» (1967), подготовленном им к собственному восьмидесятилетию юбилею, Н.М. Дружинин следующим образом излагает содержание своего монографического дебюта: «Первым опытом моей исследовательской работы была небольшая монография о «Журнале

земледельцев» 1858–1860 гг., сословно-дворянском органе, отразившем различные взгляды помещичьего класса на подготавливаемую реформу крепостного права» [1, с. 39].

«Журнал земледельцев», ставший в начале 1920-х гг. предметом исследовательского интереса Н.М. Дружинина, издавался казанским и пензенским помещиком А.Д. Желтухиным и был тесно связан с деятельностью губернских комитетов. В историографии это региональное сословное издание зачастую относили к крепостническим органам печати, хотя историки консервативного направления (прежде всего С.С. Татищев в своем двухтомном трактате «Император Александр Второй. Его жизнь и царствование» (СПб., 1903)) более «расплывчато», но при этом гораздо более обоснованно определяли его как журнал, защищавший дворянские интересы [3, с. 205].

Главным концептуальным выводом дружининской монографии стала констатация присутствия на страницах данного издания двух «борющихся» друг с другом идейных течений. Одно из них характеризуется Н.М. Дружининым как «основное и преобладающее, в котором отразился новый дух бодрого и энергичного предпринимательства», а второе – как «более слабое и бледное, которое нашло в себе отживающие черты патриархально-потребительской идеологии» [2, с. 77]. Другими словами, с точки зрения начинающего советского историка, «Журнал землевладельцев», отражавший социально-классовые интересы поместного дворянства в предреформенной исторической ситуации, не может быть однозначно идентифицирован как орган консервативной печати.

Именно научный объективизм, в полной мере присущий монографическому дебюту Н.М. Дружинина, а также фактическое отсутствие в нем каких-либо обличительных публицистических штампов, спровоцировали предельно резкую и, по сути, переполненную политическими обвинениями критическую реакцию со стороны тогдашнего главы большевистских историков и партийно-идеологического функционера М.Н. Покровского, чья «погромная» (определение из родного для него терминологического арсенала российского «освободительного» движения) статья была опубликована 17 марта 1929 г. в газете «Правда».

По словам Н.М. Дружинина (из «Воспоминаний и мыслей историка»), «к этому времени М.Н. Покровский и руководители Коммунистической академии пришли к выводу, что РАНИИОН, где работали члены партии совместно с беспартийными учеными (в том числе представителями старой буржуазной профессуры) отжила свое время, а исследовательскую работу и подготовку профессуры следует передать Комакадемии» [1, с. 43]. Поскольку даже «не все ученые-коммунисты разделяли это мнение», то Покровский, как отмечает его давний непримиримый оппонент, в своей «хлесткой» статье в «Правде» «обрушился на исследования трех беспартийных сотрудников [РАНИИОН – М.Р.] – старшего, среднего и молодого возраста, в том числе С.Б. Веселовского (впоследствии академика)»,

а также историка-марксиста П.Ф. Преображенского и самого Н.М. Дружинина [1, с. 44].

Разбор «персонального дела» начинающего историка-марксиста, решившегося, по ироническому выражению М.Н. Покровского, на «реви-зию» «не марксизма и ленинизма, а всего только старого либерального взгляда, что «Журнал землевладельцев» — крепостнический орган», большевистский научный функционер начинает с саркастического изложения ключевой аргументации дружининской монографии. Вкладывая в уста Н.М. Дружинина «наивный вопрос» («Какие же крепостники, когда «абсолютное большинство» [кавычки М.Н. Покровского — М.Р.] за выкуп [земельных наделов крестьянами — М.Р.]?»), Покровский сразу же «снимает» его при помощи безапелляционного контраргумента: «Между прочим, автор отлично знает, что писать прямо в защиту крепостного права после рескриптов Александра II было нецензурно..., а что под выкупом земли фактически скрывался выкуп личности, это знает каждый студент» [2, с. 409]. По убеждению лидера большевистских историков, приводимые Н.М. Дружининым многочисленные и обширные цитаты из публикаций в «Журнале землевладельцев» явным образом противоречат его ключевому концептуальному тезису об идейном «плюрализме» этого издания («границы» которого определялись защитой социально-классовых интересов дворянского сословия) при доминировании в нем консервативно-реформистской идеологии: «Одна за другой проходят перед читателем цитаты из «Журнала землевладельцев», из которых прет крепостнический дух» [2, с. 409].

В завершение соответствующего сюжета своего газетного историографического доноса М.Н. Покровский приводит самую «криминальную», с его точки зрения, цитату из монографии начинающего историка-марксиста: «В «Журнале землевладельцев» «перед нами выступал великорусский центр как некоторое экономическое единство, как цельный комплекс хозяйственных отношений» [2, с. 409]. Обыгрывая особенности лексического состава вышеприведенной цитаты, М.Н. Покровский выносит не подлежащий обжалованию идеологический приговор ее автору: «Не то чтобы выступала классовая борьба и лютое эксплуататорство. Нет, просто «комплекс» добрых великорусов: все равно как вот теперь у французов и негров в Конго — комплекс» [2, с. 409].

На обыгрывании полисемантического слова «комплекс» Покровский выстраивает итоговое резюме своего историографического доноса: «Профессор Веселовский комплексируется с Лешковым и Беляевым (Чичерин или Кавелин были бы для него слишком марксисты); профессор Преображенский [в своей работе по истории раннего христианства — М.Р.] комплексируется с Виппером; их ученик Дружинин комплексируется с помещиками, которые сознательно готовили в 1861 году систему земельного ростовщичества. Какое торжество комплексного метода!» [2, с. 409]. Таким образом С.Б. Веселовскому и П.Ф. Преображенскому глава

большевистских историков ставил в вину «всего лишь» концептуальную солидарность с «реакционными» (антимарксистскими) историками прошлого (XIX век) и современности (эмигрант Р.Ю. Виппер), в то время как с Н.М. Дружининым дело обстояло гораздо серьезнее — ему было инкриминировано, ни много ни мало, единство взглядов с помещиками-крепостниками эпохи подготовки крестьянской реформы 1861 г.

Через 38 лет после описываемых событий бывший оппонент М.Н. Покровского и «фигурант» его историографического доноса позволил себе весьма краткий и сдержанный ретроспективный комментарий «по сути» тогдашних идеологических нападков в свой адрес и собственной концептуальной позиции: «Покровский приписал мне внеклассовую точку зрения на помещичью программу... и сочувственную характеристику их классовых требований... В моей статье [? — М.Р.] не было ни того ни другого: на протяжении всей статьи я прослеживал классовый характер позиции, занятой помещиками, и нигде не выражал сочувствуя этой программе» [1, с. 43]. Свой ответный шаг Н.М. Дружинин характеризует следующим образом: «Я не мог молча пройти мимо этих обвинений и тогда же, в марте 1929 г., написал спокойный по тону и обоснованный по содержанию ответ М.Н. Покровскому» [1, с. 43]. Весьма показательна характеристика 81-летним академиком Дружининым (через 38 лет после описываемых событий) драматической судьбы своей статьи-ответа М.Н. Покровскому: «К сожалению, я не мог при создавшейся обстановке [! — М.Р.] напечатать этот ответ и должен был ограничиваться тем, что дал познакомиться с ним директору и некоторым сотрудникам Музея революции СССР, где я работал ученым секретарем» [1, с. 44]. (Если верить сведениям, приводимым профессором МГУ В.А. Федоровым в биографическом очерке «Дружинин Николай Михайлович», опубликованном в монументальном энциклопедическом словаре «Историки России. Биографии» (М., 2001), будущий академик в том же марте 1929 г. все-таки направил в «Правду» свою статью главе большевистских историков под заголовком «Письмо в редакцию (Ответ М.Н. Покровскому)», однако она была отклонена или, скорее всего, попросту проигнорирована редакцией центрального партийного органа) [5, с. 603].

Крайне любопытным историографическим (и, одновременно, историко-биографическим) фактом представляется также то обстоятельство, что текст дружининского «Письма в редакцию...» был опубликован только в 1979 г., т.е. через 50 (!) лет после написания, в приложении ко второму изданию «Воспоминаний и мыслей историка», когда его автор уже перешагнул 90-летний рубеж своего жизненного пути. Однако в данном случае мы, скорее всего, имеем дело с субъективным фактором, который можно охарактеризовать как «самоцензуру».

Содержащее отповедь М.Н. Покровскому письмо в «Правду» автор монографии о «Журнале землевладельцев» начинает исполненным чувства собственного достоинства решительным заявлением по поводу идеологиче-

ских инсинуаций главы большевистских историков, который облыжно «приписал» ему позицию «апологета дворянско-крепостнических по-ползновений дореформенного периода»: «... статья М.Н. Покровского дает неправильное представление о моей работе и порочит мое имя как историка...» [2, с. 98].

Разумеется, главная «линия защиты» от идеологических обвинений со стороны большевистского научного функционера строилась Н.М. Дружининым на утверждении полного соответствия концептуального содержания его первой монографии — в частности, вывода о том, что «Журнал землевладельцев» не был «крепостническим органом», — учению исторического материализма или, согласно его собственной формулировке, «материалистической концепции» (примечательно, что будущий академик ни разу не упоминает о «марксизме»): «Исследование о «Журнале землевладельцев»... преследовало определенную задачу: на конкретном анализе сословно-дворянских мнений подтвердить правильность новой материалистической концепции о крестьянской реформе 1861 г.» [2, с. 98]. (В данном случае у современного исследователя возникает неизбежный вопрос о степени искренности подобного заявления Н.М. Дружинина: действительно ли уже в 1923 г. (время написания монографии) априорный научно-исследовательский приоритет состоял для него именно в том, чтобы «подтвердить правильность» какой бы то ни было «материалистической концепции»?).

Заявленную им «новую» концепцию истории крестьянской реформы 1861 г. Н.М. Дружинин формулировал следующим образом: «В свете этих данных [из его монографии — М.Р.] начавшаяся ликвидация крепостных отношений объясняется не «гуманной политикой внеклассовой государственной власти», а экономическими интересами господствующего сословия: процесс капитализации неуклонно толкал заинтересованных помещиков на смену барщины и «внешнеэкономического принуждения» [2, с. 98]. (Именно в этом — и ни в чем ином! — Н.М. Дружинин усматривает «материальную» (экономическую) подоплеку антикрепостнической направленности «Журнала землевладельцев»).

Основную часть неопубликованного ответа Покровскому занимает обоснование ключевого концептуального тезиса «инкриминируемой» (собственная формулировка Н.М. Дружинина) монографии, состоящего в том, что «Журнал землевладельцев» не был «крепостническим органом». Соответствующая авторская аргументация производит двойственное впечатление: наравне с научно-логическими доводами будущей академик активно использует имеющиеся идеологический статус, марксистские философско-исторические формулы, «налагаемые» им на конкретную историческую проблему — с целью верификации и «реабилитации» своей концепции.

По словам самого Н.М. Дружинина, он «пришел к выводу, что прежнее определение этого журнала как «крепостнического органа» поверхностно

и неверно, так как исходит из наивного противопоставления «крепостников» — «либералам» и совершенно игнорирует руководящую тенденцию дворянских проектов» [2, с. 98]. «Журнал землевладельцев» — не «крепостнический орган», — резюмирует будущий академик, — «прежде всего, потому, что он не является журналом определенного и строго выдержанного направления: это своеобразная журнальная трибуна, к услугам которой обращались представители разнообразных оттенков дворянской мысли, начиная от тверских либералов и кончая откровенными крепостниками» [2, с. 98]. Поскольку концептуальное содержание монографии о «Журнале землевладельцев» определялось Н.М. Дружининым как «новая точка зрения на реформу (излагаемая и самим М.Н. Покровским во всех его работах)», то одна из главных задач ответной полемической статьи состояла, по его собственным словам, в том, чтобы «разобрать по пунктам обвинения М.Н. Покровского и сопоставить их с его же собственными утверждениями» [2, с. 98]. «Подспорьем для этой цели могут служить не только общеисторические труды М.Н. Покровского, но и специальная работа «Крестьянская реформа», переизданная... в том самом 1926 г., когда печаталась моя статья [? — М.Р.] о «Журнале землевладельцев», — отмечает будущий академик, констатируя таким образом концептуальную непоследовательность своего высокопоставленного гонителя в этом вопросе, обусловленную столь характерным для Покровского жестким и неизменным подчинением научных выводов задачам текущей политики, в данном конкретном случае состоявшим в дискредитации «конкурирующих» сообществ историков (в первую очередь — исторических институтов РАНИИОН) и в установлении тотального идейно-административного диктата своей «школы».

Основное свидетельство отмеченной непоследовательности М.Н. Покровского его оппонент усматривает в соединении неизменно негативного отношения к «наивному» историографическому противопоставлению «крепостников» и «либералов» (оно проявлялось, в частности в том, что само слово «крепостник» неукоснительно заключалось им в кавычки) с идеологическими обвинениями в адрес Н.М. Дружинина именно за отказ идентифицировать «Журнал землевладельцев» в качестве «крепостнического органа».

Позиционируя себя как правоверного марксиста, будущий академик в очередной раз напоминает известную марксистскую аксиому, гласящую, что «научный анализ требует подробного раскрытия экономических мотивов, в какую бы фразеологию — либеральную или крепостническую — они ни облечались» [2, с. 101]. Исходя из сказанного, Н.М. Дружинин снова приводит свою характеристику идейной направленности «Журнала землевладельцев», при этом еще сильнее ее «социологизируя» и таким образом окончательно отводя от себя идеологические наветы Покровского: «По своему содержанию это была не крепостническая программа, а программа развивающегося аграрного капитализма, который подрывал

устой не только принудительной барщины, но и шире — отработочной ренты» [2, с. 101]. Развивая и конкретизируя эту характеристику, Н.М. Дружинин определяет позицию большинства сотрудников «Журнала землевладельцев» как «идеологию носителей капитала, которая может впадать в противоречия, выдвигать архаические точки зрения, но в основном остается антикрепостнической, поскольку систему барщинного труда и внешнеэкономического принуждения она стремится заменить системой вольного найма и свободных юридических отношений» [2, с. 102]. По его словам, приверженцы этой идеологии «вдохновлялись идеей рационального капиталистического земледелия, освобожденного от оков патриархального правового института» [2, с. 102].

Свое полемическое письмо в «Правду» Н.М. Дружинин завершает «отводом» самого опасного для него и, безусловно, клеветнического обвинения со стороны М.Н. Покровского — в мировоззренческой солидарности с идеологической программой «Журнала землевладельцев» и ее «апологии» на страницах одноименной монографии: «Не только заключение, но и все содержание работы проникнуто одной основной идеей: «Журнал землевладельцев» — «сословно-классовый орган», его сотрудники — яркие носители классового взгляда, «которые откровенно апеллировали к своим материальным интересам» [здесь и ранее — приводимые Н.М. Дружининым цитаты из его собственной монографии — М.Р.], более откровенно, чем их левые соседи — либеральные помещики Тверского и прочих комитетов. ...Если автор не употреблял слов «лютое эксплуататорство» и вообще не прибегал к агитационным приемам, то это вполне понятно по самому характеру его работы: научное исследование убеждает логическими доводами и фактической обоснованностью, а не бьющею хлесткостью своего внешнего стиля» [2, с. 104]. Остается добавить, что последняя фраза Н.М. Дружинина, сохраняющая свою актуальность и поныне, будучи предназначенной для обнародования в центральном партийном органе в общественно-политической и духовно-психологической атмосфере конца 1920-х гг., требовала от начинающего советского историка определенного личного мужества.

Наконец, напомнив М.Н. Покровскому и потенциальным читателям своего «открытого письма» ту прописную истину, что «апология предполагает полное согласие апологета с восхваляемым объектом», будущий академик отмечает обвинение в свой адрес в апологии «Журнала землевладельцев» двумя «наивными» вопросами: «Разве отвергать квалификацию «Журнала землевладельцев» как «крепостнического органа» — значит восхвалять противоположное буржуазно-капиталистическое направление? Разве прекращение крепостной эксплуатации прекращает всякую другую эксплуатацию...?» [2, с. 104]. Отвечая на эти вопросы, Н.М. Дружинин одновременно резюмирует всю аргументацию («содержательную часть») своего ответа главе большевистских историков: «Находить в рассуждениях определенной части помещиков прогрессивно-буржуазные тенденции

(конечно, прогрессивные для своего времени) не значит писать им какую-либо апологию» [2, с. 104].

Заключительные фразы неопубликованного письма Н.М. Дружинина в редакцию «Правды» исполнены глубоким чувством личного и профессионального достоинства, в той или иной мере безвозвратно утраченным ведущими представителями официальной советской исторической науки в последующие годы сталинского правления, когда сам факт подобного полемического диалога мог быть возможен разве что с прямой или косвенной санкции Вождя. «Автор инкриминируемого исследования был бы благодарен за указание допущенной ошибки, тем более что статья о «Журнале землевладельцев» была его первой работой в программе научно-исторической подготовки», — заявляет будущий советский академик. — «Но автор имеет право требовать от оппонентов, чтобы они соблюдали элементарное условие всякой критики: чтобы они правильно передавали его мысли и не приписывали ему таких выводов, которые абсолютно чужды его научным и политическим воззрениям» [2, с. 104].

Однако более чем полувекое успешное «усвоение марксистско-ленинского метода» (разумеется, во всей полноте его последующих официальных трактовок и «системных» трансформаций, детерминированных драматическим ходом отечественной истории XX в.) и блестящая профессиональная карьера в идеократическом советском научном социуме побудили восьмидесятилетнего академика Дружинина в неоднократно цитированных нами «Воспоминаниях и мыслях историка» (1967) к фактическому пересмотру и «сдаче» некоторых ключевых позиций его дебютной монографии, в том числе тех, которые отстаивались им в 1929 г. в заочной полемике с М.Н. Покровским: «Перечитывая сейчас эту раннюю работу, я ясно вижу ее серьезные недостатки: первопричину реформы она сводила к материальным интересам помещиков, элиминируя классовую борьбу крестьян <...> кроме того, монография страдала [! — М.Р.] спокойно-академическим тоном, который вызвал позднее суровые упреки моих оппонентов» [1, с. 40].

Следующий этап научно-идейного противостояния «Дружинин-Покровский» пришелся на 1939 г. (спустя десять лет после их «односторонней» заочной полемики и через семь лет после смерти лидера большевистских историков). Речь идет о статье будущего академика под названием «Разложение феодально-крепостнической системы в изображении М.Н. Покровского» в приснопамятном сборнике «Против исторической концепции М.Н. Покровского» (1939 г.) (первом из двух аналогичных изданий, которые увидели свет соответственно в 1939 и 1940 гг.). Десятилетие, протекшее между двумя вехами рассматриваемого нами научно-идейного противостояния (1929—1939 гг.), одно из самых драматических во всей отечественной истории, вместило в себя, среди прочих моментов исторически закономерного трагедийного процесса построения сталинской тоталитарной идеократии, фактическую

«реабилитацию» русской исторической науки в ее традиционном дисциплинарном облике (в том числе восстановление преподавания истории в школах и вузах), начало чему положили знаменитые «Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР» И.В. Сталина, А.А. Жданова и С.М. Кирова (август 1934 г.), а также негласный пересмотр дела «Платонова-Тарле» (возвращение к активной профессиональной деятельности большинства его фигурантов, доживших до середины 1930-х гг., и почти одновременная гибель в результате репрессий 1937–1938 гг. их коллег-антагонистов и фактических инспираторов упомянутого «академического дела», «неистовых ревнителей» из школы Покровского: Г. Зайделя, М.М. Цвибака, Г.С. Фридлянда, С.А. Пионтовского и др.).

Возвращаясь к дружининской статье «Разложение феодально-крепостнической системы в изображении М.Н. Покровского» (1939 г.), следует отметить, что в сюжетно-концептуальном отношении к проблематике несостоявшейся полемики 1929 года наиболее близок осуществленный ее автором критический разбор принадлежащей покойному лидеру большевистских историков классификации основных групп российского дворянства, которые были выделены им в соответствии с «экономическим» критерием и при этом наделяемы определенными социально-политическими позициями. Речь идет о «феодальной знати» («крупные помещики, не ведущие собственного хозяйства, а предпочитающие держать крестьян на оброке») и о противостоящей ей «массе средних помещиков», «преимущественно провинциальных», которые отдавали предпочтение барщине и «сбывали хлебную продукцию на рынок» [2, с. 123]. Согласно М.Н. Покровскому, именно представители первой из названных дворянских прослоек («феодальная знать»), будучи заинтересованы в сохранении существующего порядка «в силу своего социально-экономического положения», в целом представляли собой «реакционную общественную силу», которая «стоит на страже феодально-крепостнической системы и является преградой всякому социальному и политическому прогрессу» [2, с. 122]. Со своей стороны Н.М. Дружинин решительно отвергает подобную трактовку с точки зрения «здорового смысла» исторической науки, оценивая ее как «суммарную и вдобавок вульгаризированную характеристику», производную от печально знаменитой теории «торгового капитализма».

«Исходя из определения М.Н. Покровского», — заключает его давний оппонент, — «мы должны отнести в рубрику «знати» и сторонников умеренного прогресса вроде Н.С. Мордвинова, гр. Воронцовых, П.Д. Киселева и носителей самой оголтелой и черной реакции вроде А.С. Шишкова, гр. Алексея Орлова, П.А. Клейнмихеля» [2, с. 122]. Отмечая идейную неоднородность т.н. «феодальной знати», будущий академик акцентирует внимание на довольно многочисленных случаях несоответствия позиций представителей этой элитной группы критерию социально-политической «реакционности».

Что касается «средних помещиков», которые, согласно М.Н. Покровскому, «воплощали в себе буржуазно-предпринимательские тенденции», и, соответственно, стояли на более прогрессивных позициях, то, как и в предыдущем случае, Н.М. Дружинин характеризует данную «социологическую» конструкцию как «крайне растяжимое понятие», которое (вопреки концепции его автора) «охватывает и верноподданных крепостников, идущих за Карамзиным, и боевых революционеров, составляющих заговор против власти» [декабристов — М.Р.], — т.е. носителей прямо противоположных идейно-политических ориентаций [2, с. 123].

В конечном итоге подобные неразрешимые научно-логические противоречия в классификации Покровским «социально-политических» группировок российского дворянства использовались его давним оппонентом для подкрепления одного из ключевых тезисов рассматриваемой полемической статьи, гласящего, что «его концепция «классовой борьбы» [кавычки Н.М. Дружинина — М.Р.] исходит из неверных методологических установок» [2, с. 123].

Завершая обзорный анализ истории научно-идейного противостояния «Дружинин-Покровский», — которое началось в 1929 г. «историографическим доносом» главы большевистских историков в газету «Правда» и «многогочие» в котором было поставлено через десять лет (1939 г.) на страницах первого из двух сборников, ознаменовавших собой научно-идеологическую кампанию по развенчанию исторической концепции М.Н. Покровского и его «школы», — следует отметить необходимость дальнейшего рассмотрения этой драматической и весьма показательной страницы советской исторической науки под несколько иным, чем раньше, углом зрения, а именно — в общем контексте комплексного исследования историографии русского консерватизма (во всем многообразии его идейных течений) и «крестьянского вопроса» в Российской империи.

Литература

1. *Дружинин Н.М.* Воспоминания и мысли историка. — М., 1979.
2. *Дружинин Н.М.* Избранные труды. Социально-экономическая история России. — М., 1987.
3. *Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика* / Под ред. В.Я. Гросула. — М., 2000.
4. *Советская историография* / Под общей ред. Ю.Н. Афанасьева. — М., 1996.
5. *Федоров В.А.* Дружинин Николай Михайлович // *Историки России. Биографии* / Сост., отв. ред. А.А. Чернобаев. — М., 2001. — С. 601-607.

Розділ V

Історична освіта

Н.М. МАЛИНОВСЬКА

А.П. КОВАЛІВСЬКИЙ ЯК ІСТОРИК-ВИКЛАДАЧ

А.П. Ковалівський (1895–1969) – відомий сходознавець-арабіст, українознавець, заслужений діяч науки України, професор Харківського університету. Його життя та творчості присвячено вже чимало праць.

Викладацька діяльність А.П. Ковалівського також не залишилася поза увагою дослідників. У публікаціях, присвячених історії Харківського університету, з нагоди ювілеїв історика є окремі спостереження з даного питання; Ковалівському-педагогу присвячене оповідання в напівхудожній формі, написане одним з слухачів професора, Л.А. Сотником [8].

З іншого боку, вітчизняна наука має величезний доробок з психології творчості, педагогіки вищої школи, психології навчання, який дозволяє напевне визначити критерії педагогічної діяльності вченого, її цілі і завдання, враховуючи всю складність такої проблеми.

Про глибоке внутрішнє протиріччя наукової педагогічної діяльності писав відомий радянський хірург, вчений, педагог С.С. Юдін, який вважав що виступ перед аудиторією є методичний, плановий виклад, поєднаний з масовою агітацією та пропагандою: «...лектор и докладчик один совмещает в себе роль автора, режиссера и актера. Но перед ним стоят те же вопросы о тенденции и утилитаризме, которые в делах науки гораздо бесспорнее, чем в изящных искусствах и театре [10, с. 54]». І далі: «Исследовательская работа всегда *динамична*. Наука не может застывать на месте и никогда не обретет законченные формы. Статичность не только не свойственна, но прямо противоположна самой сущности истинной науки, каковая вечно, непрестанно ищет и неизбежно эволюционирует. Ни одно из научных открытий не живет долго, они непременно меняются. Что же касается педагогики, то каждый учащийся хочет обязательно получить именно окончательные, прочно установившиеся данные науки. Они мечтают запастись незыблемыми истинами, кои должны служить им непререкаемыми законами и теоретической базой для практической деятельности на долгие годы – чтобы не сказать – на весь остаток их жизни. Таким образом, элементы педагогики должны быть *статичны*. Этого требуют запросы учащихся, и преподаватели обязаны с этим считаться. Итак, тщательно воспитанная готовность следовать за вечно меняющимися истинами подлинной науки в ее непрестанной эволюции оказывается в резком противоречии с задачами дидактическими, кои требуют не решений в динамике, а четких, конкретных ответов, возможно

более стабильных. Каким бы ни быть виртуозом-педагогом, нельзя слить воедино столь противоречивые требования» [10, с. 63].

У цьому ключовому питанні вузівської педагогіки А.П. Ковалівський вдавався до певного компромісу: окремі елементи подавав у вигляді готового знання, водночас наполегливо виховуючи навички абстрактного мислення, здатності встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, що не подані у предметній дійсності.

А.П. Ковалівський сповідував власну концепцію вивчення і викладання історії. Відповідаючи на початку 1960-х рр. на запитання про навчально-виховну роботу, він писав: «Предметом истории является развитие во времени человеческого коллектива, то есть самого высшего, что нам известно в этом мире. К этому коллективу принадлежат и наши слушатели, и мы сами. Но в курсах наших лекций мы обычно даем только знания, а не вызываем эмоции. Иногда приходится говорить об этом, но в нарушение министерской программы, по тому или иному поводу. Ввести это в систему невозможно» [3, спр. 211, с. 2]. А.П. Ковалівський послідовно дотримувався матеріалістичного розуміння історії, у відповідності з яким її вершать не вожді чи партії, а об'єктивні закони розвитку людського колективу. Він вважав і політичну боротьбу, і наукові теорії лише наслідками історичного процесу, обмеженими часом і культурно-історичним середовищем.

Вчений послідовно відстоював певну ідею вивчення і викладання історії, зокрема історії країн Азії та Африки. В загальній вступній лекції до курсу дослідник спеціально формулював значення її в усій системі історичної освіти: завершити картину всесвітньої історії. Мовою вітчизняної суспільної науки 1950–1960-х рр. це звучало так: «Буржуазная наука не знала и, собственно говоря, и сейчас не признает действительной всемирной истории. Исходя из своих узко-классовых интересов, она считает, что центром истории является Европа и, в качестве ее продолжения, история США. К этому по традиции присоединяют историю античного мира, который изображается как бы вступлением к истории Западной Европы, а затем следует в качестве не совсем нужного дополнения история древней Месопотамии и Египта. История внеевропейских народов занимает служебное положение, появляясь урывками в связи с европейскими событиями, борьбой за колонии. Между тем страны Востока имели большую и самостоятельную историю. В прошлом они иногда далеко опережали другие страны в своем развитии, некогда переживали эпохи высокого расцвета своей культуры, в те времена, когда большинство западных стран находились еще в состоянии отсталости и варварства» [3, спр. 58]. По суті А.П. Ковалівський продовжував традиції вітчизняного сходознавства, яке з історичних причин не позначене європоцентризмом.

Харківський професор дозволяв собі не дотримуватись московських програм, і викладати історію Сходу так, як він вважав найбільш доцільним. Він писав: «Учебные программы Министерства построены по принципу дробления по периодам, а не по странам, что для преподавания

совершенно неприемлемо. Думаю, что с этим согласятся все те, кто преподают этот предмет, а не только пишут учебники. В своем отзыве на учебник МГУ я им об этом писал. Но нас связывают программы». Робочий план по історії країн Азії він склав саме по країнах [3, спр. 211, арк 1].

Зі свого боку А.П. Ковалівський серед основних труднощів у викладанні відзначав недостатність знань з шкільних курсів, як історії, так і географії. Щоб покращити засвоєння студентами імен і назв, застосовував особливу систему розкриття змісту імен з китайської та арабської мов: «Це досягалось по змозі поясненням первісного значення імен та назв. Так, спочатку слухачам подавалось кілька звичайних китайських слів, які виводилися з загальновідомих географічних імен: «шань» — гора, «хе» і «цзян» — річка. Далі, йдучи від відомого до невідомого, виділялися слова «нань», «бей», «дун», «сі», - південь, північ, схід, захід, «ху» — озеро і т.ін. Після з'ясування тим же аналітичним шляхом способів сполучення цих слів провадився огляд географічної номенклатури провінцій та міст Китаю. Так само давався аналіз граматичної будови таких арабських слів-власних імен, як Абдулазиз, Абдурахман, Желаледдін та ін. Досвід показав, що таким шляхом матеріал засвоювався значно легше» [5, с. 100].

З інших особливостей методики викладання історії країн Азії та Африки А.П.Ковалівським слід відзначити систему малювання на дошці історичних карт та планів деяких великих міст — Шанхая, Ухані, Гуаньчжоу, Делі, Каїра: контури карти наносилися при самому початку лекції, а потім у процесі читання доповнювалися географічними деталями або умовними позначеннями, потрібними для розуміння тих чи інших історичних подій. Малюнок робився звичайною крейдою, але кращий ефект досягався вживанням кольорових крейд, причому річки малювали синьою, гори жовтою, революційні райони або походи революційних армій — червоною крейдою тощо [5, с. 99]. Владитися до цього методу, як писав сам А.П. Ковалівський, довелось через відсутність настінних карт з історії країн Сходу та тому, що це давало можливість у процесі малювання на дошці показати етапи історичних подій. Метод був обґрунтований у доповіді на науково-методичній конференції історичного факультету ХДУ 15 квітня 1950 р. Ідею цього методу А.П. Ковалівському підказала робота з матеріалами, надісланими з Єгипту 1933 р. на прохання Інституту педагогіки. Серед вимог, що ставилися перед учнями, було вміння малювати карти по пам'яті, що дослідник окремо відзначив у своїй статті про просвітницьку політику єгипетського уряду [6, с. 178].

Науковій роботі студентів А.П. Ковалівський надавав великого значення і завжди знаходив час і сили для того, щоб уважно і послідовно нею керувати. Головною передумовою становлення науковця професор вважав ширий інтерес — до країни, до народу, його культури, взагалі до людей. Але навіть найактивнішого ентузіаста А.П. Ковалівський не залишав напризволяще: непомітно і впевнено, наслідуючи свого вчителя І.Ю. Крачковського, спрямовував дослідницький інтерес, уникаючи адміністратив-

ного тиску чи авторитарних маніпуляцій. Він розумів, що для становлення дослідницького інтересу вкрай необхідна можливість публікації, повноправної участі у наукових проектах, реальна перспектива бачити і осмислювати результати своєї праці.

Професор свідомо і цілеспрямовано намагався розвивати емоції слухачів. Його дослідженням властиві прагнення дійти до першоджерел, активні спроби уявити, «як це було», систематичне «занурення в добу», історичні паралелі, несподівані повороти думки, прагнення до образності, сюжетності, емоційного забарвлення. Манера викладу була не лише наслідком особистої вдачі вченого, але мала у ще більшій мірі практичну мету: такі дослідження були доступними кожному ентузіастові, що було вкрай важливе у складні пореволюційні та повоєнні роки, коли потреба у кваліфікованих кадрах була великою, а можливості для здобуття освіти — обмеженими. Багато хто згадує лекції і публікації історика як «безсистемні». Система в них, безперечно, була, але А.П. Ковалівський іноді перебільшував пізнавальні запити своєї аудиторії. Один з його слухачів, Л.А. Сотник, писав: «Ковал[ев]ский был необычайно щедр. Он стремился передать нам все, что знал сам. Он верил нам. Видел в каждом из нас своего преемника, такого же страстного и влюбленного в дело, как он сам ... Он ошибался, ибо мы не оправдывали его надежд. Мы были только студентами. Веселыми, бесшабашными и по-молодому глупыми. Но каждый из нас скажет сегодня: я был бы в десять раз беднее духовно, если бы не встретил этого человека. Вы видели кровавые блики на дамасских клинках и кетмелях, восставших сынов Муканы, вы слышали топот копыт монгольской конницы, вы чувствовали на себе мудрый и немного грустный взгляд голубых глаз Навои? Мы видели, мы слышали, мы чувствовали и, пробираясь вслед за Ковалевским сквозь хаос веков и событий, еще отчетливо понимали, что такое борьба, что такое настоящая классовая ненависть» [8, с.100].

З приводу особливостей викладацької манери А.П. Ковалівського слід згадати зауваження О.І. Білецького: «Основное требование вузовского преподавания — не набивать головы готовыми знаниями, а учить приобретать знания; не нагнетать память учащегося, а стимулировать его мышление» [1, с. 148]. Неординарна особистість професора, сам його образ, манери, мова справляли велике враження на слухачів своєю небуденністю, талантом, справжньою величчю, вживаючи нині популярне визначення — харизматичністю. Це також сприяло зміцненню їх пізнавальних інтересів, розвитку особистості, становленню індивідуальності, являючи собою одне з джерел творчого натхнення, яке є життєво необхідним для науковця. С.С. Юдін писав: «И лучшие специалисты — те же люди, и часто обыватели. Их тоже «засасывает жизнь» в гнилое болото ничтожных интересов и мелких душ, куда давно не проникал живительный луч света. Монотонная работа без живительных встрясок поэзии, искусства и путешествий создает успокоение, привычку к обветшалым преданиям старины, примирение

с пошлюстю и мелкими целями. А взамен научных исканий и пусть честолюбивых, но все же высоких стремлений вырабатывается постепенно не интерес к жизни, а заинтересованность в ее призраках: материальном достатке, деньгах, чинах, орденах и сплетнях» [10, с.72]. Невгамовний дослідник-ентузіаст А.П. Ковалівський, відкритий до всього нового і сміливого, з послідовним прагненням до величі і досконалості, вмів поважати кожного, з ким його зводило життя, і зважати також на ті інтереси, які, може, були йому геть чужі. Зокрема підсумковий контроль знань з предметів, що їх викладав А.П. Ковалівський, ніколи не перетворювався на випробовування нервової системи студентів чи приховане приниження їх особистості. За спогадами слухачів, ставити двійки він не любив, просив підготуватись краще і знову прийти [7, с. 183]. Ті, хто записувалися до А.П. Ковалівського на курсову роботу, теж згадують керівника з приємністю, а іноді — з подивом. Поспіхом написані десять сторінок після опрацювання А.П. Ковалівським — примітки, зауваження, посилання, ретельно переписані, становили досить пристойну роботу, яка успішно захищалася. Безумовно, методика дещо специфічна, тим більше якщо врахувати, хто з задоволенням написав курсову за ледачого студента — заслужений діяч науки України, професор-сходознавець, та й просто літня, тяжко хвора людина.

Однак у його викладацькій роботі все ж переважав динамічний, суто дослідницький елемент, що викликало певне невдоволення деяких студентів. Наприклад, А.І. Епштейн, як і інші слухачі А.П. Ковалівського, був вражений ерудицією професора, але дещо своєрідно. Він згадував: «Але вона була настільки великою, що його важко було слухати. Розповідаючи про ту чи іншу країну Сходу, він обов'язково починав з того, що малював на дошці її контури, вказував головні міста, ріки тощо. Тут же розповідалось про державний устрій, політичні партії. Але для Андрія Петровича не складало ніяких труднощів з однієї країни «перескочити» до іншої. Скажімо, йдеться про Сирію, називає він правлячу партію, її центральний орган і раптом перескакує до Єгипту. Ось, мовляв, на сирійському діалекті арабської мови ця назва звучить як «свобода», а на єгипетському варіанті тієї ж мови як «незалежність». Спочатку ці перескоки дратували, а потім ми зрозуміли: Андрій Петрович читає для людей, захоплених його предметом. Така його манера, така шалена ерудиція дійсно захоплювали, стимулювали подальші заняття улюбленою наукою тих, хто обрав сходознавство. А інші ... іншим, які не цікавилися історією країн Сходу, Андрій Петрович поблажно ставив трійки, а іноді, й четвірки» [4, с. 94–95].

Як вчений, А.П. Ковалівський хотів би виховати послідовників, однак це було складне завдання, особливо у тій галузі, в якій він найуспішніше працював — переклад і дослідження східних джерел. Перекладач має бути обережний, як хірург, і освічений, як філософ [9, с. 16], що передбачає важку багаторічну працю і наполегливі самостійні роздуми, на що нечасто

зважаються молоді вчені. До того ж А.П. Ковалівський прагнув працювати українською мовою, що у радянській науці того періоду не заохочувалося. Вчений з прикрістю писав в одному з листів до Я.Р. Дашкевича: «Нам поки що доводиться ставити справу так, що все, що робилось і робиться на Україні, хоча б російською мовою, або й не українцями, вважати за українське... Річ у тому, що наші «тетерваки» або просто ледарі й не беруться ні за яку поважну справу, або «стихийно зрусифіковані» або «кирпогнучкошиєнки» (кажучи словами Т.Г. Шевченка)» [2, с.22].

В оцінці професійних якостей А.П. Ковалівського як викладача існує велика розбіжність, причому спостерігається певна закономірність: колишні студенти, які у подальшому стали істориками КПРС згадують його лекції як нецікаві та непоследовні, самого професора як непомітного і «казеного». В той час їхні однокурсники, що обрали інші спеціальності – медієвістику, історіографію, історію нового та новітнього часу впевнені, що саме у спілкуванні з А.П. Ковалівським, у роботі на його лекціях та семінарах і осягли сутність історії, специфіку її наукового пізнання.

А.П. Ковалівський залишився у пам'яті історичного факультету Харківського державного університету і як історик надзвичайної ерудиції, і як взірець аристократизму та інтелігентності. Досі точаться дискусії – скільки мов знав професор? Мовну підготовку (основні європейські та мова народу, історію якого досліджують) А.П. Ковалівський вважав основою підготовки історика, яка дасть можливість працювати з оригінальною літературою.

Отже, своєю педагогічною діяльністю А.П. Ковалівський сприяв спадковості цінностей розірваних репресіями та війною поколінь харківських мислителів: він багато перейняв від П.Г. Ріттера, О.І. Білецького і поєднав їхні найперспективніші здобутки з академічною манерою славетного російського і радянського арабіста І.Ю. Крачковського. Харківський професор по суті став одним з піонерів вузівської «педагогіки співробітництва», спрямованої на цілеспрямоване формування абстрактного, творчого мислення у студентів, широкого залучення їх до наукової роботи. Педагогічні прийоми А.П. Ковалівського слід визнати цілком перспективними, вони можуть бути систематично впроваджені у сучасний навчально-виховний процес.

Література

1. *Белецкий А.И.* Наука и схоластика // А. И. Белецкий. В мастерской художника слова: Сборник / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.Б. Есин. – М.: Высш. шк., 1989. – С. 143–149.
2. *Дашкевич Я.Р.* Андрій Ковалівський. З листування 1964-1965 рр. // Україна в минулому. – К.,–Львів, 1996. – Вип. 8. – С. 8–53.
3. Державний архів-музей літератури та мистецтва України. – Ф. 149. – Оп. 1. – Спр. 1–280.

4. *Епштейн А.І.* Харківський істфак перед війною й по війні (сторінки спогадів) // Історія і теорія історичної науки та освіти. Харк. історіогр. зб. Вип. 1. — Х., 1995.

5. *Ковалівський А. П.* Вивчення Сходу у Харкові і Харківському університеті з кінця XVIII — до середини XX ст. / Ковалівський А. П. Антологія літератур Сходу. — Х.: Вид-во Харк. держ. ун-ту, 1962. — С. 5—101.

6. *Ковалівський А.П.* Вивчення культури новітнього Єгипту в Радянському Союзі // Учені записки (Харк. ун-ту).— 1957. — Т. 89. — С. 359—396.

7. *Ксьондзик Н.* До сторіччя від дня народження А.П. Ковалівського // Східний світ. — 1995. — № 2. — С. 197—200.

8. *Сотник Л.А.* Открытие Китая // Донбасс. — 1962. — №5. — С. 98—107.

9. *Шумовский Т.А.* Воспоминания арабиста. — Л., 1977. — 172 с.

10. *Юдин С.С.* О психологии творчества // Мысли о медицине. — М., 1968. — С. 35—80.

Е.В. МЕДРЕШ

КАК ИЗУЧАЮТ ВСЕМИРНУЮ ИСТОРИЮ АМЕРИКАНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ: ОПЫТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

Постановлением № 1312 от 31 декабря 2005 г. Кабинет Министров Украины утвердил «*безотлагательные мероприятия*» по введению системы *внешнего независимого оценивания и мониторинга качества образования* для выпускников общеобразовательных школ и абитуриентов высших учебных заведений. Разработка теоретических положений, диагностических методик, материалов и процедур была осуществлена на основе *тестовых технологий* и апробирована в ходе идущего с 2003 года в Украине пилотного проекта, спонсированного Международным фондом «Відродження».

Такое развитие событий не только радует сердца всех приверженцев независимого внешнего оценивания учащихся с помощью надежных и валидных тестовых заданий, но и вселяет определенные опасения: для творческих образовательных проектов, которые переводятся в обязательную нормативно-законодательную плоскость, велик риск их осуществления не в парадигме «как лучше», а в парадигме «как всегда». Российские коллеги – разработчики ЕГЭ – прекрасно поймут эти наши опасения.

К тому же стандартизованные тесты в качестве инструмента итогового оценивания и критерия академической успешности являются объектом серьезной критики, как со стороны заслуживающих уважения теоретиков, так и со стороны заслуживающих внимания практиков. Среди наиболее веских критических аргументов следует выделить такие:

- образование не должно сводиться к натаскиванию на стандартные базы тестов,
- индивидуальное творческое мышление тестами выявить нельзя, но погубить можно,
- да и само успешное прохождение тестовых испытаний в большей мере отражает ситуативную способность и умение испытуемого сдавать тесты, нежели его действительную образованность и развитие.

Все это побуждает задаться вопросом: «А как это делается у них, в иных образовательных системах и традициях», – не с целью поиска объекта для копирования и прекращения дискуссий, а с противоположной целью **развития и углубления профессиональной дискуссии**, основанной на достаточном исследовании вспомогательной информации и сравнительном

анализе. Автор этих строк дважды проходил стажировку в США, при этом последний раз (апрель 2007 г.) в проекте «Мониторинг качества образования», организованном Агентством США по международному развитию (USAID). Приведенные ниже материалы основаны на осмыслении практики применения в США **Scholastic Assessment Test (SAT): World History**.

КАК ОНИ ПОНИМАЮТ «ВСЕМИРНУЮ ИСТОРИЮ»

В США, как и в европейской академической практике, *Всемирную историю (World History)* трактуют в качестве науки о развитии и изменении человечества, как достаточно органичной и единой системы, — во всех частях земли и на всем протяжении исторического времени. В отличие от истории определенных наций или регионов мира, изучение всемирной истории фокусируется на целостной картине развития человечества. Исследователи всемирной истории задаются вопросом, какие события и процессы — *факторы изменений* — воздействуют на большие сообщества людей по всему миру. В качестве примеров подобных факторов изменений анализируются:

- глобальные миграции,
- структуры производства и производственные технологии,
- уровень и особенности (направленность) развития экономики,
- влиятельные идеи и духовные учения,
- воздействие человека на окружающую среду.

В центре внимания при изучении всемирной истории находятся сравнительные исследования различных обществ и анализ межкультурных обменов и взаимодействий. Цель этих новых исследований состоит в том, чтобы выходить за пределы национальных государств или цивилизаций, развивать макроисторический подход.

Например, историческая тема «Колумб в мировой истории» не сводится к простому рассказу об открытии Христофором Колумбом Нового Света. Это ближе к расширенному повествованию об изменениях в мире, последовавшими за этим отдельным событием. Открытия Колумба, а точнее — Великие географические открытия, — повлекли за собой глобальные миграционные процессы, возникновение трансатлантической торговли, обмен людьми, болезнями, растениями, животными, а также идеями и жизненными традициями между человеческими сообществами на четырех континентах. Так же, как история Соединенных Штатов представляется чем-то большим, чем история 50 отдельных штатов, — всемирная история больше, чем история отдельных цивилизаций, регионов и наций. Изучение глобального человеческого опыта основывается на известном принципе: «Целое больше, чем сумма составляющих его частей».

В предшествующее время изучение всемирной истории, как признается, было сосредоточено на изучении истории отдельных наций, цивилизаций и регионов в большей мере, нежели на изучении макро-

исторических процессов в мире. Сейчас ученые и исследователи стараются развивать новые подходы, призванные помочь перейти от знания отдельных историй к пониманию глобальных перспектив.

В последние годы в учебных курсах всемирной истории (как в старших классах школы, так и в университетах) внимание уделяется развитию следующих глобальных направлений:

1. Взаимообмен и взаимопроникновение изделий, идей и культурных традиций между различными человеческими обществами.
2. Последовательность (традиционность) и изменения на протяжении основных исторических периодов.
3. Изменения вследствие технологических и демографических факторов в их влиянии на людей и окружающую среду, например: прирост или уменьшение населения, болезни, промышленное производство, миграции, сельское хозяйство, войны.
4. Сравнение политических и социальных систем и их характеристик, изменения в этих системах в ходе их развития.
5. Взаимодействия и связи внутри обществ и между обществами.

КАК ОНИ ПОНИМАЮТ «ИСТОРИЧЕСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ»

Историческая грамотность включает в себя знание содержания исторических событий и исторический анализ, основывающийся на умении применять способы исторического мышления. Таким образом, от учащихся требуется не только иметь достоверные и элементарно подтвержденные знания по предмету, но и представлять, как историк изучает и освещает историю. Какие источники и свидетельства использует историк. Как работает историк с историческими источниками, чтобы выстроить аргументацию. Учащиеся должны знать, как возникло данное свидетельство, как его прочесть, истолковать. Это требует умения соотносить и оценивать точки зрения, а также понимания контекста и проверки выводов.

Здесь мы имеем дело с исторической методологией как в пределах непосредственно исторического текста, так и в более широком поле его существования, с учетом культурного и социального контекста, с объяснениями причинной обусловленности его появления и характера, с обсуждением источников и свидетельств, представляющих различные точки зрения. Визуальные документы и исторические карты также предназначены для становления целостного исторического мышления.

Ниже перечислены некоторые аспекты *исторического мышления*, которые учащиеся должны приобрести в процессе изучения мировой истории.

1. Хронологическое мышление. Историки пытаются точно определять время и место исторического события. Затем они прослеживают изменения, следующие с течением времени после определенного события, пробуя выявить типичные паттерны и новации в процессе этих изменений. Во всемирной истории схожие исторические процессы имеют обычно

вление происходить в разное время и в различных частях мира. Иногда какой-либо процесс изменений кажется случайно присущим только для одного места или периода времени. Историки могут задавать вопрос, как и почему эти события и изменения произошли.

Это помогло сформулировать гипотезы культурного обмена и взаимоотношений между различными регионами мира, — критически важные для формирования способности к интерпретации мировой истории. Проверка этого аспекта понимания истории часто включает вопросы, в которых нужно, чтобы учащийся разместил события в хронологическом порядке, выбрал утверждение или фактор, который не отвечает логике данного события или процесса, соотнес причины и последствия и показал, как те или иные процессы развивались в течение времени.

2. Историческое осмысление источников. Историки учат, как видеть прошлое глазами тех, кто жил в то время. Они знают, как читать различные виды источников, такие как документы, рисунки и картины, статистические данные, литературные произведения, как удерживать исторические свидетельства и источники в историческом контексте.

Для изучающих всемирную историю это означает быть сенситивным и хорошо осведомленным по отношению к культурной самобытности и мировоззренческим системам различных обществ. Проверка этого аспекта исторического мышления часто состоит в просьбе сделать определенные выводы и заключения об авторе некоторого документа, или прокомментировать визуальный документ, или дать интерпретацию времени и места его происхождения.

3. Исторический анализ и интерпретация. С целью анализа, или обособленного рассмотрения, исторического развития, историкам присуща тенденция различать специальные области истории — политическую, экономическую, социальную и культурную. К примеру, учащиеся должны быть способны идентифицировать военные конфликты как часть политической истории, классы как часть социальной истории, идеи как часть культурной истории, а торговлю как часть экономической истории.

Относительно интерпретаций учащиеся должны осознавать многофакторные и разнородные причины, мотивы, интересы и события, которые формировали прошлое. Во всемирной истории особенно важно быть способным делать обоснованные сопоставления между различными влияющими факторами, видеть, что тот же самый результат (например, революция в сельском хозяйстве) возможно произошел по различным причинам в различных частях мира и с различными последствиями. Тест по всемирной истории часто исследует способность учащегося делать валидные и обоснованные сопоставления и идентифицировать интерпретации, основанные на ошибочном анализе.

4. Способы и методы исторического исследования. Способы и методы исторического исследования включают в себя способность определить

время и контекст исходя из данного артефакта (материального источника), способность оценить достоверность артефакта и способность моделировать вербальную аргументацию или рассказ, базирующийся на данном артефакте.

При изучении всемирной истории это особенно важная способность, потому что не ко всем обществам и культурам применимы «западные» (европейско-американские) подходы относительно исторических свидетельств и источников. Устные свидетельства, мифы и искусство являются важными источниками там, где недостает письменных свидетельств. Тесты в связи с этим также могут содержать задания сделать некоторые заключения на основании диаграмм, графиков, рисунков или письменных фрагментов.

5. Исторический анализ исходных факторов и принятых решений. Историки должны уметь идентифицировать проблемы, с которыми сталкивались люди в прошлом и приходиться к соответствующим выводам о действиях, которые были предприняты. Во всемирной истории это особенно сложная задача, поскольку общества, отличающиеся от нашего собственного, сталкиваются с иного рода проблемами и приходят к иного рода решениям относительно этих проблем.

Оценивая это, историки должны быть свободны от собственных идеологических уклонов и предубеждений и эрудированны в отношении традиций многих обществ. На экзамене эта способность часто проверяется с помощью вопросов, предлагающих объяснить, почему определенные решения были приняты в определенном времени и месте.

Тест по Всемирной Истории должен быть способен проверить один или несколько из этих аспектов исторической грамотности и способов исторического мышления в каждом из своих заданий.

Ниже приведены образцы тестовых заданий по всемирной истории с кратким анализом верных и неверных ответов.

1. Какое из следующих утверждений было бы **НАИБОЛЕЕ ТРУДНО** доказать методами исторического исследования?

- (A) Тихий океан в три раза больше, чем Атлантический океан.
- (B) Уильям Гладстон был более эффективным премьер-министром, нежели Бенджамин Дизраэли.
- (C) Суэцкий канал увеличил торговлю между Индией и Англией.
- (D) Изобретение самолета изменило образ жизни людей в двадцатом столетии.
- (E) Существовала небольшая оппозиция в военном руководстве Соединенных Штатах по отношению к плану сбросить атомную бомбу на Хиросиму.

Правильный выбор ответа — **В**, поскольку он выражает *анонимное субъективное мнение*, а не *исторический факт*. Другие четыре утверждения могут быть доказаны или опровергнуты, используя исторические свидетельства и фактический материал.

2. Наиболее убедительные свидетельства о формах доисторической жизни людей пришли из Восточной Африки, потому что:

(А) Теорией «Из Африки» доказано, что все люди происходят из Африки.

(В) Археологи, в частности Лики, сконцентрировали свои усилия в Восточной Африке.

(С) Когда все континенты были объединены в Пангею, Африка была в ее сердце.

(D) Влажные, тропические области сохраняют человеческие окаменелости лучше.

(Е) В системе древнейших стоянок ущелья Олдувай хорошо сохранилось огромное количество древнейших человеческих останков, форм жилья и орудий.

Правильный ответ — **Е**. Другие выборы — фактически или логически неправильные.

Выбор А неправилен, потому что теория «Из Африки» не была доказана. Выбор В неправилен из-за дефектной логики. Лики сконцентрировал свои усилия в этой области именно из-за обнаружения там доисторических окаменелостей, а не наоборот. Выбор С неправилен из-за хронологической погрешности: человеческая жизнь возникла намного позже того, как отделились и были сформированы континенты. Выбор D неправилен, потому что тропические области — одно из худших мест для сохранности окаменелостей, в то время как сухие или замороженные участки или области, покрытые вулканической золой - лучше.

3. Какой из следующих выводов, основанных на приведенных аргументах, является корректным?

(А) Цивилизация долины Инда с ее распланированными городами, водопроводом и общественными дренажными системами имела централизованную политическую власть.

(В) Системы ирригации, мосты, дорожное строительство и большие храмовые постройки указывают на активный рост населения в высокогорном районе, ныне известном как Перу.

(С) Египетские товары, найденные на Крите, и строительные конструкции, подобные тем, что были применены в Карнаке, указывают

на торговлю между Минойцами и Египтянами, а также на копирование Минойцами некоторых аспектов Египетской культуры.

(D) Изначальное дружественное отношение Монтесумы к Кортесу указывает на открытость Ацтекского общества иноземцам.

(E) Тот факт, что мусульмане долгое время отдавали предпочтение использованию вьючных верблюдов вместо использования фургонов для транспортировки товаров по сухопутным торговым маршрутам Евразии, показывает их консерватизм и сопротивление изменениям привычного уклада.

Правильный ответ — А. Распланированные города, система водопровода и общественные дренажные сооружения были бы невозможны без некоторых централизованных механизмов организации.

Выбор В неправилен, потому что системы ирригации, мосты, дороги и храмы не обязательно указывают на *рост* населения, хотя они с очевидностью свидетельствуют о достаточно значительном населении тех мест, которое могло оставаться стабильным или даже уменьшаться. Выбор С неправилен: существование торговли подтверждается, но нет никаких свидетельств, чтобы установить, кто кого копировал. Выбор D неправилен, потому что случайно выдернут из исторического контекста. По нескольким источникам Монтесума приветствовал Кортеса будучи уверенным, что тот был возвращающимся богом ацтеков Кецалькоатлем, а не иноземцем. Выбор E неправилен, потому что этот вывод ущербен по логическим и фактическим причинам. Транспортировка верблюдами была дешева и эффективна, в то время как колеса фургонов требовали бы хороших дорог в преимущественно пустынной песчаной местности, так что не было никакой причины для изменений в этом отношении.

4. Свидетельства и данные о количестве погибших от «черной смерти» в Европе в XIII столетии, с **НАИМЕНЬШЕЙ** вероятностью могут быть найдены в:

- (A) Церковных записях.
- (B) Личных дневниках.
- (C) Налоговых отчетах.
- (D) Газетах.
- (E) Корабельных документах.

Правильный выбор ответа — D. Этот вопрос предполагает, что учащийся сможет идентифицировать явное исключение среди этих пяти вариантов. Поскольку технология для печати газет не существовала в Европе в указанное время чумы, выбор D — такое исключение.

Вопросы, предлагающие определить исключение, основанное на явно негативном, ошибочном варианте, подвергаются серьезной критике у многих европейских экспертов по академическому тестированию, в частности, — у российских, украинских и литовских специалистов, и, как правило, исключаются из тестовых заданий в этих странах. Американцы же считают подобные вопросы крайне показательными и полезными, и в их тестовых испытаниях количество таких заданий составляет примерно одну четверть.

Вопросы с «негативным вариантом» могут также быть сформулированы, чтобы показать, что все нижеследующее является правдой, **КРОМЕ...**

Еще они помогают освоить по отношению к историческим исследованиям и суждениям, помимо слова **ДА**, не менее важное слово **НЕТ**. Подобные вопросы также помогают сформировать способность определять, какой ответ или угол зрения являются отличным, *иным*.

5. Рассматривая быстрое развитие и распространение буддизма во время правления Ашоки, укажите, какое из следующих утверждений является **НАИМЕНЕЕ** правдоподобной гипотезой о том, почему это имело место.

(А) Распространению буддизма способствовали торговцы, проникавшие по торговым маршрутам в новые области Индии.

(В) Буддизм апеллировал к угнетаемым и притесняемым слоям населения.

(С) Могущественный светский правитель обратился в буддизм и поддержал его.

(D) Буддизм предложил новые формы духовного и культурного выражения.

(Е) Буддизм во время правления Ашоки приобретал много новообращенных благодаря паломничеству и проповедям Сиддхартхи Гаутамы.

Ответ — Е. Формулирование гипотезы, основанной на исторических данных — один из ключевых навыков историка. Все выборы выше — возможные гипотезы, которые могут быть поддержаны теми или иными источниками, относящимися к указанному периоду кроме выбора Е. Сиддхартха Гаутама умер приблизительно в 485 г. до н.э., намного раньше Ашоки, который правил Индией около 250 г. до н.э.

Тестовые задания 6 и 7 основаны на следующей цитате из исторического источника: «Враг наступает, мы отступаем; враг замедляется, мы беспокоим; враг останавливается, мы нападаем; враг отступает, мы преследуем».

6. Стратегии, изложенные подобным образом, могут **НАИБОЛЕЕ БЛИЗКО** описывать

- (A) Средневековую войну.
- (B) Окопную войну.
- (C) Механизированную войну.
- (D) Партизанскую войну.
- (E) Осадную войну.

7. Стратегию которого из следующих военных лидеров **НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО** поддержал бы автор приведенного высказывания?

- (A) Гитлера.
- (B) Филиппа II.
- (C) Дуайта Эйзенхауэра.
- (D) Наполеона.
- (E) Хо Ши Мина.

Ответ на вопрос 6 – **D**, партизанская война, и на вопрос 7 – **E**, Хо Ши Мин.

Эта цитата из «Искусства Войны» Сунь Цзы описывает основные стратегии, которые читатель может определить, как наиболее полезные именно в партизанской войне. Знание стратегий Сунь Цзы было использовано в XX столетии такими лидерами, как Мао Цзе-дун и Хо Ши Мин.

Еще несколько специфических примеров тестовых заданий «по-американски».

Соответствие.

Найдите для термина из левой колонки соответствующее ему определение из правой колонки.

- | | |
|----------------|---|
| 1. Мустье | A. Медно-каменный век, период между каменным и бронзовым веками |
| 2. Кроманьонец | B. Древнейший человек |
| 3. Неолит | C. Кремневая культура эпохи неандертальских людей |
| 4. Архантроп | D. Позднейший период каменного века |
| 5. Энеолит | E. Человек современного физического типа |

Последовательность.

Расставьте следующие события в хронологическом порядке.

Кубинский ракетный кризис;
Начало Второй мировой войны;

Коммунистическая революция в Китае;
Большая депрессия в США;
Война в Корее;
Падение Берлинской стены.

Вопросы.

1. Расовые различия у людей, по мнению большинства современных ученых, являются следствием:

- (A) Происхождения от различных исходных наследственных типов.
- (B) Различий в ДНК.
- (C) Адаптации к окружающей среде.
- (D) Изначального происхождения из Восточной Африки.
- (E) Биологического диморфизма.

2. Ученые, изучающие останки и свидетельства о жизни древних людей и народов, называются:

- (A) Антропологи.
- (B) Палеонтологи.
- (C) Археологи.
- (D) Историки.
- (E) Все вышеперечисленные.

3. Что из следующего перечислено в правильном хронологическом порядке?

- (A) Неолит, Мезолит, Палеолит.
- (B) *Homo habilis*, *Homo sapiens*, *Homo erectus*.
- (C) Кроманьонец, Неандерталец, Синантроп
- (D) Охота и собирательство, выращивание риса-сырца, подзольное земледелие
- (E) Ни один из приведенных вариантов не расположен в правильном порядке.

4. Первый культивируемый урожай в Китае был:

- (A) Маис.
- (B) Просо.
- (C) Пшеница;
- (D) Ячмень.
- (E) Маниока.

5. Для какого из следующих продуктов родиной было Восточное полушарие?

- (A) Кукуруза.
- (B) Картофель.
- (C) Какао.
- (D) Пшеница.
- (E) Помидоры.

6. «Есть четыре основы королевской власти. Во-первых, королевская власть священна; во-вторых, она наследственна; в-третьих, она абсолютна; в-четвертых, она обусловлена здравым смыслом».

Франклин Л. Баумер

Этот подход выражает дух:

- (A) Инвестируры.
- (B) Конституционной монархии.
- (C) Теории «священного права королей».
- (D) Абсолютизма.
- (E) Теократии.

7. Под руководством аятолы Хомейни Иран стал:

- (A) Современным светским государством с однопартийной системой.
- (B) Фундаменталистским суннитским государством.
- (C) Государством с радикальным шиитским правительством, изолированным от его соседей.
- (D) Военной диктатурой.
- (E) Либеральной, ориентированной на Запад республикой.

И в заключение — характерные рекомендации КАК УСПЕШНО СДАТЬ ТЕСТ для американских учащихся, которые, на наш взгляд, пригодны для учащихся по любую сторону любого из океанов.

1. Хорошо выспитесь накануне ночью.

2. Определите местонахождение Вашего тестового сертификата и уточните, где именно Вы проходите тест. Оставьте себе достаточно времени, чтобы добраться туда вовремя.

3. Возьмите с собой несколько хорошо заточенных карандашей.

4. В процессе ответа распределите Ваше время. Не задержитесь на трудных вопросах. Закончите другие задания, а затем вернитесь, чтобы заняться трудными вопросами.

5. Читайте вопрос полностью. Выберите ЛУЧШИЙ ответ. Слова «всегда», «никогда» и «только» часто бывают неправильными. Думайте о

хронологии. Ответы часто бывают ошибочными, потому что они относятся к неправильному хронологическому периоду. В вопросах, содержащих КРОМЕ или НЕ, иногда бывает полезно перефразировать вопрос в позитивной формулировке. Попробуйте находить подобия между двумя или тремя неправильными выборами, чтобы исключить другие.

6. Избегайте случайного угадывания. Ваш итоговый бал состоит из суммы правильных ответов минус одна четверть «стоимости» каждого неправильного ответа.

7. Отмечайте ответы ясно и тщательно.

8. Если Вы заканчиваете рано, перепроверьте ваши ответы.

9. Желаем Вам удачи!

Л.Ю. ПОСОХОВА

**«ЧТО БРАХУ, ЧТО ОСТАВЛЯХУ?»:
ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ПРАВОСЛАВНИХ КОЛЕГІУМАХ
УКРАЇНИ В ХVІІІ СТ.**

Фраза церковнослов'янською мовою, яка стоїть на початку назви цієї статті, взята нами із зовсім забутого істориками перекладу з латини праці римського історика Тита Лівія, який у 1716 році зробили викладачі Чернігівського колегіуму. Викладачі цього колегіуму першими взяли за переклад Тита Лівія російською мовою, їх переклад не був досконалим, ряснів церковнослов'янськими, українськими, польськими, німецькими словами та мовними конструкціями. Однак, на нашу думку, на початку ХVІІІ ст. вибір викладачами колегіуму праці саме цього історика для перекладу не був випадковим. Це була грандіозна задача, яка сама по собі свідчить про амбіції і певну зрілість, а також демонструє спрямованість у викладанні історії в колегіумі. Втім, цей приклад далеко не єдиний. Викладачі колегіумів України здійснили переклад багатьох історичних праць з навчальною метою.

Зазначена церковнослов'янська фраза фіксує дослідницьке питання, відповідь на яке ще не надано істориками: що було взято з традицій викладання історії у єзуїтських колегіумах, за зразком яких були створені православні колегіуми України? Звичайно, відповідь слід шукати, досліджуючи більш загальні питання про історичну підготовку, яку надавали у колегіумах, про те як вона впливала на формування та розвиток історичної свідомості не тільки колегіумців, але й місцевого середовища. Постає питання й про те чи залишили взагалі колегіуми спадщину, яка варта згадки при розгляді поступу української історіографії ХVІІІ ст.?

Межу ХVІІ-ХVІІІ ст. в історії культури Східної Європи відносять до перехідного періоду, для якого характерний певний синкретизм, співіснування та тісна взаємодія середньовічної спадщини з елементами Ренесансу та Ранняго Просвітництва. Історики визначають цей час як важливий етап «зустрічі» та взаємодії східної та західної традицій у всіх сферах культури та на її різних щабелях. Важлива роль у цих процесах належала освіті. Хронологічно вже з кінця ХVІ століття західноєвропейські освітні імпульси почали здійснювати відчутний вплив на східноєвропейську культуру, саме вони «запускали» механізми протистояння /синтезу, пошуку та модифікації не тільки освітніх, але й культурних форм.

Як відомо, система управління, побудова навчального процесу та основні принципи організації православних колегіумів України XVII—XVIII ст. свідчать про те, що зразком для них були взяті єзуїтські колегіуми (академії) Речі Посполитої. Православні колегіуми України представляли культурно-освітню форму, яка несла на собі яскравий відбиток західноєвропейських впливів. Поширення гуманістичних та просвітницьких ідей на українській землі дослідники традиційно пов'язують перш за все з курсами філософії, поезики та риторики, які читалися у православних колегіумах України в XVII—XVIII ст. Маємо на увазі широку програму досліджень цих курсів, що читалися в Києво-Могилянському колегіумі (академії), яка проводиться групою вчених Інституту філософії Національної академії наук України [1—5 та ін.]. Хоча у центрі уваги зазвичай знаходилася Києво-Могилянська академія, не менш цікаво, на нашу думку, наблизитися до провінційного, колегіумського рівня, а також звернутись до аналізу викладання історії, яке й досі не стало предметом досліджень.

Характерний приклад, який визначає історіографічну ситуацію з цього питання — збірник матеріалів ювілейної наукової конференції «Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету», яка була присвячена 300-річчю Чернігівського колегіуму. Збірка містить низку статей істориків філософії, в яких робляться висновки про те, що курси поезики та риторики сприяли розвитку українського письменства, впливали на формування самосвідомості українського народу та його консолідацію [6, с. 17], робиться висновок, що академія та колегіуми формували здатних до професійної творчої діяльності українських філософів [7, с. 26]. Втім, більш-менш глибокого аналізу історичних знань, які отримували вихованці колегіуму, у цьому збірнику ми не знайдемо. Такий підхід є характерним для багатьох досліджень з історії освіти цього періоду. Історична складова освіти в них охарактеризована зазвичай лише декількома фразами. Певна диспропорція помітна й у дослідженнях та підручниках з української історіографії. Історична освіта XVIII століття не розглядається в них як соціокультурна передумова (чи складова) розвитку української історіографії. Сьогодні історики філософської спадщини Києво-Могилянської академії в якості стратегії сучасного дослідження називають «з'ясування статусу і специфіки філософії як предмета викладання», становлення і функціонування її у освітньому контексті [8, с. 75]. Вважаємо, що подібне дослідницьке завдання стосовно історії виглядає також привабливо. Тому ця стаття — спроба з'ясувати, хоча б у загальних обрисах, стан історичної освіти, яку отримували в стінах православних колегіумів України у XVIII столітті.

У єзуїтських колегіумах Речі Посполитої знайомство з історичними працями починалося з класів синтаксими та граматики. На цьому етапі навчання учні читали та робили переклади з праць Цицерона, Овідія, Катутла, Тібутла, Пропорція, Вергілія та ін. [9, с. 75]. У класі піітики студенти вже отримували певні відомості з історії, археології, міфології, географії,

які вони черпали з історичних праць Цезаря, Саллюстія, Лівія, Курція, читаючи їх, зрозуміло, латинською мовою [9, с. 76]. У класі риторичному, окрім теорії красномовства, починалося викладання історії, старожитностей римських та грецьких, міфології та географії (вважаємо корисним не пропускати відомостей, які стосуються викладання географії, оскільки певний обсяг знань, які містилися у тогочасних курсах географії, сьогодні входять до дисциплінарного кола історичної географії).

Історики Києво-Могилянської академії довели, що освітні практики, обсяг та розподіл навчального матеріалу, з невеликими скороченнями, було перенесено в академію з єзуїтських колегіумів [9, с. 78]. Однак, існує певна проблема, пов'язана із встановленням змісту «історичної підготовки». Завдання реконструювати цей зміст, або хоча б визначити його спрямованість, вимагає проведення дослідження всього наявного комплексу джерел (актових, справочинної документації, конспектів лекцій, каталогів бібліотек, матеріалів особового походження), оскільки необхідна нам інформація в джерелах зазвичай спеціально не фіксувалася і є побіжною (прихованою).

Тож розглянемо це питання стосовно православних колегіумів України XVIII ст. Як відомо, у Духовному регламенті (який вплинув на побудову навчального процесу у колегіумах) Феофан Прокопович (колишній вихованець, а згодом ректор Києво-Могилянської академії) рекомендував вивчення у духовних школах географії та історії починати з граматичного класу. «Навчаючи граматичні, — писав Феофан Прокопович, — може вчитель з нею вчити купно й географію, й історію», й роблячи переклади, вивчати «або історію одну зовнішню, або церковну» [10]. У Регламенті передбачалося також вивчення «політики короткої» С. Пуфендорфа («можна разом з діалектикою»). Втім, рекомендації Духовного регламенту для переважної більшості духовних навчальних закладів Російської імперії аж до кінця XVIII століття так й залишилися нереалізованими. Інша ситуація спостерігається у колегіумах, які орієнтувалися на освітню практику Києво-Могилянської академії, й прагнули до такої ж повноти навчальних курсів. Така спорідненість навчальних закладів природна, оскільки у колегіуми, при їх заснуванні, були направлені викладачі академії, іноді вони читали ті ж самі курси, що й у академії, крім того, були приклади «передачі» також й студентів. Наскільки викладання історії мало таку ж подібність?

Інструкції для викладачів колегіумів, які відклалися у колегіумських архівах, рекомендували включати у навчання твори як античних, так й західноєвропейських істориків нового часу, починаючи з граматичних класів (використовуючи їх в якості вправ при перекладах), й надалі, при вивченні різних дисциплін (піітики, риторики, філософії, богослов'я). У інструкціях, створених у середині XVIII ст. можна чітко простежити, що у класі синтаксису учні мали читати та робити переклади з історичних праць Іустина, Цицерона [11, с. 127]. Про реальне використання історичних праць на цих заняттях більше можуть сказати рукописи учнів-

ських практичних вправ, для яких брали короткі уривки з церковних пісень, моральних сентенцій, а також класичних історичних творів. На жаль, дуже мало таких рукописів збереглося до нашого часу, але ми також можемо дізнатися про них з досліджень наших попередників. Скажімо, М. Докучаєв аналізував такі вправи на прикладі рукописів початку XVIII ст. учнів граматичних класів Чернігівського колегіуму [12, с. 290–291]. Подібні учнівські практикуми залишили нам учні й інших колегіумів, наприклад Харківського (1750–1753 рр.) [13, ф. 310, спр. 72, арк. 1–27].

Говорячи про наступні класи, після граматичних, слід зазначити, що найбільше історичної інформації учні отримували в риторичному класі. До речі, таку практику можна назвати загальноєвропейською нормою, оскільки, хоча спеціальні кафедри історії й виникли в деяких західноєвропейських університетах у XVI ст., протягом XVI–XVII ст. більшість студентів отримували історичні знання саме від професорів риторики, а не історії [14, с. 50]. Отже, дослідження курсів риторики перш за все надає можливість окреслити коло історичних знань, які отримували студенти православних колегіумів України у XVIII столітті. Наприклад, курс риторики Феофана Прокоповича, під впливом якого читався відповідний курс й у Чернігівському колегіумі, містив й історичні сюжети. Подібно до Квінтіліана, історія розглядалася автором курсу як джерело для прикладів ораторського мистецтва [6, с. 16]. Курси риторики та поетики Феофана Прокоповича були широковідомими у всіх колегіумах, й суттєво впливали на зміст аналогічних курсів у них. Подібний висновок було зроблено польською дослідницею П. Левін щодо курсу, прочитаного у Переяславському колегіумі у 1767 р. [15, s. 73–99]. Зазначимо, що у бібліотеках колегіумів зберігалося чимало конспектів курсів, прочитаних у Києво-Могилянській академії, й зрозуміло, що вони ставали взірцями для викладачів колегіумів.

Історичні відомості, повчальні приклади та факти, які повідомляли професори риторики та поетики, бралися ними з праць Плутарха, Геродота, Саллюстія, Таціта, Плінія Старшого, Зонарія, Цезаря Баронія, Вікентія Бове та ін. [16, с. 198]. Отже, можемо бачити знайомство професорів з працями давньогрецьких, римських, візантійських, італійських, іспанських істориків. Існують відомості про те, що у класі латинської риторики Харківського колегіуму студенти обов'язково мали вивчати твори Курція, Цицерона, Саллюстія [17, с. 66–67]. Втім, поступово від сюжетів церковної та всесвітньої історії, які безумовно були центральними, й Феофан Прокопович, й інші викладачі, почали звертатися й до прикладів з східнослов'янської історії [6, с. 17].

Повертаючись до перекладу Тита Лівія, який зробили викладачі Чернігівського колегіуму, з великою долею впевненості можна стверджувати, що вони здійснили цю масштабну працю з метою подальшого використання перекладу у навчальному процесі. На початку XVIII століття

у Чернігівському колегіумі було зроблено кілька перекладів й написано декілька праць викладачами саме з такою метою (у 1710 р. була перекладена та опублікована книга протестантського богослова Іоганна Гергерда «Богомисліє», а також богословський твір Дрекселія «Іліотропій»). Чому був обраний саме Тит Лівій? Професор М.М. Снегирьов, який вперше звернув увагу на цей переклад у першому номері «Вчених записок Московського університету» (наскільки нам відомо, до аналізу цього перекладу більше ніхто не звертався), пояснив вибір чернігівських професорів тим, що таким чином вони визнавали першість Тита Лівія як «батька римської історії» [18, с. 698]. Те, що переклад ряснів невдало підібраними російськими словами, мовною «жорсткістю», Снегирьов пояснював недостатньою сформованістю самої російської мови, тими вадами, які були притаманні більше часу, ніж викладачам колегіуму [18, с. 700, 702]. Отже, на початку XVIII століття у Чернігівському колегіумі зробили крок на шляху до вивчення античної історії, й це можна розглядати як прояв загальноєвропейського процесу. Адже у Європі цей автор був вже перекладений багатьма мовами, вважався одним з основних авторів з історії Риму, й у бібліотеках різних країн зберігалося чимало його видань [19, с. 80]. Більше того, звернення до творів Тита Лівія, Таціта, інших античних авторів, ставало джерелом появи творів, ідей, думок, які належали до різних культур і стилів, як Ренесанс, так й Бароко [19, с. 90]. Взагалі слід розуміти, що до певної міри, образи, які були запозичені у античних авторів, ставали, у свою чергу, основою уявлень про оточуючий світ й про колегіумську освіту в тому числі. Так, один з героїв твору В. Наріжного «Бурсак», описуючи переваги внутрішньої організації бурси Переяславського колегіуму, казав: «...почесний стан у бурсаків створює в малому виді прекрасний Рим, й консул управляє їм разом із сенатом. Консулом обирається старший з богословів, а інші богослови та філософи створюють сенаторів, ритори складають лікторів, або виконавців рішень сенатських; піїти називаються целерами, або бігунами, яких використовують для розсилки; інші складають плебеян, або чернь — простий народ. Бачиш, як все це чудово упорядковано!» [20, с. 14].

У XVII–XVIII ст. у західноєвропейських університетах професори історії також виступали перш за все в якості товмачів античних істориків та хронологів, й тільки у XVIII столітті окремі професори-історики «звільнилися від «кайданів» класики та хронології» [14, с. 50]. Тобто стародавніх авторів припинили розглядати у якості єдиного джерела мудрості. Всесвітня історія поступово почала переорієнтуватися: тепер вона мала вивчати причини розквіту та падіння імперій. До історичних курсів почали потрапляти й події відносно недалеких часів. Наприклад, після 1786 р. у Doctrinaire college при Університеті Бурже послідовність вивчення студентами історії стала такою: Ветхий Завіт, класична та французька історія, фізична географія та топографія Близького Сходу, Середземномор'я та Європи, американська війна за незалежність [14, с. 50]. До програм

середніх шкіл Франції історія формально потрапила у 1789–1793 рр., хоча закріпилася лише на початку XIX ст. Тільки у 1818 р. історія стала у середніх школах обов'язковою дисципліною [21, с. 18].

Говорячи про загальноєвропейські процеси у викладанні історії у XVIII ст., ми розуміємо, що вони проходили в рамках окремих кафедр історії в університетах. Коли ж в православних колегіумах відбулося виокремлення історії з курсів поетики та риторики, тобто змінилися спрямованість і характер викладання історичних відомостей? Адже, при повідомленні історичних фактів у рамках зазначених курсів за мету ставилося перш за все те, щоб зробити більш цікавими ораторські та поетичні зразки, ілюструючи їх яскравими епізодами з історії та культури (переважно античного світу). Коли ж історія як предмет викладання стала формулювати свої специфічні завдання? Не менш важливо встановити коли з'явилися в колегіумах й перші спеціальні викладачі історії.

П. Знаменський, один з найбільш авторитетних дослідників історії духовних шкіл Російської імперії стверджував, що значно раніше ніж у інших закладах, окреме викладання історії почалося у Петербурзькій семінарії (академії) і Харківському колегіумі [22, с. 461]. За даними П. Знаменського (щоправда він не назвав документа, на підставі якого повідомив ці відомості), викладання історії в Харківському колегіумі розпочалося ще до 1741 р., а потім припинилося. Важливим свідченням щодо подальших подій, є рапорт белгородського єпископа Огея від 30 квітня 1785 року, в якому на вимогу Синоду надіслати відомості про предмети, які викладають в колегіумі, він звітував про те, що «науки історія та географія» почали викладатися за єпископа Самуїла Миславського (який стояв на чолі єпархії у 1768-1771 рр.) [23, ф. 796, оп. 66, спр. 154, арк. 47]. Це підтверджується й донесенням ректора колегіуму Лаврентія Кордета про жалування, яке отримали викладачі за 1769 рік [24, ф. 1973, оп. 1, спр. 681, арк. 2]. У списку бачимо викладача поезії, який викладав історію та географію. Тим самим, можна заперечити свідчення академіка В.Зуєва, який у своїх подорожніх записках зазначав, що викладання історії та географії почалося в колегіумі при єпископі Огеї (цей єпископ керував єпархією у 1774–1786 рр.) [25, с. 189]. Разом з цим, вважаємо, що такий критерій виокремлення історії як наявність окремого викладача, не враховує об'єктивних обставин існування колегіумів. Скажімо, для Переяславського колегіуму (при його незначних доходах, які він отримував від невеликої єпархії) тримати ще одного викладача було вкрай обтяжливо. Практика навіть таких «заможних» колегіумів, як Харківський, свідчить про те, що у деякі роки (особливо після проведеної секуляризації церковних та монастирських маєтностей) читання історії та географії доручалося викладачу риторичного або поетичного класу. Втім, у 1780–90-х рр. це вже був окремий предмет викладання, додаткове учбове навантаження, що обов'язково зазначалося у відомостях про викладання навчальних дисциплін. Важливо також і те, що у 1780–90 рр. у звітах до Синоду, серед

дисциплін, які студювалися у колегіумах, відмічали окремо всесвітню історію та церковну історію [23, ф. 796, оп. 72, спр. 417, арк. 1]. Про це свідчать також і звіти викладачів історії та географії [24, ф. 1973, оп. 1, спр. 1254, арк. 4]. При дослідженні реєстрів студентів стає очевидним, що у 1770-ті роки (й у наступні десятиліття), історію студювали всі, в той час, як, наприклад, нові мови могли у цей час вивчати за бажанням [23, ф. 796, оп. 71, спр. 418, арк. 386–393; 24, ф. 1973, оп. 1, спр. 1251, арк. 6; спр. 2151, арк. 1–16]. Втім, виокремлення історії та географії з курсів риторики та поетики у Переяславському колегіумі, наприклад, відбувалося через читання історії та географії додатково у рекреаційні дні [22, с. 462].

На жаль, про зміст лекцій з історії маємо небагато достовірної інформації. Інструкції, які надавалися керівництвом викладачам колегіумів (а також Києво-Могилянської академії), й які виступають важливим джерелом відомостей щодо змісту навчання, містили вказівки про викладання тільки ординарних предметів, а історія відносилася до екстраординарних дисциплін. Отже, для з'ясування ситуації необхідно збирати і аналізувати всю непрямую інформацію джерел різного спрямування, підбирати мозаїку з окремих невеличких фрагментів. Так, наприклад, з листування Самуїла Миславського можна дізнатися про бажання купити «Лустинові, Флорові та Евтропієві історії» [25, ф. 36, спр. 1, арк. 13 зв.]. П. Знаменський мав відомості, що у Переяславському колегіумі викладали *Mellificium historicum*, а також історичну географію Целлярія [22, с. 462].

Переклади історичних праць, як вже зазначалося, робилися не тільки для удосконалення вивчення мов. Очевидно, у такий спосіб відбувалося й вивчення історії. Звернемо увагу також на те, що серед перекладів історичних праць, які робили у колегіумах, з другої половини XVIII століття зустрічаються переклади з «нових мов», які були присвячені не тільки стародавній історії. Так, у Відділі рукописів Державного історичного музею Російської Федерації зберігається переклад з німецької мови «Короткого опису життя Фридеріка Августа, короля Польського та курфюрста Саксонського», який був зроблений у Харківському колегіумі у 1770 році [26]. Отже, прикметою часу стає звернення до подій недавньої історії, а також історії сусідніх країн.

Шкільний театр, який також був запозичений православними колегіумами з єзуїтських колегіумів, як відомо, існував як невід'ємна складова навчально-виховного процесу. Встановлення репертуару шкільних театрів теж дозволяє реконструювати зацікавленість певними історичними сюжетами. Містерії або драми, які ставилися у колегіумах, — це перш за все вистави за сюжетами Святого Письма або церковної історії. При цьому, як свідчить опис драматичного твору на церковно-історичну тематику (він знаходився в одному з конспектів риторичних лекцій Чернігівського колегіуму 1708 р.), в ньому помітні ремінісценції з подіями Північної війни [12, с. 294–308]. Отже, ми спостерігаємо поступове переміщення інтересу, наближення до подій сучасної та вітчизняної історії.

Реконструкція історичної інформації, яку надавали своїм слухачам викладачі колегіумів, представляється можливою через дослідження каталогів колегіумських бібліотек. Три каталоги Харківського колегіуму (1753 р., 1769 р. та поч. XIX ст.), які збереглися у різних архівосховищах, надають найбільший простір для встановлення «історичних фондів» [27, с. 121]. Втім, частково описані зібрання й інших колегіумів [28]. Каталоги, а також окремі реєстри книжок (які купили або подарували), дають змогу казати про те, що найкраще в бібліотеках були представлені античні історики (Цезар, Саллюстій, Курцій, Лівій, Іустин, Цицерон, Плутарх, Геродот, Тацит, Пліній Старший і т.д.), що цілком природно. У «Реєстрі книг» бібліотеки Харківського колегіуму, який був складений у 1753 році й сьогодні зберігається у бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, деякі історичні праці (Іустина, Плінія Старшого) були у декількох примірниках, а окрім вищеназваних античних істориків, у цьому каталозі значаться праці Плутарха, Светонія, декілька хронік та праць з польської історії («Війна домова») [29, № 1817/с 895, арк. 1–16, 21–23]. Як бачимо, можливості розпочати викладати історію ще у першій половині XVIII ст. підкріплювалися наявністю відповідних історичних праць. У бібліотеках колегіумів були представлені переклади російською праць С. Пуфендорфа «Вступ до історії», церковної історії Баронія, праць Г. Кураса «Вступ до генеральної історії» та про діяння Олександра Великого, які використовувалися у викладанні історії, їх брали читати викладачі та студенти. У 1760–1780-ті роки у бібліотеках з'явилися декілька нових видань, які були написані як книги для читання з російської історії: «Короткий російський літописець з родословцем» М.В. Ломоносова, «Короткий московський літопис» О.П. Сумарокова, «Зображення російської історії» А. Шльоцера. У бібліотеці Харківського колегіуму було чимало примірників журналу «Ежемесячные сочинения», в яких був представлений широкий діапазон історичних публікацій від узагальнюючих праць до невеликих розвідок з етнографії, описи старожитностей тощо. Ці журнали брали читати студенти колегіуму [29, № 1817/с 895, арк. 53].

Не менш цікавими є описи особистих книжкових зібрань викладачів колегіумів. Наприклад, про наукові зацікавлення одного з викладачів, ректора Харківського колегіуму Лаврентія Кордета, свідчить реєстр його власної бібліотеки, в якому значаться окрім античних істориків, «Синописис» та історико-географічні праці [30, ф. 20, спр. 953].

Ще одним джерелом, яке можна аналізувати з метою вилучення інформації про викладання та вивчення історії в колегіумах, можуть бути нотатки про книги, які видавалися викладачам та студентам для підготовки до лекцій, занять, для читання на вакаціях. Цінність таких побіжних відомостей справочинної документації в тому, що вони демонструють прилучення до історії на рівні повсякденного життя, повсякденних занять. При розгляді їх у комплексі, ми визначаємо не тільки коло навчальних

посібників, але й можемо досягти більш широкого уявлення про зацікавлення історією викладачів та студентів колегіумів України у XVIII столітті. Наприклад, у реєстрі книжок, які узяв студент філософії Петро Крижанівський у 1773 році, значаться праці Цицерона, Целлярія та Боссюе [24, ф. 1973, оп. 1, спр. 2154, арк. 1]. (Праця французького католицького священника Ж. Боссюе «Роздуми про всесвітню історію», в якій він розвиває ідеї суспільного договору, була широковідомою в європейських країнах.) Студенти риторики брали вивчати книги Квінта Курція, «Ксенофонову історію» [29, № 1817/с 895, арк. 50, 68 зв.]. Белгородський єпископ Йоасаф Горленко брав з бібліотеки колегіуму Йосифа Флавія [31, с. 114]. Для уявлення смаків читання студентів колегіумів цікавим прикладом є скарга студента богослов'я І. Прокоповича на І. Леонтовича (1770 р.), де зазначається, що останній узяв, серед інших, три томи історії Вольтера (французькою мовою) [24, ф. 1973, оп. 1, спр. 1909, арк. 1]. Як відомо, ці праці Вольтера були популярними у вивченні історії й у європейських університетах [14, с. 50]. Те саме можна сказати й про працю Квінта Курція Руфа «Історія Олександра Великого» й про інших римських істориків, які користувалися великою увагою у XVII–XVIII ст. у західно-європейських аудиторіях. Не слід забувати й про те, що праці німецького вченого Х. Вольфа, які добре знали й вивчали в колегіумах, містили також й історичні сюжети, пояснення ходу історії з позицій теорії «природного права».

У бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна зберігається рукопис латинською мовою «Зауваження про всесвітню історію», який, на жаль, не містить вказівок на час, місце написання, приналежність до певного бібліотечного зібрання [29, № 367/с 267]. За наявними ознаками рукопис можна датувати серединою XVIII ст., й казати про тотожність з конспектами курсів, які писалися в православних колегіумах або Києво-Могилянській академії. Рукопис містить стислий опис найважливіших подій історії Стародавнього Сходу, Греції та Риму.

Хто ж викладав історію в православних колегіумах України у XVIII столітті? Зрозуміло, що при уривчастості відомостей, імена викладачів, які першими почали викладати історію в колегіумах, назвати важко. Презентуємо лише найбільш ранню відомість про колегіумського викладача історії, яку нам вдалося розшукати. Так, у донесенні ректора Харківського колегіуму Лаврентія Кордета про викладачів та предмети у 1773–1774 навчальному році читаємо, що історію та географію (як окремий предмет!) викладав Іван Переверзев, й такий порядок буде зберігатися й у наступному навчальному році [24, ф. 1973, оп. 1, спр. 2161, арк. 1–2]. Декілька слів про цього викладача. Іван Переверзев відомий як укладач «Топографічного опису Харківського намісництва» 1788 року. Втім, у найбільш повній його біографії, складеній Д.І. Багалієм, факт викладання у колегіумі не відмічений [32, с. 330–331]. Цікаво, що І. Переверзев після Харківського колегіуму був призначений викладачем риторики у Воронежську духовну

семінарію, де, за словами історика цієї семінарії П. Нікольського, «без будь-якої настанови» ввів викладання історії, використовуючи для цього вільні години [33, с. 130]. Після повернення до Харкова І. Переверзев очолював Головне народне училище. До речі, М.А. Литвиненко, досліджуючи «Топографічний опис», відзначала деякі цікаві риси, наприклад, що автор замість слова «малоросіяни» вживав «українці», «Україна», підкреслював позитивний вплив українців на великоросіян, які жили в Україні і по сусідству [34, с. 132].

Ще одним видатним викладачем, який окремо читав курс історії та географії в Харківському колегіумі на початку 1780-тих років був Андрій Прокопович [24, ф. 1973, оп. 1, спр. 1251, арк. 6]. Вважаємо, що не випадково, у ряді видань, які готувалися у колегіумі, починаючи з «Господарського способу пізнання погоди у 1806 році», а також у «Календарях», окрім звичайних для календарів відомостей, у другій частині містився «Короткий опис Слобідської України», який включав опис губернії, міста Харкова та Харківського колегіуму. Ці видання можна віднести до числа перших в Україні краєзнавчих праць популярного характеру, які писалися спеціально з метою ознайомлення широкого читача з особливостями та історією свого краю [35].

М. Ткачук, визначаючи перспективні стратегії дослідження філософської спадщини Києво-Могилянського академії, наголошує на доцільності вивчення питання про те, якою мірою «викладацька діяльність збігалася з покликанням викладача», а також на дослідженні їх творчості «поза межами академічної кафедри тощо» [8, с. 78]. Гадаємо, що такий підхід слід використовувати й вивчаючи діяльність викладачів історії в колегіумах.

В українській та російській історіографії, при дослідженні історичних праць, створених у XVIII столітті, надзвичайно рідко вказується на зв'язок між історичними уявленнями, методами роботи їх авторів та тими навчальними закладами, де вони отримали освіту. При аналізі підручників з історії, які з'явилися у XVIII столітті, зазвичай також не називаються (й не виявляються) навчальні заклади, які використовували ці книги у процесі викладання. Саме тому, в історіографії, як начебто зовсім окремі світи, які не мали точок сполучення, існують навчальні заклади і здобутки окремих осіб на історичній ниві. Відповідно вважаємо за важливе досліджувати й студентську аудиторію, яка слухала курси з історії в колегіумах України. Так, В.В. Кравченко, певною мірою у вивченні історичної спадщини, вважає історичні романи «Бурсак» та «Запорожець» В. Наріжного, поетичні твори М. Гнідича [36, с. 106]. Зазначимо, що названі діячі культури навчалися відповідно у Переяславському та Харківському колегіумах. Можна додати для прикладу, що Харківський колегіум у 1790 р. (коли історія вже читалася окремим предметом) з успіхом закінчив майбутній історик академік М.Т. Каченовський [37]. У інших закладах він не навчався, згодом почав викладати в Московському університеті з читання «риторичних лекцій». Каченовський заснував одну з перших в російській історичній

науці так звану «скептичну школу». Таким чином, досліджуючи історію історичної освіти ми зможемо краще зрозуміти розгортання історіографічного процесу в Україні у XVIII столітті.

Для того, щоб адекватно оцінити здобутки українських колегіумів у викладанні історії, важливо відзначити, що в Російській імперії у XVIII столітті історія як окремий предмет викладання існувала тільки у декількох навчальних закладах. Скажімо, академічний університет не став центром викладання історії, й тільки у Московському університеті з 1755 року почала викладатися всесвітня історія, й було поставлене питання про переклад з іноземних мов учбових посібників з історії [38, с. 140]. Окрім православних колегіумів у XVIII столітті в Російській імперії окреме викладання історії у 1760–1780-ті роки відбувалося тільки в декількох семінаріях та академіях (в якості екстраординарних класів). Саме тому Катерина II наголошувала на необхідності читання «історії церковної та громадянської» у духовних школах імперії [39, с. 585]. Відповідно до її зауважень, у Проекті та Статуті духовних навчальних закладів (1766 р.) планувалося ввести у риторичному класі викладання історії, а у філософському класі – історії філософії [40, с. 312–313]. Втім, цей та інші подібні проекти тоді не втілювалися у життя. Як довів П. Знаменський, у семінаріях Російської імперії викладання історії поживалося тільки з другої половини 1780-х років, після розпорядження Синоду про введення в духовні школи порядку народних училищ [22, с. 780]. Навіть на початку XIX ст. у таких відомих семінаріях, як Троїцька, викладання історії було у занепаді [22, с. 781].

Поява народних училищ в Російській імперії означала нову віху у викладанні історії. Поступово завершувався період, коли викладання історії в духовних школах (навчальні книги, порядок вивчення, навчальне навантаження), в тому числі й колегіумах, зумовлювалося тільки місцевими умовами (традиціями та можливостями). Останнє десятиліття XVIII століття характеризувалося появою рекомендованих навчальних посібників з історії, розробкою планів її викладання тощо. Комісія народних училищ опрацювала достатньо широкую програму написання підручників, в тому числі з російської історії, яка поступово почала виконуватися [41, с. 132–135]. Деякі з книг, які рекомендувалися в якості посібників з історії наприкінці XVIII століття – це праці Шрекка, Дільтея, Лакроца, Голберга, Лангія (з церковної історії) [22, с. 781], вже використовували в колегіумах і раніше (наприклад, посібник Лангія). Однак, це були ще перші спроби централізованого закріплення за історією певного місця у навчальних планах. Тільки з початку XIX століття, у зв'язку із підготовкою широкомасштабної реформи закладів освіти, відбулися значні зміни, які стосувалися як змісту навчальних курсів з історії, так і організації самого навчального процесу. Колегіуми України, як своєрідні культурні феномени, в цей час перестали існувати в освітньому просторі.

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що вже з початку XVIII століття історія увійшла до латинізованих православних колегіумів України як

складова частинка декількох навчальних курсів, перш за все курсу риторики. Надзвичайна увага, яка приділялась в колегіумах вивченню творів істориків античності, відбилася у широкому спектрі джерел (справочинній документації, конспектах лекцій, бібліотечних зібраннях тощо). Вивчаючи латинські історичні тексти, роблячи переклади праць істориків античної доби, викладачі та студенти колегіумів долучалися до загальноєвропейського процесу творчого дотику та сприйняття античної історичної літератури, яка підживлювала ренесансні та барочні мотиви європейської культури XVII–XVIII ст. Отже, колегіуми «взяли» із світової культурної спадщини перш за все античний історичний текст, який вже сам по собі представляє всесвіт. Разом з тим, навчальна практика колегіумів демонструє поступове поширення інтересу до відносно недавньої минувшини, а також історії своєї землі та свого народу. Виокремлення курсу історії в колегіумах – важлива віха історії викладання цього предмету. Вважаємо, що цей момент слід враховувати при розгляді й більш широких питань, зокрема, про стан історичної свідомості та історичних знань в Україні у XVIII ст. Очевидно, що колегіуми, як осередки освіти та культури, не тільки «сіяли» історичні знання, але й залишили сходи на історичній ниві.

Література

1. *Захара И.В.* Борьба идей в философской мысли Украины на рубеже XVII–XVIII вв. (Стефан Яворский). – К., 1982.
2. *Литвинов В.Д.* Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України. – К., 1984.
3. *Заславський І.В.* З історії розвитку філософських ідей на Україні (кінця XVI – першої третини XVII ст.). – К., 1984.
4. *Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М.* Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. – К., 1991.
5. *Симон Тодорський і гєбраїстика в Києво-Могилянській академії.* – К., 2002.
6. *Литвинов В.* До питання про ренесансний характер рукописних латиномовних курсів поетики й риторики, читаних у Києво-Могилянській академії та Чернігівському колегіумі // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів. – Чернігів, 2001.
7. *Горський В.* Філософська культура України XVII-XVIII ст. та проблеми її дослідження // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів. – Чернігів, 2001.
8. *Ткачук М.* Філософська спадщина Києво-Могилянської академії: стратегії дослідження // Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура. – К., 2005.
9. *Петров Н.И.* Киевская академия во второй половине XVII века. – К., 1895.
10. ПСЗ РИ. I. – Т.VI. – № 3718.

11. *Булгаков М.* История Киевской духовной академии. — СПб., 1843.
12. *Докучаев Н.* Первые годы существования Черниговской семинарии (1700—1712) // Прибавления к Черниговским епархиальным известиям. — 1870. — № 16.
13. *Відділ* писемних джерел Державного Історичного Музею Російської Федерації (м. Москва).
14. *Броклис Л.* Университет в ранний период современной европейской истории: учебные планы // *Alma Mater.* — 2002. — № 1.
15. *Lewin P.* Dawne polonica literackie w archiwach Moskwy i Leningradu // *Slavia orientalis.* 1972. № 1.
16. *Маслюк В.П.* Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. — К., 1983.
17. *Лебедев А.С.* Харьковский коллегіум как просветительский центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета. — М., 1886.
18. *Снегирев М.М.* О старинном русском переводе Тита Ливия // Ученые записки Императорского Московского университета. — 1833. — № 1.
19. *Серегина А.Ю.* Античные историки в английской полемической литературе конца XVI — начала XVII в. // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 15. — М., 2005.
20. *Нарежный В.Т.* Бурсак, малороссийская повесть // *Нарежный В.Т.* Сочинения: В 2 т. — М., 1983. — Т.2.
21. *Про А.* Двенадцать уроков по истории. — М., 2000.
22. *Знаменский П.* Духовные школы в России до реформы 1808 года. — Казань, 1881.
23. Російський державний історичний архів.
24. Центральний державний історичний архів України (м. Київ).
25. Відділ рукописів Державної Публічної бібліотеки (м. Санкт-Петербург).
26. Відділ рукописів Державного Історичного Музею Російської Федерації (м. Москва). — *Чертков.* № 183 — 4°.
27. *Посохова Л.Ю.* Харківський колегіум (XVIII — перша половина XIX ст.). — Харків, 1999.
28. *Лилеев М.И.* Описание рукописей, хранящихся в библиотеке Черниговской духовной семинарии. — СПб., 1880.
29. Відділ рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
30. Відділ рукописів Інституту літератури НАН України.
31. *Лебедев А.С.* Белгородские архиереи и среда их архипастырской деятельности. — Харьков, 1902.
32. *Багалец Д.И.* Очерки из русской истории. Т.2. Монографии и статьи по истории Слободской Украины. — Х., 1913.
33. *Никольский П.* История Воронежской духовной семинарии. Ч. 1. — Воронеж, 1898.

34. *Литвиненко М.А.* «Топографическое описание Харьковского наместничества» як джерело для вивчення історії Слобідської України // Український історичний журнал. — 1966. — № 1.

35. *Посохова Л.Ю.* Андрій Прокопович. Доля українського інтелектуала на рубежі XVIII-XIX століть // LAUREA. К 80-літтю професора Володимира Івановича Кадеєва. Сб. науч. трудов. — Харьков, 2007.

36. *Кравченко В.В.* Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина XVIII — середина XIX ст.). — Харків, 1996.

37. *Посохова Л.Ю.* М.Т. Каченовський та Харківський колегіум // Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень: Харківський історіографічний збірник. — Харків, 2003. — Вип. 6.

38. *Шанский Л.Н.* Историческая мысль // Очерки русской культуры XVIII века: Ч. 3: Наука. Общественная мысль / Под ред. акад. Б.А. Рыбакова. — М., 1988.

39. *Истомин Г.* Постановления имп. Екатерины II относительно образования духовенства // Труды Киевской духовной академии. — 1876. — Сент.

40. *Рождественский С.В.* Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII — XIX веках. — СПб., 1910.

41. *Смагина Г.И.* Академия наук и российская школа (вторая половина XVIII в.). — СПб., 2002.

Розділ VI

Спогади

От редакции: 30 ноября 2007 г. исполнилось 80 лет заслуженному преподавателю Харьковского университета Борису Петровичу Зайцеву – старейшему преподавателю кафедры историографии, источниковедения и археологии Харьковского университета, работавшему на ней с момента ее основания. Основные направления научной работы Б.П. Зайцева – специальные исторические дисциплины, историческое краеведение, история Харьковского университета. Он автор и соавтор свыше 400 научных, научно-популярных и методических работ.

Б.П. ЗАЙЦЕВ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

До Великой Отечественной войны и три с лишним месяца после её начала наша семья, семья Зайцевых, проживала в городе Сталино Сталинской области (теперь г. Донецк Донецкой области) по улице Челюскинцев (старое название – 9 линия) № 12. Это был небольшой двор, типичный для города того времени. В нем находилось несколько жилых строений, примыкавших одно к другому: двухэтажные, одноэтажное. В квартирах проживало около 10 семей. Во дворе были сараи, в которых жильцы хранили уголь, дрова и др. Въезд во двор, он же и вход, был один – через ворота, которые располагались впритык с одной и другой стороны к жилым помещениям. Наша небольшая трехкомнатная квартира располагалась над полуподвальным жилым помещением. Улица Челюскинцев проходила недалеко от ограды Сталинского металлургического завода, что через некоторое время негативно отразилось на судьбе нашего двора, семьи.

Отец, Петр Спиридонович, работал в Куйбышевском райкоме компартии Украины г. Сталино. Мать, Евгения Павловна, учительствовала в железнодорожной школе станции Сталино. Я в июне 1941 года окончил 6-й класс средней школы № 18, сестра Лилия – 4-й класс начальной школы № 8. С нами жила бабушка по материнской линии, которую мы, дети, называли «бабушкой Леной».

В апреле 1941 года отец был командирован Сталинским областным комитетом в Часов Яр – КП(б) Украины в распоряжение Часов-Ярского рудоуправления Народного комиссариата черной металлургии СССР. В городе Часов Яр (сейчас город Артемовского района Донецкой области) он был назначен на должность начальника железнодорожного

цеха Часов-Ярского огнеупорного завода (теперь Часовоярский огнеупорный комбинат). Завод имел оборонное значение, так как был связан с добычей и обработкой высококачественной глины.

После окончания учебы мать, я и сестра в первой декаде июня поехали в г. Часов Яр повидаться с отцом и отдохнуть. Но отдыхать пришлось недолго. С началом войны мы, простившись с отцом, вернулись домой.

Возвратясь в г. Сталино, мы остро почувствовали дыхание войны. Военная обстановка, сообщения по радио о боевых действиях на фронтах, заботы и волнения взрослых передавались и детям. Они становились взрослее, серьезнее и ответственнее, хотя детство, все-таки, брало своё. После домашних дел я шел к однокласснику играть в шахматы. Это было почти каждый день. Читал приключенческую литературу, играл с ребятами по двору в различные игры. Но теперь также ежедневно вставал очень рано и шел занимать очередь за хлебом. Это была моя обязанность. А очереди в хлебные магазины были огромные, по несколько сотен человек. Первое время хлеб и другие продукты продавали без продовольственных карточек, но на руки одному человеку продавали хлеба ограниченное количество. Булочные изделия пока можно было купить без ограничений, и мы, пользуясь этим, стали сушить сухари. Их, правда, было немного. Но позже это стало хорошим подспорьем для нас.

Резко изменился облик города. С наступлением сумерек все строго придерживались светомаскировки. Жители в своих квартирах закрывали окна ставнями, байковыми одеялами, темной бумагой и др. Ни один луч света не должен был проникать наружу. За этим следили специальные команды, которые патрулировали по городу. Стекла окон квартир оклеивались крест-накрест бумажными полосами. Это должно было обезопасить людей от осколков в случае повреждения оконных стекол во время бомбардировки города вражеской авиацией. В ночное время фонари на улицах не горели, автомашины ездили редко, с затемненными в синий цвет фарами, а бордюры тротуаров были окрашены в белый цвет. Хождение пешеходов в ночное время строго ограничивалось.

Были предприняты противопожарные мероприятия. На чердаках и крышах домов ставили бочки с водой и ящики с песком. Здесь же были огнетушители, большие клещи (около 1 м длиной) для захвата зажигательных бомб, их гашения в бочках с водой и сбрасывания с крыш на землю, а также лопаты, багры и др. Взрослые люди и совершеннолетняя молодежь из взводов противопожарной охраны в ночное время дежурили на крышах, в частности на крышах жилых многоэтажных домов. Всех этих правил придерживались и жители нашего двора. Во время воздушных тревог жильцы уходили в бомбоубежище, которое было оборудовано в подвальном помещении.

Как мне помнится, первый германский самолет-разведчик появился над г. Сталино в середине августа 1941 года. Покружив высоко в небе, он выхлопными газами начертал цифру «8» и улетел в западном направлении.

Очередной раз вражеский самолет-разведчик прилетал 24 августа. Это был солнечный безоблачный день. Опять-таки на большой высоте он покружил над городом, изобразил восьмерку и улетел. Служба воздушного наблюдения, противовоздушная оборона города молчала и первый, и второй раз прилета вражеского самолета. В чем причина трудно сказать. Но, по всей вероятности, служба ПВО города не могла себе и представить, чтобы самолет противника мог так далеко залететь от линии фронта в тыл нашей страны. Среди людей пошли разговоры, что это предупреждение, что через восемь дней прилетит бомбардировщик и будет бомбить город. Так оно на самом деле и произошло. И это не случайно. Дело в том, что германские летчики, пользуясь своим преимуществом в воздухе в начальный период войны, вели себя самоуверенно. Гитлеровское командование, учитывая фактор преимущества, разрешало летчикам предупреждать жителей отдельных городов о предстоящей бомбардировке их города. 31 августа, воскресенье, тихий и теплый вечер. Многие люди еще во дворе. Школьники уже в постели, так как это последний день школьных каникул, а завтра с утра нужно будет идти в школу на занятия. 1 сентября — начало нового учебного года. Лег спать и я с сестрой. А мать сидела в отдельной комнате за столом, готовилась к проведению уроков в классе. Она была учителем младших классов.

Ничто не предвещало неожиданных потрясений. И вдруг! Взрывы, огонь, крики людей...

До сознания людей, после оцепенения, дошло, что это бомбардировка. Только теперь многие поняли, что означала восьмерка в небе. Они на себе ощутили непосредственное соприкосновение с ужасами войны и их последствиями. Время бомбардировки зафиксировали часы-ходики, которые люди нашли среди развалин нашей квартиры. Они остановились в момент взрыва и показывали 21 час 45 минут.

К сожалению, и 31 августа, во время налета вражеских самолетов на город, служба воздушного наблюдения не оповестила заранее население о приближении вражеских бомбардировщиков. Сигнал воздушной тревоги был объявлен слишком поздно, когда бомбардировка была завершена.

Это был первый воздушный налет на г. Сталино вражеских бомбардировщиков. По-видимому, в воздушное пространство города прорвался только один бомбардировщик «Юнкерс-88».

Летчик рассчитывал бомбовым ударом парализовать работу Сталинского металлургического завода. Но не рассчитал, и бомбы были сброшены на жилые дома в начале улицы Челюскинцев. Было сброшено несколько фугасных авиационных бомб. Первая бомба была весом 250 кг. Она упала во дворе дома, находившегося недалеко от ограды завода. Из-за скученности людей во дворе в тот теплый летний вечер жертв было много. Взрыв авиабомбы был такой мощный, что взрывной волной части человеческих тел были заброшены на соседние улицы. За этой бомбой была сброшена

50-ти килограммовая, которая попала в наш дом. Поскольку под нашей квартирой находилось полуподвальное жилое помещений, то бомба, пробив крышу дома, пол нашей квартиры в кухне, взорвалась в подполье. К счастью, жильцов в той квартире в тот момент не было. Взрывная волна от разрыва бомбы с осколками «ворвалась» и в нашу квартиру, обрушила потолок и стены в двух комнатах и кухне. Деревянная пристройка, которая служила у нас комнатой, завалилась и закрыла въезд во двор.

Бабушка, которая в то время сидела на крыльце, погибла под развалинами. Мать была поражена мелкими осколками, которые еще долго давали о себе знать. Мне с сестрой «повезло». В нашу спальню вошла часть взрывной волны, которая обрушила только потолок в спальне. Я был им так придавлен, что не мог пошевелить ни одним суставом. Но благодаря тому, что голова была закрыта одеялом, я мог дышать. Когда меня «откопали» соседи, то увидели, что лицо моё покрыто коричневой коркой от ожога взрывной волны, а из предплечья правой руки течет кровь. Следы ожога на лице и рана на руке еще долго напоминали о том роковом дне. В одежде моей, которая висела на перилах кровати у ног, был обнаружен «обессилевший» осколок бомбы весом около 200 г.

Когда я очнулся после взрыва, то услышал разговор людей и крик матери: «Там дети!» А потом увидел её окровавленное лицо. После моего освобождения меня с сестрой сразу же отвели в бомбоубежище. Мать, по прибытию спасательной команды, отвезли в госпиталь. Поскольку въезд во двор был завален развалинами нашей квартиры, спасателям пришлось носилки с матерью переносить через забор соседнего двора. Бабушку, очевидно, отвезли в морг. С ней мы так и не смогли попрощаться. А после войны родителям, к сожалению, так и не удалось установить место её захоронения.

В бомбоубежище мою рану перевязали подручными средствами и положили меня на раскладушку. Поднялась температура, началось головокружение, тошнота, рвота. С рассветом соседи отвели в больницу. Не обнаружив переломов на теле, обработав и перевязав рану, меня выпроводили из больницы. Никого рядом из близких не было, которые смогли бы позаботиться. Я, измученный, ослабевший, с обезображенным лицом, в ночном белье, шатаясь, брел по городу. Когда пришел в свой двор, то увидел, что сестра сидит посредине двора на вещах, которые смогли собрать соседи в развалинах квартиры. Они же срочно вызвали из Часов Яра отца, который через сутки приехал в г. Сталино и занялся нашим устройством. Спасибо соседям, они как могли и чем могли помогали нам. До приезда отца они собрали необходимые вещи, наши документы, кормили нас и поддерживали морально. По приезде отец сразу же побывал в эвакуационном пункте, объяснил сложившуюся обстановку и добился того, чтобы был выделен транспорт для переезда на новое место жительства. Была выделена подвода, на которой меня с

сестрой и вещами отец отвез на время к своему знакомому, который проживал в пригороде. Мы распрощались с друзьями и знакомыми нашего двора навсегда. Я никогда больше здесь не был. Бомбардировка г. Сталино 31 августа 1941 года, как мне стало известно позже, не нашла отражения ни в одной публикации. И вполне объяснимо. Для того времени это было рядовое событие.

Мы некоторое время жили без родителей, отец, по возможности, навещал нас. Сюда же в конце сентября, в связи с эвакуацией госпиталя, приехала и мать. Она была еще не совсем здорова, и ей предлагали эвакуироваться с госпиталем. Но она отказалась, не могла оставить нас. Прожив некоторое время у приветливых и гостеприимных людей, отец перевез нас (уже с матерью) на станцию Сталино к учительнице, с которой мать работала в школе. У неё мы жили до эвакуации, до начала октября. А сам уехал в Часов Яр на работу. Завод готовился к эвакуации. Конечно, ни о какой учебе в такой обстановке не могло быть и речи.

Мать была потрясена событием 31 августа. После этого не могла слышать шум летающих самолетов и особенно германских бомбардировщиков «юнкерсов» с их зловещим прерывистым завыванием «гу-гу-гу», выстрелы зенитных орудий. С ней происходили истерики. Она хватала нас в любое время суток и мы бежали в укрытие — траншею, которая была вырыта во дворе дома.

А вражеские самолеты, особенно самолёты-разведчики, стали частенько появляться в дневное время в районе железнодорожной станции. По-видимому, следили за передвижением советских эшелонов по железной дороге Мариуполь — Волноваха — Сталино — Ясиноватая... Часто шли эшелоны в сторону Ясиноватой. Руководство завода отпустило отца к семье для организации её эвакуации. Но в сложившейся обстановке он вынужден был остаться с семьёй и эвакуироваться с ней. По прибытию отец с несколькими железнодорожниками станции Сталино, семьи которых были готовы к эвакуации, добились у начальника станции выделения пассажирского вагона для семей служащих железной дороги. К этой категории относилась и наша семья, так как мать работала учителем в железнодорожной школе. В одном купе поселилось две семьи (6 человек) со своим «скарбом». В таких условиях ехали до места назначения месяц. Тогда эти условия устраивали всех, конфликтов не было. Этот вагон с эвакуирующимися простоял в тупике на станции трое суток. И только на четвертые сутки с большими усилиями удалось добиться его отправки. Маневровый паровоз «кукушка» отвез его на узловую железнодорожную станцию Ясиноватая. С разрешения начальника этой станции мужчины нашего вагона собственными силами передвигали вагон по путям и прицепили его к эшелону, который был указан. Здесь мы простояли тоже трое суток. Станция Ясиноватая была буквально забита эшелонами, не хватало паровозов, машинистов. Были попытки вражеской авиации бомбить это скопление эшелонов. Люди в такой обстановке были беспомощны.

Только благодаря неимоверным усилиям мужчин вагона, постоянному контакту их с начальником станции удалось вырваться из этой «пробки». Дальше наш путь лежал на восток, в Среднюю Азию. Он оказался очень длинным: Дебальцево, Гуково, Белая Калитва, Морозовск, Сталинград, Поворино, Балашов, Ртищево, Пенза, Сызрань, Куйбышев, Оренбург, Актюбинск, Эмба, Аральск, Кзыл-Орда, Арысь, Ташкент, Ленинабад. Станция Ленинабад – конечная точка, место назначения. Кто её определил и когда, мне неизвестно.

На станцию Ленинабад наша семья приехала в начале ноября 1941 года. Через некоторое время родители устроились на работу, а я начал учиться в 7-м классе железнодорожной школы, в которой преподавание велось на русском языке. В этой же школе стала работать учителем младших классов и мать. Отец в начале работал директором хлопкового завода, затем партийные органы направили его в отдаленный район Таджикистана уполномоченным по заготовкам Народного комиссариата заготовок СССР. После освобождения Украины от немецко-фашистских оккупантов он работал в Ольгинском районе Сталинской области, затем в Вижницком районе Черновицкой области в той же должности. После неоднократного обращения в Народный комиссариат черной металлургии СССР был переведен на работу по специальности в этот комиссариат.

В эвакуации я закончил учебу в 7-м классе. В свободное от занятий время и во время летних каникул вместе с одноклассниками помогал местному колхозу в уборке урожая урюка, хлопка, в сортировке коконов шелковичных червей и др. Здесь же в феврале 1943 года вступил в ряды комсомола.

С освобождением Донбасса от оккупантов в сентябре 1943 года мы стали готовиться к отъезду на родину. Возвращались на Украину с «комфортом». Руководство железной дороги выделило на две семьи оборудованный товарный вагон, «теплушку». Нас трое (мать, я и сестра) и директор железнодорожной школы из станции Попасной Ворошиловградской области с женой. В начале ноября 1943 года мы вернулись в родные края и остановились на жительство у сестры отца в пос. Еленовские карьеры, в то время Ольгинский район Сталинской области. Я учился в 8-м классе Еленовской средней школы №1, который окончил в июне 1944 года. Здесь же начал учиться и в 9-м классе. Но в начале декабря, через неделю после того, как мне исполнилось 17 лет, Ольгинским райвоенкоматом был мобилизован в ряды Красной Армии.

О трудностях жизни в военное время говорить и жаловаться не было принято. Ведь большинство людей жило впроголодь. Им было очень трудно. Но они понимали, что идет война, и всячески старались переносить трудности.

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы воинскую службу я проходил в зенитно-артиллерийских частях Московского округа противовоздушной обороны СССР (36-я отдельная зенитно-

артиллерийская бригада, 1225-й и 1212-й зенитно-артиллерийские полки) рядовым, а затем сержантом-командиром дальномерного отделения приборного взвода зенитно-артиллерийской батареи. После демобилизации из рядов Советской Армии в марте 1951 года я приехал в г. Яма (ныне г. Северск) Артемовского района Донецкой области, куда еще в 1946 году был направлен на работу отец. Он занимал тогда должность начальника железнодорожного цеха Ямского доломитного комбината. В г. Яма я сразу же включился в учебу. С апреля по июнь 1951 года учился в 10-м классе Ямской вечерней школы рабочей молодежи. Предварительно, естественно, был серьезный разговор с директором школы. Ведь у меня не было документа об окончании 9-го класса, и он формально не имел права зачислять меня в 10-й класс. Директор школы, учитывая сложившуюся обстановку, пошел мне навстречу и разрешил посещать занятия в 10-м классе при одном условии, что я не буду предъявлять претензии к руководству школы, если не сдам экзамены и, в связи с этим, не получу аттестат об окончании учебы в школе. Я дал обещание и стал регулярно посещать занятия и серьезно готовился к ним. Приходилось нелегко. Слишком большой перерыв был в учебе. К тому же мною не была пройдена учебная школьная программа за 9-й класс. Но благодаря страстному желанию учиться, настойчивости и напряженной работе я, можно сказать, успешно сдал выпускные экзамены и получил аттестат об окончании школы. После получения в конце июня аттестата сразу же стал готовиться к поступлению в высшее учебное заведение. Не колеблясь, подал необходимые документы в приемную комиссию Харьковского университета на исторический факультет и в июле приступил к сдаче вступительных экзаменов. При поступлении на учебу на исторический факультет я сдавал экзамены по четырем предметам: истории СССР, русской литературе (сочинение), географии, иностранному языку (немецкий язык). При подготовке к экзаменам меня больше всего волновал немецкий язык. Я его знал слабо, у меня не было достаточно времени его как следует изучить, да и школьную программу пришлось почти самому осваивать. Задача написать сочинение по русской литературе меня не беспокоила. В то время на вступительных экзаменах по русской литературе, кроме тем по школьной программе, разрешалось писать сочинение на свободную тему. Экзаменационная комиссия предлагала несколько таких тем. Я выбрал тему, посвященную борьбе СССР за мир. Тема борьбы за укрепление мира и международной безопасности была актуальна во второй половине 1940-х — 1950-х годах. Поэтому она и была включена в перечень экзаменационных тем. Я это предполагал и заранее готовился. Читал литературу, просматривал газеты, выучил стихотворения некоторых советских поэтов.

Вступительные экзамены проходили в различных местах города, так как университет в то время не имел единого учебного корпуса, и факультеты были разбросаны по городу. Помню, экзамены по истории СССР

проходили в здании по улице Тринклера, 6, в котором располагался исторических факультет. В настоящее время это здание занимает Харьковская областная стоматологическая поликлиника. Экзамены по русской литературе и немецкому языку сдавал в большой Ленинской аудитории. Главный корпус университета находился тогда в здании по улице Университетской, 16, построенном еще во второй пол. XVIII в. А Ленинская аудитория была в здании на противоположной стороне этой улицы. В настоящее время это здание, как и здание Главного корпуса университета, принадлежат Украинской инженерно-педагогической академии.

Экзамены по географии сдавал на геолого-географическом факультете, который в то время находился на улице Совнаркомовской.

После напряженного, упорного труда вступительные экзамены были сданы, и я был зачислен студентом на первый курс исторического факультета. Узнав результаты экзаменов, я с облегчением вздохнул и поехал к родителям. В Харьков вернулся в конце августа, перед началом занятий.

Вскоре познакомился со своими однокурсниками. Узнал, что из 50-ти поступивших в 1951 году на первый курс исторического факультета 14-ть были участниками Великой Отечественной войны: Б.В. Борисов, В.И. Булах, Г.М. Бутенко, В.М. Вельман, Е. Горбунов, Б.П. Зайцев, В.И. Кадеев, И.А. Квитка, И.И. Кононов, А.М. Куць, Б.К. Мигаль, В.В. Струев, Ю.В. Шиловцев, Н.В. Ширяева. Среди остальных студентов нашего курса — большая часть выпускников средних школ 1951 года.

Декан факультета, доцент Антон Григорьевич Слюсарский был первым преподавателем, который знакомил нас, «новобранцев», с университетом, его историей, с факультетом и его преподавателями, был первым советником и наставником. Антон Григорьевич был хорошим человеком, общительным, доброжелательным, отзывчивым, покладистым, неплохим руководителем коллектива. Его уважали и преподаватели, и студенты. И не случайно, поэтому, он занимал должность декана факультета 15 лет. Последующие после вступительных экзаменов пять лет шла обычная студенческая жизнь и учеба.

Общие лекционные курсы тогда нам читали: доц. Б.А. Шрамко (основы археологии и историю первобытного общества), доц. В.А. Гольденберг (историю древнего мира), ст. преп. Л.П. Калуцкая и А.И. Митряев (историю средних веков), доценты Р.С. Альпер, и Г.А. Сапожникова (историю нового времени), доц. С.И. Сидельников (историю южных и западных славян), проф. А.П. Ковалевский (историю стран Востока), доценты А.Г. Слюсарский, И.Я. Мирошников, С.М. Короливский (историю СССР), доц. И.К. Рыбалка (историю УССР), доц. А.Е. Немирова (основы марксизма-ленинизма), доценты А.И. Ристо и А.С. Слабкий (диалектический и исторический материализм и историю философии).

Из общих лекционных курсов следует отметить также политическую экономию, основы советского государства и права, историю советской литературы, педагогику, методику преподавания истории, древнерусский

язык. Иностранные языки (английский, немецкий, французский, латинский) преподавались по группам. Я изучал немецкий язык, который преподавала нашей группе ст. преп. А.А. Слуцкая. Латинский язык преподавали М.С. Лапина, Сидорова. Специальные курсы студенты слушали по кафедрам. Их было несколько.

Я специализировался с 3-го курса на кафедре древней истории и археологии. Спецкурсы на кафедре читали нам преподаватели кафедры: проф. К.Э. Гриневич, доценты В.А. Гольденберг и Б.А. Шрамко.

С большим интересом слушал лекции Константина Эдуардовича Гриневича по истории античного искусства, его рассказы о пребывании в 1913 году в Греции, знакомстве с памятниками древнегреческой архитектуры и скульптуры и др. Он в то время был студентом отделения истории историко-филологического факультета Харьковского университета.

Спецкурс на 5 курсе по истории древнего Рима читал Владимир Александрович Гольденберг. Этот спецкурс мы сдавали у него на квартире. Владимир Александрович был тяжело болен. Через некоторое время его не стало. К археологии нас приобщили Константин Эдуардович Гриневич и Борис Андреевич Шрамко. Кроме того в качестве специального курса нашей группе преподавался древнегреческий язык. Преподавала его Милица Сергеевна Лапина. Большое внимание здесь уделялось переводу на русский язык надписей, сохранившихся до наших дней на древнегреческих памятниках.

Кроме общих лекций, как и сейчас, были семинарские и практические занятия по общественным наукам и историческим дисциплинам.

На 1-м курсе, например, практические занятия по истории древнего мира проводились по законам Хаммурапи и «Илиаде» и «Одиссее» Гомера.

А кроме того в программе обучения были: военная подготовка, физическая культура, педагогическая и производственная, музейно-археологическая практики, летние военные лагеря после 2-го и 4-го курсов (в пос. Малиновка Чугуевского района Харьковской области и в Михайло-Коцюбинском районе Черниговской области), еженедельные политические занятия, зачеты и экзамены.

Незабываемыми стали практики. В частности, в июле 1954 года (3 курс) наша группа специализации (Б.В. Борисов, Е.А. Велигина, М.В. Воробьёва, В.Т. Жаднова, Б.П. Зайцев, В.И. Кадеев) проходила производственную ознакомительную практику под руководством доц. Б.А. Шрамко в археологическом заповеднике «Ольвия» (село Парутино Очаковского района Николаевской области) на месте древнегреческого города Ольвия. Было с нами несколько студентов других кафедр: Б.К. Мигаль, Ю.Л. Нестеренко и др. Посещение этого памятника древности оставило неизгладимое впечатление в моей памяти: мощные блоки, сохранившиеся до наших дней от крепостной стены, курганы Зевса, Евресивия и Ареты, многочисленные предметы хозяйственной деятель-

ности ольвиополитов, хранящиеся в музее заповедника, большие яйцевидные керамические сосуды для хранения зерна (пифосы) высотой более 1 метра у входа в музей и др. С тех пор у меня хранится, как сувенир, ольвийская денежная единица VI в. до н.э., бронзовый «дельфинчик», который я нашел во время прогулки по улочкам «мертвого» города.

Подготовка к занятиям, зачетам и экзаменам проходила, главным образом, в Центральной научной библиотеке университета (ул. Университетская) и в её учебном филиале на ул. Совнаркомовской, где находилась литература, которой пользовались студенты-историки в первые годы моей учебы в университете. Хотелось бы отметить, что мой номер читательского билета в ЦНБ (532) значит еще с 1950-х годов.

Важнейшую роль в подготовке играло написание курсовых и дипломных работ. Помню название первой и последней обязательных по учебному плану письменных работ. Курсовая работа на 1-м курсе называлась «Движение багаудов в Галлии» (консультант В.А. Гольденберг), дипломная работа — «Вооружение древнерусских воинов X-XIII вв.» (консультант Б.А. Шрамко).

Важное место в студенческой жизни отводилось общественной работе. Она занимала немало свободного времени. Комсомольские и профсоюзные собрания, культурно-массовые мероприятия, шефская работа, участие в субботниках и воскресниках и др. Ежегодные выезды осенью на сельскохозяйственные работы в сельскую местность, главным образом на уборку урожая, в колхозы и совхозы Харьковской и других областей Украины. Выезжали, как правило, на месяц. Занятия начинались в начале октября.

Естественно, студенческая жизнь не ограничивалась одной только учебной и общественной работой. Ведь мы были тогда все молодцы и, несмотря на нелегкое материальное положение большинства из нас, мы не жаловались на трудности и умели проводить интересно и весело свободное время. В студенческие годы увлекался танцами. На вечеринках с удовольствием танцевал с партнершами танго, вальсы, фокстроты. В то время эти танцы были популярны среди молодежи. Мелодии некоторых из этих музыкальных произведений хорошо помню и сегодня. Вот их названия: «Брызги шампанского», «Аргентинское танго», «На сопках Маньчжурии», «Амурские волны», «Вальс над волнами», «Осенний сон», «Вальс цветов», «Рио Рита». С каждой стипендии покупал 1–2 патефонные пластинки с записью вальсов и танго. Таким образом собрал небольшую коллекцию. К сожалению, эта коллекция у меня не сохранилась.

И так все пять лет учебы, которые оставили навсегда глубокий след в моей памяти.

Я окончил учебу в Харьковском университете в июне 1956 года. С тех пор и до настоящего времени моя жизнь и работа связаны с тем же историческим факультетом. Работал на кафедре древней истории и археологии, затем на кафедре историографии, источниковедения и археологии.

Я трудился и тружусь в коллективе, который «вывел меня в люди». И я ему искренне признателен. Особенно признателен коллективу кафедры историографии, источниковедения и археологии за ту благоприятную обстановку, которая способствовала и способствует творческой работе и стимулирует её.

5.03.2008 г.

Розділ VII

**Документи
та матеріали**

В.А. ФИЛИМОНОВ

**Н.И. КАРЕЕВ И В.П. БУЗЕСКУЛ:
МАТЕРИАЛЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ИСТОРИКОВ**

Продуктивная реконструкция интеллектуальной биографии историка немислима без анализа социокультурной среды, в рамках которой формируется и развивается его мировоззрение и протекает научная деятельность. При этом немаловажную роль играет выявление и фиксация коммуникативного пространства, составными элементами которого являются совокупность субъектов взаимоотношений, коммуникативные практики, ситуация (или ситуации), которую стремятся осмыслить и понять коммуниканты, а также мотивы, цели и результаты коммуникации.

Коммуникативное пространство выдающихся российских историков Николая Ивановича Кареева (1850—1931) и Владислава Петровича Бузескула (1858—1931) представляется поистине необозримым как по субъектам, так и по типам связей (личное знакомство, принадлежность к той или иной профессиональной, научной, общественной, политической или мировоззренческой корпорации, переписка, рецензирование, цитирование и т. д.). При этом линия Кареев—Бузескул не стала предметом специального изучения и нашей скромной задачей является реконструкция некоторых звеньев этой линии, так или иначе ускользнувших от пристального взгляда исследователей.

Известно, что на протяжении долгих лет историки были связаны узами крепкой дружбы. «Я вообще, — писал Кареев в своих воспоминаниях, — всегда искал случаев познакомиться с другими историками и всегда старался завязывать с ними добрые отношения, но только сравнительно с немногими устанавливались у меня более близкие отношения, ничем притом никогда не омрачавшиеся. К числу таких коллег принадлежит и Бузескул, знакомство с которым было сначала было заочное и поддерживалось только письмами, пока я не поехал в Харьков для прочтения публичной лекции ... и стали еще встречаться в Крыму, куда Бузескул и его жена ездили каждое лето» [1, с. 260—261]. Вспоминая об этом, Кареев, уже будучи в преклонном возрасте, посвятил своему коллеге акростих:

Благодарение судьбе,
Устроившей меж нами дружбу,
За столько лет, как на себе
Единую несем мы службу.
Сейчас же, как «Перикла» Вы
Красиво подали когда-то,
Учуял с первой же главы
Любезного я в Вас собрата [2, Ф. 980. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 2].

Перу Кареева принадлежат биографии Бузескула, написанные им для «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых» С.А. Венгерова [3, с. 158–160] и «Энциклопедического Словаря» Брокгауза и Ефрона [4, с. 328–329], бытность редактором исторического отдела которого, он активно привлекал харьковского историка к написанию статей для этой универсальной российской энциклопедии. Нам удалось обнаружить, по меньшей мере, 13 публикаций В.П. Бузескула в «Словаре». В письме от 25 января 1905 г. он писал ему в Харьков: «Статья об “Афинской политии” пришла в мое отсутствие, продолжавшееся одиннадцать дней [в это время Кареев был заключен в Петропавловскую крепость за попытку предотвратить кровопролитие 9 января. — В.Ф.], и только сегодня узнал, что кто-то другой написал то же по поручению Радлова [редактора философского отдела словаря. — В.Ф.]. Это с его стороны недоразумение. Сейчас же и ему, и Арсеньеву [один из главных редакторов. — В.Ф.] пишу, что именно Ваша, а не чья-нибудь другая статья должна быть напечатана в словаре...» [2, Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 91. Л. 23 об.]. В письме от 7 октября 1914 г. Кареев сообщал, что «статья о Фукидиде пришла вовремя, уже давно набрана и вероятно корректура ее в данный момент у Вас в руках» [5, Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 91. Л. 57].

В 1914 г. коллеги Бузескула по Харьковскому университету решили выпустить сборник по поводу 30-летия его научно-преподавательской деятельности. На предложение участвовать в нем откликнулся и Кареев, научные интересы которого в это время были сосредоточены на различных аспектах истории парижских секций во время Французской революции конца XVIII в. [5, с. 233–246].

Подводя итоги своей научной деятельности, и размышляя о том влиянии, которое оказал Кареев на его формирование как всеобщего историка, Бузескул отмечал: «Специалистом в области греческой истории я не сразу стал. Долгое время меня привлекали к себе иные эпохи, иные темы. Сначала — полная трагизма борьба против папства за права светской власти, за свободу совести и разума, особенно же гуситское движение. Потом, под влиянием Токвиля и особенно Н.И. Кареева, его книги “Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.”... и речи В.И. Герье “Понятие о власти и о народе в наказах

1789 г.», я увлекся французскими наказами депутатам в Генеральные штаты 1789 г.» [6, с. 6].

Следует сказать, что и Бузескул считал необходимым откликаться на труды своего почтенного коллеги. Его перу принадлежит рецензия на книгу «Выбор факультета и прохождение университетского курса» [7], специальные разделы в историографических работах. Так, в своем капитальном «Введении в историю Греции» Бузескул отмечал, что «Н.И. Кареев — специалист по новой истории, а не по древней; но это имеет и свою хорошую сторону: он мог взглянуть на историю древности со свежей, с иной и более широкой точки зрения; он мог пользоваться сравнительным методом, приводить много аналогий и делать сравнения» [8, с. 240].

Октябрьский переворот 1917 г. круто переменил упорядоченную жизнь относительно благополучных до того ученых. И Бузескул, и Кареев не покинули страну, а попытались найти свое место в послереволюционной сумятице. В 1925 г. к 75-летию Кареева Бузескулом была подготовлена большая статья для журнала «Анналы», которая тогда так и не была опубликована и лишь недавно увидела свет [9, с. 211—218; 2, Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 1—14]. Давая общую оценку научной работы Кареева, в том числе и его вклада в изучение истории греко-римского мира, Бузескул особо выделял типологические курсы по истории государственного быта, а среди них книгу «Монархии древнего Востока и греко-римского мира»: «На мой взгляд, — писал он, — из этой серии наибольший интерес представляет вторая книжка: в исторической литературе нет, кажется, другой книжки, которая была бы задумана по такому плану — проследить, что от монархий древнего Востока воспринято было эллини[сти]ческими царствами, а от последних — Римскою империєю» [9, с. 216]. Многие положения этой статьи впоследствии вошли в сводный труд Бузескула «Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века» [10, Ч. 1, с. 164—165; Ч. II, с. 188]. Эта же статья легла в основу записки-представления Н.И. Кареева в почетные члены АН СССР в 1930 г. [11, с. 701].

Последние годы жизни Кареева и Бузескула были омрачены жесткой идеологической «проработкой», которой оба историка (наряду с Е.В. Тарле, Д.М. Петрушевским, Р.Ю. Виппером и др.) были подвергнуты 18 октября 1930 г. на заседании методологической секции «Общества историков-марксистов», где были «выявлены» и осуждены взгляды «буржуазных историков Запада в СССР» [12, с. 41—86]. Эта несправедливая и надуманная критика самым пагубным образом сказалась на здоровье обоих ученых и привела к их преждевременной кончине в 1931 году (соответственно 18 февраля и 1 июня).

* * *

Публикуемые далее три письма Бузескула, адресованные Карееву, содержат отклик на изгнание последнего из Петербургского университета

осенью 1899 г. Чтобы было понятно, о чем идет речь, вкратце изложим фабулу этого события. Итак, как уже было сказано, в 1899 г. Н.И. Кареев «по высочайшему повелению» был выведен из состава профессоров Петербургского университета и Высших Женских курсов. Обстоятельства увольнения описаны и самим историком, и исследователями его творчества, во многом опирающимися на его собственные свидетельства [1, с. 203–209; 13, Л. 1–46; 14, с. 21–24; 15, с. 18–22]. Все позднейшие биографы, сходясь в одном: изгнание — следствие политической неблагонадежности историка. Так, Л.П. Лаптева, опираясь на архивные материалы, справедливо связывает увольнение профессора с его выступлениями в Совете университета «за смягчение и полную отмену наказаний», а также с подписанием письма министру народного просвещения, «содержавшее протест против полицейского произвола» [16, с. 92–93]. На это указывает и официальный документ — датированная 1911 г. записка заместителя министра внутренних дел министру народного просвещения Л.А. Кассо, в которой указано, что «Н.И. Кареев уже в течение многих лет принадлежит к либеральному лагерю ученых и литераторов; в бытность свою профессором Санкт-Петербургского университета он <...> пользовался среди неблагонадежной части учащихся особою популярностью, а в 1899 г. за активное участие в “обструкционном” студенческом движении он был устранен от чтения лекций в университете» [17. Ф. 733. Оп. 201. Д. 156. Л. 44].

Однако обращение к хранящемуся в архиве университетскому делу «О службе профессора Николая Кареева» дает нам основание полагать, что и для самого историка, и даже для университетского начальства, поступившее сверху требование уволить Кареева прозвучало как гром среди ясного неба. На этом фоне утверждение же о негативном отношении «профессора к государственному и общественному строю России» [18, с. 138], резкой оппозиции «Кареева к самодержавию» [19, с. 169] и «ненависти царского правительства к Н.И. Карееву» [14, с. 26] (несмотря на явную политическую подоплеку всего дела) как главной причине увольнения его из университета, выглядит явным преувеличением.

Студенческие волнения, стихийно начавшиеся 8 февраля 1899 г., были спровоцированы полицией и первоначально не носили политического характера*. Позиция, занятая Кареевым во время начавшихся беспорядков, хотя и могла в глазах начальства рисовать образ профессора-бунтовщика, объяснялась скорее здравым смыслом и обостренным чувством справед-

* В Петербургском филиале Архива РАН находятся копии свидетельских показаний об избииении полицией студентов в день ежегодного торжественного университетского акта [2, Ф. 39 (А.С. Фаминцын). Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 68–79]. Эти показания частично опубликованы См.: Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. II. Л., 1982. С. 171–172.

ливости, чем политическими пристрастиями* [20, Ф. 14. Оп. 2. Д. 1355. Л. 214, 218 об.]. Надо сказать, что в самый разгар событий (13 февраля 1899 г.) был подписан Высочайший указ о «пожаловании» Кареева орденом Владимира 3-й степени «по засвидетельствованию министра народного просвещения об отлично-усердной службе» [20, Ф. 14. Оп. 1. Л. 170], а 2 марта управляющий Петербургским учебным округом дал разрешение Карееву на летнюю заграничную командировку [20, Ф. 14. Оп. 1. Л. 166]. В это время университете начала работу специальная комиссия для расследования обстоятельств дела под руководством бывшего военного министра генерала П.С. Ванновского. Это, по словам Кареева, «успокоило большинство студентов, которое готово было приступить к занятиям» [1, с. 206].

Казалось, инцидент исчерпан и вплоть до летних каникул ученый, не испытывая особого беспокойства за последствия своего участия в этих событиях (его, в отличие от других, даже не вызвали для дачи показаний), исполнял посредническую миссию, пытаясь отговорить студентов от новой забастовки до окончания работы комиссии, а затем, когда занятия закончились, воспользовался полученным разрешением и отправился в заграничную поездку.

В это время в университетском «Деле Н.И. Кареева» появляется датированное 24 июля 1899 г. письмо управляющего Петербургским учебным округом Лаврентьева ректору университета с пометкой «конфиденциально»: «...имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство немедленно объявить профессору <...> Карееву, что г. министр народного просвещения не находит возможным дальнейшее оставление его на профессорском посту, указав при этом профессору Карееву, чтобы он в течение недели со времени получения им такого извещения обратился к своему начальству с просьбою об увольнении его в отставку, с предупреждением его, что в случае неисполнения настоящего предписания он будет уволен от службы без прошения» [20, Ф. 14. Оп. 1. Л. 171]. Через 2 дня ректор отправляет официальное письмо с этим требованием продолжающему пребывать в отпуске и ни о чем не подозревавшему Карееву. Его ответное письмо от 12 августа содержит отказ подать в отставку: «Принятие этого предложения было бы для меня равносильным признанию за собою какой-либо вины, а между тем не только мне не было предъявлено никаких обвинений, но я и сам не могу считать себя в чем-либо виноватым, поему мне остается только заявить, что я не могу согласиться на сделанное мне предложение» [20, Ф. 14. Оп. 1. Л. 174]. При этом Кареев рисковал,

* Судя по материалам, содержащимся в протоколах заседаний Совета университета, Кареев предлагал ходатайствовать о немедленном прекращении полицейских мер, смягчении наложенных взысканий и скорейшего возобновления занятий.

так как отказ подчиниться грозил увольнением по «третьему пункту» (без объяснения причин и с запретом исполнения государственной службы) и лишением права на выслуженную им еще в 1897 г. государственную пенсию. Однако уверенность в собственной невинности и надежда на то, что сложившуюся ситуацию следует считать не более чем недоразумением, заставляют его хлопотать и требовать объяснений. Товарищ министра просвещения Н.А. Зверев в личной беседе «глухо сослался на расследование генерала Ванновского» [1, с. 207], но последний специально пригласив к себе Кареева заявил что о нем «и речи во время дознания не было» [1, с. 208]. Приближалось время начала занятий, ситуация оставалась неясной, пока не появилось официальное письмо министра народного просвещения попечителю учебного округа за № 22760 от 21 сентября 1899 г., с резолюцией: «высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 12 текущего сентября, за № 66, ординарный профессор С.-Петербургского университета, доктор всеобщей истории, статский советник Кареев уволен от означенной должности с 1 сентября» [20, Ф. 14. Оп. 1. Л. 180].

В мемуарах историка горечь от несправедливого решения властей стерта временем (Кареев пишет о приезде к нему профессоров «с визитом соблезнования» [1, с. 209], хотя и тут отметим, что его увольнение «не встретило особого “протеста” у большинства “платоновцев”» * [21, с. 185]), однако, переписка этого периода показывает, сколь глубоки были переживания почтенного ученого, и сколь возмущена была научная корпорация произволом чиновников. В личном архиве историка мы находим письма с выражением сочувствия и поддержки, полученные от Е.В. Белявского [22, Ф. 119. П. 9. Ед. хр. 20–22], П.Г. Виноградова [22, Ф. 119. П. 46. Ед. хр. 79–80], А.А. Кизеветтера [22, Ф. 119. П. 10. Ед. хр. 16–17] и др. До глубины души возмущенный происходящими событиями А.С. Лаппо-Данилевский в августе 1899 г., писал жене из Киева с Археологического съезда: «У меня большое сомнение, оставаться ли в университете или выбираться из ловушки как бы нарочно устроенной не только для студентов, но и для профессоров» [2, Ф. 113. Оп. 3. Д. 10. Л. 65 об – 66; 23, с. 113].

Именно к этому времени относятся публикуемые ниже письма В.П. Бузескула, получившего известие об отставке Кареева «от очень надежных лиц» (скорее всего от Лаппо-Данилевского, на уже упомянутом съезде); он пишет о том, что долго «не верил самую возможность чего-

* Имеется в виду представитель Кружка русских историков во главе с С.Ф. Платоновым. В опубликованных письмах Платонова к В.С. Иконникову (от 31 августа 1899) и Н.М. Бубнову (от 1 сентября) лишь констатируется факт увольнения Кареева и обсуждается вопрос о замещении вакантной кафедры (См.: Академик С.Ф. Платонов. Переписка с историками. Т. I. Письма С.Ф. Платонова 1883–1930. М., 2003. С. 60–61).

либо подобного» (см. письмо 1), «все-таки я надеюсь на лучший исход дела <...> Ваши харьковские знакомые глубоко поражены всем произошедшим...» (см. письмо 2); «до последнего надеялся, что до этого дела не дойдет» (см. письмо 3). Сохранился ответ Кареева, датированный 26 сентября 1899 г., в котором он сообщил своему харьковскому адресату, что уже объявился преемник на «освободившееся» место — казанский профессор Э.Д. Grimm, который даже приходил «за советом»: с одной стороны, видите ли, можно проситься на места изгнанных своего учителя и старшего товарища (имеется в виду уволенный вместе с Кареевым И.М. Гревс. — В.Ф.), а с другой в Петербурге жить, чем в Казани <...> Оказалось потом, что и спрашивал он советы уже после того, как решил уже, что возьмет на себя наши лекции. Это одно из самых печальных впечатлений последнего месяца среди других невеселых впечатлений» [2, Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 91. Л. 10 об.].

Публикуемая ниже подборка — лишь небольшая часть переписки Бузескула с Кареевым, хранящейся в личном фонде Н.И. Кареева (ф. 119) в НИОР РГБ — всего коллекция насчитывает 23 письма (все датированы), написанных в период с 14 сентября 1897 г по 3 января 1931 г.* Для публикации нами подготовлены три письма, относящиеся к 1899 г., основной темой которых стали подробности изгнания Кареева из Петербургского университета. Публикация подготовлена в соответствии с правилами издания исторических документов. В квадратных скобках расшифровываются сокращения, добавляются необходимые по смыслу слова. Пояснения и уточнения даются в комментариях. Письма публикуются впервые, по правилам современной орфографии, с сохранением стилистических особенностей оригинала.

* * *

Вторая часть публикуемых далее материалов включает в себя подборку рецензий Кареева на книги Бузескула из различных изданий. Все они ни разу после этого не переиздавались, стали к настоящему времени библиографическими редкостями и представляют несомненный интерес, ибо анализ откликов на сочинения друг друга позволяет уточнить характер взаимоотношений ученых. Важность исследования подобного рода работ для более глубокого понимания сути творчества того или иного представителя культуры отмечал А.А. Кизеветтер, писавший, что «в критических отзывах каждого писателя о чужих произведениях всего лучше вскрывается его собственное... мировоззрение, руководящие мотивы его собственного творчества» [25, с. 252]. Кареев написал в общей сложности пять рецензий на работы Бузескула, четыре из них мы предлагаем сегодня читателям сборника.

* Письма советского периода приняты для публикации журналом «Исторический архив».

В 1903 г. рецензия Кареева, на только что вышедшее «Введение в историю Греции» была опубликована в журнале «Русская школа», а несколько ранее он писал Бузескулу: «Поздравляю Вас с окончанием Вашей прекрасной книги и несказанно благодарю за ее присылку. Книга получена третьего дня, и я успел много из нее прочесть. В апреле Вы получите и мой политехнический курс «Государство-город», который почти весь набран» [2, Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 91. Л. 18.]. Следующую работу Бузескул написал по совету именно Кареева: «Я очень советую Вам, — писал ему Кареев в Харьков 28 апреля 1907 г., — издать книгу об афинской демократии, наперед предсказывая ей большой успех» [2, Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 91. Л. 24.]. В 1909 году «История афинской демократии» увидела свет, и в этом же году Кареев опубликовал два отзыва — краткий в «Русских ведомостях» [26] и развернутый — в специализированном антиковедческом журнале «Гермес» [27]. Две следующие рецензии на книги Бузескула невелики по объему и имеют характер скорее библиографических заметок [28; 29, с. 83]. Особо стоит сказать о последней публикуемой нами рецензии — на I-й том книги Бузескула «Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века» (Л., 1929). Она появилась в 1931 г. в январско-апрельской книжке «Revue historique»*, т. е. уже после смерти Кареева и незадолго до смерти Бузескула. Мы, к сожалению, не можем определить, успел ли Бузескул ознакомиться с ней или нет. После учиненного историками-марксистами идеологического погрома (в вину критикуемым вменялась, в том числе и публикация разных материалов за рубежом), лица, получавшие литературу из-за границы попадали под особое подозрение. Однако как бы то ни было, эта публикация — последний прижизненный отклик на труд Бузескула.

Смеем надеяться, что предлагаемые читателям материалы к характеристике взаимоотношений В.П. Бузескула и Н.И. Кареева, позволят пролить новый свет на малоизученные страницы научных биографий историков и, таким образом, станут дополнительным стимулом обращения к творческому наследию этих выдающихся представителей отечественной исторической науки.

* «Revue historique» — французский исторический журнал, основанный в 1876 г. Габриэлем Моно, а затем после его смерти, выходявший под редакцией Шарля Бемона и Луи Эйсенмана.

ПИСЬМА В.П. БУЗЕСКУЛА Н.И. КАРЕЕВУ, 1899.

— 1 —

Харьков, 1899, 24 августа.

Многоуважаемый Николай Иванович!

Только что получил Ваше письмо от 18 авг[уста] — с печальными вестями... О Вашей отставке* я слышал еще в Киеве, где был на съезде**. Но хотя это известие исходило от очень надежных лиц, я все-таки не верил ему, не верил в самую возможность чего-либо подобного и утешал себя тем, что это какое-нибудь недоразумение. Теперь из Вашего письма вижу, что это — правда. Называли также И.М. Гревса***, которому тоже грозит увольнение. Неужели и это правда?! Пожалуйста, сообщите о дальнейшем и о судьбе И.М. Гревса. Нам толкуют о необходимости авторитета по отношению к студентам, об общении и сближении с ними (об этом мы слышали не далее, как сегодня из уст нашего попечителя ф[он] Анрепа****). Неужели же такие меры, как гонения на профессоров, как удаление наиболее популярных и талантливых из них, могут способствовать поддержанию профессорского авторитета? Я всегда с радостью принимался за обычные занятия в начале академического года, но теперь встречаю начало года в самом тяжелом, подавленном настроении: нет охоты приниматься за чтение лекций, тоскливо и противно...

Жду от Вас известий. Питаю надежду, может быть легкомысленную, что дело как-нибудь уладится. Во всяком случае, не откажите сообщить Ваш последний адрес.

Искренне преданный и глубоко сочувствующий

Ваш В. Бузескул.

P.S. Хотел узнать от Вас о «Вестнике всемирной истории»****, который, как я читал в киевских газетах будет издаваться в Петербурге, но о котором

* В 1899 г. Н.И. Кареев «по высочайшему повелению» был выведен из числа профессоров Петербургского университета и Высших женских (Бестужевских) курсов. Подробнее см. вступит. ст.

** XI Археологический съезд проходил в августе 1899 г. в Киеве. Подробнее см.: Труды Археологического съезда в Киеве, 1899 г. Т. I—II. М., 1901—1902.

*** Гревс Иван Михайлович (1860—1941) — российский историк, профессор Петербургского (Ленинградского) университета и Высших женских курсов. Помимо историков Кареева и Гревса из университета были изгнаны юрист М.И. Свешников, экономист М.И. Туган-Барановский и др.

**** Анреп Василий Константинович (1852—1927) — государственный и общественный деятель, профессор судебной медицины. В 1899—1902 гг. попечитель Харьковского и Петербургского учебных округов.

***** «Вестник Всемирной истории» — ежемесячный политический и исторический журнал, издавался в СПб. с 1899 г. С 1903 г. — под названием «Всемирный вестник».

в Киеве никто ничего не мог мне сообщить; но теперь не решаюсь беспокоить Вас подобными вопросами.

(НИОР РГБ. Ф. 119. Оп. 9. Ед. хр. 68. Лл. 1–2.)

— 2 —

Харьков, 1899, 8 сентября.

Многоуважаемый Николай Иванович!

Спасибо за письмо. Чем дальше, тем больше удивляюсь: прочел в газетах список прекративших чтение лекций в Петербургском университете: да это целый мартиролог! Особенно меня поразило то, что в числе прекративших — Батюшков*. И до чего же это дойдет? И это «профессорское» министерство**. Для кафедры всеобщей истории в Петербурге настоящий погром. А все-таки я продолжаю надеяться на лучший исход дела для Вас, многоуважаемый Николай Иванович, от души желаю и надеюсь, что Вы не забудете дать весть о себе

Уважающему Вас и сердечно преданному В. Бузескулу.

Ваши харьковские знакомые глубоко поражены всем происшедшим и шлют Вам свой искренний привет, — в их числе в особенности моя жена.

Какая непоследовательность нашего министерства! Как примирить его меры и, например, назначение к нам Анрепа (если только он не переменялся со времени своей профессуры в Харькове) и проф. Лагермарка** — ректором. В последние годы Лагермарк стоял как бы в стороне, в оппозиции; это человек старых университетских традиций. Многие из нас очень рады его назначению, но не могут скрыть своего удивления.

Крепко жму Вашу руку

Ваш В. Бузескул.

(НИОР РГБ. Ф. 119. Оп. 9. Ед. хр. 69. Лл. 3-4)

* Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920) — российский филолог, профессор Петербургского университета.

** Бузескул имеет в виду министерство народного просвещения, которое в 1898—1901 гг. возглавлял Н.П. Боголепов (1847—1901), профессор римского права Петербургского университета. На «профессорское министерство» возлагались определенные надежды по либерализации высшего образования в России. В своих воспоминаниях Кареев писал: «Компания Ковалевского сумела произвести Боголепова в ректоры как наиболее умеренного из не их среды, но жестоко ошиблась: Боголепов сделался самым «законопослушным» ректором, а потом попочителем и министром» [1, с. 143].

*** Лагермарк Герман Иванович (1843—1907) — профессор химии, в 1899—1901 гг. ректор Харьковского университета.

Харьков, 1899, 22 сентября.

Многоуважаемый Николай Иванович!

Прочел в газетах касающийся Вас приказ и не могу не выразить своего глубокого сочувствия Вам, а вместе с и удивление, несмотря на то, что был достаточно подготовлен к подобному известию. Но я до последнего момента все надеялся, что до этого дела не дойдет. Теперь же утешаю себя мыслью, что быть может Вы остаетесь профессором в Александровском Лицее^{*}? Надеяться на это дает мне некоторое право выражения приказа, что Вы увольняетесь от «должности» профессора Петерб[ургского] унив[ерситета] (а не «от службы» вообще), и затем соображение, что во времена, подобные ныне переживаемым, генералы (а директором Лицея состоит, кажется, генерал?^{**}) и вообще другие ведомства оказываются обыкновенно более просвещенными и более либеральными, нежели мин[истерство] нар[одного] просвещ[ения]^{***}. Вывод еще со времен Рунича^{****} и Магницкого^{*****} — нигде реакция не сказывалась так ярко, как в ведомстве «народн[ого] просвещения».

* Александровский лицей — закрытое высшее учебное заведение для детей дворян в 1811—1917 близ Санкт-Петербурга (до 1844 Царскосельский лицей). Кареев преподавал в Александровском лицее в 1885—1907 гг.

** Бузескул не ошибается. Директором Александровского Лицея в это время действительно был генерал Ф.А. Фельдман (1835—1902). Именно он и попечитель Лицея, тоже генерал, Н.А. Протасов-Бахметев были инициаторами оставления Кареева в Лицее: «...генерал сказал мне, — вспоминал Кареев, — что Лицея это распоряжение совершенно не касается» [1, с. 208]. Такая ситуация объясняется тем, что Лицей был в ведении не министерства народного просвещения, а Собственной Его Императорского Величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии.

*** Любопытно замечание Кареева по этому поводу, сделанное им много позже: «Судьбе было угодно, чтобы в моем изгнании из университета участвовали трое моих коллег [кроме Боголепова еще товарищ министра профессор энциклопедии и истории философии права Н.А. Зверев и попечитель Петербургского округа профессор математики Н.Я. Сонин — В.Ф.], тогда как два военных генерала (Фельдман и Протасов-Бахметев) оставили меня читать лекции в Лицее» [1, с. 209] .

**** Рунич Дмитрий Павлович (1780—1860) — российский государственный деятель. Бузескул имеет в виду деятельность Рунича на посту попечителя Петербургского учебного округа, когда тот, усмотрев в лекциях профессоров Галича, Раупаха, Германа и Арсеньева «противохристианскую проповедь» и принципы, вредные для монархической власти, учинил над ними суд (1821), окончившийся увольнением названных профессоров.

***** Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855) — российский государственный деятель. Посланный в 1819 г. в качестве ревизора с правами попечителя в Казань учинил подлинный разгром местного университета, уволив более десятка прогрессивных профессоров.

Моя жена — и не одни только Ваши знакомые — шлют Вам свой привет и искренние слова сочувствия.

Уважающий Вас и преданный

В. Бузескул.

P.S. Я слышал, будто преемник Вам и И.М. Гревсу, найден в лице прив[ат]-доцента Гримма?!

(НИОР РГБ. Ф. 119. Оп. 9. Ед. хр. 70. Лл. 5–6)

РЕЦЕНЗИИ Н.И. КАРЕЕВА НА КНИГИ В.П. БУЗЕСКУЛА

Кареев Н.И. [Рец. на кн.:] Проф. В. Бузескул. Введение в историю Греции. Харьков. 1903 // Русская школа. 1903. № 7–8. С. 12 – 13.

В основу этой книги легли лекции, читанные автором в Харьковском университете, равно как разные статьи историографического характера, помещавшиеся в течение нескольких лет в специальных журналах. Это третий большой (более 500 страниц) труд проф. Бузескула: первыми двумя — в области той же греческой истории — были его две прекрасные диссертации, доставившие своему автору почетную известность в ученом мире. Первая из них была посвящена Периклу (1889) [30] и, к сожалению, давно уже не существует в продаже, другая, названная «Афинская полития Аристотеля, как источник для истории государственного строя Афин» (1895) [31]. Новая книга, о которой мы теперь говорим, выросла из введения, которое проф. Бузескул думал сначала предпослать общему курсу по истории Греции, но которое по мере обработки само потребовало большой книги. И неудивительно: за последние десятилетия, благодаря отчасти новым материалам, отчасти новым точкам зрения и вообще прогрессу исторической науки, история Греции подверглась весьма значительной переработке, и весьма естественно, что у такого специалиста в области греческой истории, каким является проф. Бузескул, должно явиться желание более обстоятельным образом познакомить образованную публику с состоянием изучаемой им науки в настоящее время, — предприятие, которое не могло не требовать большой книги. Труд проф. Бузескула разделяется на два больших отдела — «обзор источников» и «очерк разработки греческой истории в XIX веке», причем первый занимает страниц около трехсот, второй остальные с небольшим двести. В первой части главное место принадлежит критическим характеристикам древнегреческих историков, во второй дается превосходный обзор всей

* Гримм Эрвин Давидович (1870–1940) — российский историк приват-доцент Казанского и профессор, а впоследствии и ректор (1911–1918) Петербургского университета.

истории изучения древнегреческого мира в истекшем столетии. Особенное внимание обращают на себя параграфы о развитии эпиграфики и о раскопках в 70—80-х годах, об открытиях следующего десятилетия и первых годов XX в. и о новейших трудах Белоха*, Эдуарда Мейера**, Пельмана*** и друг[их]. Автор вполне стоит на высоте понимания основных задач исторической науки, и читатель найдет в его книге вообще, и на последних полтораста ее страницах в особенности, много для себя поучительного. Между прочим, в книге говорится и об отражении на новейшей исторической литературе, посвященной древней Греции, разных современных направлений, касающихся теоретического понимания истории. В заключение остается пожелать, чтобы русская историческая наука обогатилась и самой историей Греции, в изучение которой нас вводит прекрасный труд проф. Бузескула. Автор обладает и громадными знаниями, и строго научным направлением, и способностью интересно излагать свой предмет

Н. Кареев

Кареев Н.И. [Рец. на кн.:] В. Бузескул. История афинской демократии. СПб., 1909 // Гермес. 1909. № 6. С. 241 — 243.

Профессор Харьковского университета В.П. Бузескул слишком известен, как специалист в области греческой истории вообще и афинской в частности, для того, чтобы его новая книга нуждалась в особой рекомендации. Уже первая его книга о Перикле, вышедшая в свет двадцать лет тому назад (1889) и бывшая его магистерской диссертацией, обратила на своего автора внимание историков и классиков, как на весьма знающего и талантливую ученого. Читающая публика тоже надлежащим образом оценила этот труд: издание быстро разошлось, нужно только жалеть, что оно не было повторено, так что интересующимся личностью и эпохой Перикла приходится обращаться, например, к не очень, на мой взгляд, важному переводному сочинению Гранта**** (М., 1905). Заслуженную репутацию приобрела и докторская диссертация проф. Бузескула «Афинская полития Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин», изданная в 1895 г., т. е. вскоре после того, как был найден названный историко-политический трактат великого Стагирита. Конечно

* Белох (Beloch) Карл Юлиус (1854—1929) — немецкий историк-антиковед.

** Мейер (Mejer) Эдуард (1855—1930) — немецкий историк-антиковед.

*** Пельман (Pflhmann) Роберт фон (1852—1914) — немецкий историк, профессор Мюнхенского университета.

**** Грант (Grant) Артур Джеймс (1862—1948) — английский историк, профессор университета в Лидсе. Кареев имеет в виду его книгу «Greece in the age of Pericles» (London, 1904). Рус. пер.: Грант А.Дж. Греция в век Перикла. М., 1905.

эта работа проф. Бузескула по своему специальному характеру не могла найти такого большого круга читателей, какой был у «Перикла», но зато следующий труд уважаемого автора — «Введение в историю Греции», очень скоро по выходе в свет потребовал второго издания и теперь печатается в чешском переводе. «История афинской демократии», написанная человеком, у которого уже есть три капитальных труда по истории, главным образом Афин, конечно, в виду только что сказанного не нуждается в рекомендации. Выход этой книги должен быть, однако, отмечен, как очень важный, по принятому выражению, вклад в сокровищницу исторической науки. По желанию редакции почтенного органа, в котором появляется моя заметка, я согласился ее написать исключительно в виде приветствия новому труду В.П. Бузескула и ради того, чтобы о нем поскорее могли узнать все, кто может им заинтересоваться. В качестве неспециалиста по древней истории я, конечно, не могу оценить «Историю афинской демократии» во всех подробностях, но с точки зрения общеисторической я все-таки позволил бы себе подчеркнуть то, что особенно ценно в новом труде уважаемого автора. Не может подлежать сомнению совершенная самостоятельность работы проф. Бузескула, но, предназначая свою книгу не столько для специалистов, сколько для более широкого круга читателей, — между прочим, и для учащейся молодежи, — автор очень хорошо делает, что воздерживается от сколько-нибудь рискованных гипотез, которые обыкновенному читателю или студенту трудно было бы отличить от того, что можно считать более или менее прочно установленным в науке. Другая симпатичная черта книги — ее объективно-научный тон. Стремлением автора было «изобразить афинскую демократию такою, какою она была в действительности, с ее светлыми и темными сторонами, не черня ее и не идеализируя ее». К сожалению и в настоящее время аргументами от античной демократии пользуются для сведения счетов с теми или другими политическими течениями современности. Проф. Бузескул, конечно, далек от такого ненаучного приема, как с другой стороны, далек от довольно-таки распространенной теперь модернизации древности. Это, однако, не значит, чтобы у проф. Бузескула был только антикварный интерес к древности. Напротив того, он считает античный мир близким и понятным, имеющим немало аналогий со средневековою и новою историей: он только предостерегает от возможных на этой почве увлечений. Наконец, имея дело с афинской демократией, как с политической формой, т. е. как с известным строем, учреждениями, автор не упускает из виду и «среду, воззрения, настроения», говорит не об одной политике, социологической стороне предмета, но и о стороне психологической, духовной культуре, общественной идеологии. Другими словами, его книга — весьма полная внутренняя история Афин в эпоху развития в них демократии. Не давая литературы, что не входило в его задачу, автор широко, тем не менее, пользовался литературным материалом для характеристики среды. Введением к истории Афин

служит у проф. Бузескула общий взгляд на ход греческой истории с VIII по VI в. до Р.Х. (с. 1–26), сама же история Афин излагается в IV главах с обозначающими их названиями: «Начало» (до клисфеновых реформ включительно), «Расцвет» (от греко-персидских войн до начала Пелопоннесской войны), «Кризис» (до смерти Сократа) и «Упадок» (до конца самостоятельности Афин). Большая часть книги, как и подобает, занята двумя средними главами, из 420 страниц на их долю вышло около двух третей. Архитектонической стройности целого вполне соответствует простота, легкость и ясность изложения. проф. Бузескул сознательно не загромождал своего труда научным аппаратом, мало уместным в книге для большой публики. Это особенно нужно подчеркнуть, чтобы широкие круги знали, с какого рода чтением они могут иметь дело, взяв в руки книгу проф. Бузескула, к которой, прибавим, любителей изящного может привлечь и самая внешность издания. Цена книжки (2 р. 50 коп. за тридцать листов) не может быть признана высокою, особенно в виду внешних достоинств издания.

Н. Кареев

Кареев Н.И. [Рец. на кн.:] Проф. В. Бузескул. Исторические этюды. СПб., 1910 // Русские ведомости. 1910. № 234. 12 октября. С. 5*.

Проф. В.П. Бузескулу пришла благая мысль собрать и издать некоторые свои статьи, которые в свое время печатались в разных журналах и газетах. Главная специальность автора этих статей, как известно, — история древней Греции, и некоторые из перепечатанных теперь [этюдов] относятся именно к этой научной области, но есть в сборнике статьи, касающиеся средних веков и нового времени. Между прочим, отдельные [этюды] посвящены характеристике выдающихся западноевропейских историков, каковы Ранке^{**}, Зибель^{***}, Сорель^{****}, а из русских ученых проф. Бузескулом сочувственно отмечены Лунин^{*****} («Харьковский Грановский», как озаглавлена

* В заголовок заметки вкрались опечатки: вместо «этюды» стоит «эпизоды» и год выхода книги обозначен как 1911.

** Ранке (Ranke) Леопольд (1795–1886) — знаменитый немецкий историк, профессор в Берлине.

*** Зибель (Sybel) Генрих (1817–1895) — немецкий историк, профессор в Бонне, Марбурге, Мюнхене и Берлине.

**** Сорель (Sorel) Альбер (1842–1906) — французский историк, академик, профессор дипломатической истории в парижской Ecole des sciences politiques.

***** Лунин Михаил Михайлович (1809–1844) — профессор всеобщей истории Харьковского университета.

статья о нем), Корелин^{****} («профессор-гуманист») и недавно скончавшийся харьковский профессор Амф[иан] Степ[анович] Лебедев^{*****}. Интерес представляет и статья «Из истории Харьковского университета при действии устава 1884 г.» В приложении автор перепечатал и недавнюю заметку, помещенную в специальном издании на тему: «К какому времени года относятся похождения Чичикова в первом томе «Мертвых душ»?» Сборник издан очень изящно и цену его нельзя назвать высокой.

Н. Кареев

Кареев Н.И. [Рец. на кн.:] Проф. В. Бузескул. Афинская демократия. Общий очерк. Харьков. 1920 // Педагогическая мысль. 1922. № 1–2. С. 83.

Небольшая (208 стр.) книжка проф. Бузескула представляет собою сокращенное в целях популяризации, изложение большого научного труда, действительно, очень популярное, а потому весьма пригодное для школы и для самообразования. Имя автора, крупного специалиста в своей области и талантливого популяризатора, служит лучшей рекомендацией для нового его труда. Во введении к нему, автор дает обобщенную характеристику перехода греков от монархии к демократии, а самую историю последней в Афинах делит на периоды начала (до конца персидских войн), расцвета (до начала Пелопоннесской войны), кризиса (до восстановления демократии после тирании тридцати) и упадка (до конца самостоятельности Афин). В заключительной главе подведены общие итоги.

Н.И. Кареев

* Корелин Михаил Сергеевич (1855–1899) — российский историк, профессор Московского университета.

** Лебедев Амфиан Степанович (1832–1910) — юрист, профессор Харьковского университета по кафедре церковной истории.

N. Karéiev. [Рец. на кн.:] V. Buzeskul. Vseobsčaja Istorija i jeje predstaviteli v Rossii v XIX i v načale XX v. [L'histoire universelle et ses représentants en Russie au XIX^e et au commencement du XX^e siècle]. Leningrad, 1929 // Revue historique. Paris, 1931. T. 166. Janvier-Avril. P. 370–371.

La littérature historique russe est trop ignorée hors de son pays, d'abord parce que la langue russe n'est pas assez répandue à l'étranger, et que les historiens russes se soucient médiocrement d'y faire connaître leur production scientifique, ensuite parce que nous n'avons pas assez d'ouvrages sur le développement de la pensée historique russe, surtout dans le domaine de l'histoire étrangère, tandis qu'ils abondent sur cette histoire même. Parmi les professeurs d'histoire de nos universités, les uns s'occupent exclusivement du passé national, les autres de celui des autres peuples, tant anciens que modernes. A cette division correspond la distinction de deux doctorats, en histoire russe et en histoire universelle; d'où il est résulté que les thèses sur le passé des différentes nations européennes sont nombreuses.

M. V. Buzeskul, académicien, ancien professeur d'histoire universelle à l'Université de Karkhov, a eu récemment l'heureuse idée de donner un tableau général des études faites en Russie dans ce vaste domaine de l'histoire étrangère. Habituellement, dit-il dans sa préface, nous connaissons peu et nous apprécions peu les travaux de nos savants, alors que leur contribution au trésor de la science dans certains domaines et sur certaines questions est beaucoup plus grande qu'il ne paraît au premier coup d'œil. Parmi ces domaines, il faut compter plusieurs parties de l'histoire universelle. Il lui a apparu qu'il était temps de résumer le travail accompli, de montrer quelles ont été les voies et les directions suivies chez nous dans l'étude de l'histoire universelle, quels ont été les travailleurs et ce qu'ils ont fait. Il cite ce mot de feu Vinogradov, bien connu dans tout l'Occident, que l'histoire universelle peut et doit être une science russe par excellence, car les Russes ont encore moins que les autres peuples le droit de s'isoler dans leur culture nationale. De son côté, il constate que les historiens «universels» de Russie se sont toujours tenus à l'écart des luttes de l'Occident, luttes de partis, de classes, de nations, de confessions, ce qui leur permet de demeurer impartiaux dans leur jugement historique, et d'ouvrir, sur plusieurs questions, des vues nouvelles.

Son ouvrage doit avoir trois volumes. Le premier, le seul paru jusqu'ici, se divise en cinq chapitres: 1, Le commencement des études byzantines (du milieu du XVIII^e siècle jusqu'au milieu du XIX^e). 2, Le commencement des études sur le monde slave (milieu du XIX^e siècle). 3, Les débuts des études sur l'Europe occidentale et sur le monde antique. 4, Les études d'histoire étrangère dans les années soixante-dix et quatre-vingt du XIX^e siècle. 5, La fin du XIX^e siècle, moment où la science de l'histoire universelle entre en Russie dans l'époque de son développement complet. C'est l'étude de l'histoire de l'Europe occidentale qui intéresse surtout l'auteur dans ce volume, les premiers byzantinistes ayant été plutôt philologues qu'historiens.

Le second volume contiendra une revue des travaux russes sur le monde antique et l'Occident européen depuis la fin du siècle passé, et le troisième donnera un tableau général des études byzantines et slaves à partir des années soixante-dix du siècle passé.

N. Karéiev.

Перевод

Русская историческая литература мало известна за пределами своей страны, прежде всего, потому что русский язык не достаточно распространен за границей, а сами русские историки мало заботятся о том, чтобы ознакомить Запад со своей научной продукцией. У нас недостаточно трудов о развитии русской исторической мысли, главным образом, в области зарубежной истории, тогда как в изобилии труды по самой этой истории. Среди профессоров истории наших университетов, одни занимаются исключительно национальным прошлым, другие изучением истории других народов, как древних, так и современных. Этому делению соответствует различие двух докторских степеней, по русской и по всеобщей истории; откуда следует, что диссертации о прошлом различных европейских наций у нас многочисленны.

Академику, профессору всеобщей истории Харьковского университета В. Бузескулу, недавно пришла в голову благая мысль дать общую картину успехов, сделанных в России в пространной области зарубежной истории. Обыкновенно, говорит он в своем предисловии, мы мало знаем и мало ценим труды наших ученых, между тем доля, которая внесена ими в общую сокровищницу науки в некоторых областях и по некоторым вопросам, гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. К числу таких областей, принадлежат и некоторые отделы всеобщей истории. Ему представилось, что настала пора подвести итог прошедшей работе, взглянуть, какими путями, и в каком направлении шли у нас изучение и разработка всеобщей истории, что и кем сделано. Он цитирует слова очень известного на всем Западе покойного [П.Г.] Виноградова*, что именно всеобщая история должна быть русской наукой, так как русские имеют еще менее права уединяться в своей национальной культуре, чем другие народы. Со своей стороны, он констатирует, что российские «универсальные» историки стояли все же дальше от той борьбы партийной, классовой, национальной, вероисповедной, которую переживал Запад, что позволяло им оставаться беспристрастными в своем историческом суждении, и открывать новый взгляд на некоторые вопросы.

Этот труд должен выйти в трех томах. Первый, единственный, из пока появившихся, разделяется на пять глав: 1. Начало научного византиноведения (с середины XVIII в. до середины XIX в.). 2. Начало изучения славянского мира (середина XIX в.). 3. Начало изучения истории Западной Европ и древнего мира. 4. Изучение всеобщей истории в 70–80 гг. XIX в. 5. Конец XIX в., момент, когда наука всеобщей истории в России вступает в стадию своего полного развития. Именно изучение истории Западной

* Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) – российский историк, академик, профессор Московского и Оксфордского университетов.

Европы главным образом интересует автора в этом томе, ибо первые византинисты, были скорее филологами, чем историками.

Второй том будет содержать обзор русских работ по древнему миру и европейскому Западу с конца прошлого века, и в третьем будет дана общая картина изучения Византии и славянского мира, начиная с 70-х гг. прошлого столетия.

Н. Кареев.

(Авториз. пер. с фр. В.А. Филимонова)

Литература

1. *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. Л., 1990.
2. *Петербургский филиал архива РАН (ПФ АРАН).*
3. *Кареев Н.И.* Бузескул В.П. [Обзор научных трудов] // Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. VI. СПб., 1897–1904.
4. *Кареев Н.И.* Бузескул Владислав Петрович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1905. Т. 1 (доп.).
5. *Кареев Н.И.* Было ли парижское восстание 13 вандемьера роялистическим? // Сборник статей в честь проф. В.П. Бузескула. Харьков, 1914. С. 233–246. Отд. отт.: Харьков, тип. «Печатное дело». 16 с.
6. *Бузескул В.П.* Речь в ответ на приветствия и доклады в заседании научно-исследовательской кафедры истории европейской культуры 1 апреля 1928 г. // Наукові записки. Праці науково-дослідної кафедри історії європейської культури. Вип. 3. Харків, 1929.
7. *Бузескул В.П.* [Рец на кн.:] Кареев Н.И. Выбор факультета и прохождение университетского курса. // Харьковские губернские ведомости. 1897. № 93. 9 апреля.
8. *Бузескул В.П.* Краткое введение в историю Греции. Харьков, 1910.
9. *Бузескул В.П.* О научных трудах Н.И. Кареева (по поводу его 75-летия) [1925] / Публ., предисл. и прим. В.А. Филимонова // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. 2004. Вып. 5.
10. *Бузескул В.П.* Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX в. Ч. I. Л., 1929. С. 164–165; Ч. II. Л., 1931.
11. *В общее собрание Академии наук.* [Представление в почетные члены Академии наук Н.И. Кареева] // Известия АН СССР. Отд. физ.-мат. наук, 1928. № 8–10.
12. *Буржуазные историки Запада в СССР* (Тарле, Петрушевский, Кареев, Бузескул и другие) // Историк-марксист. 1931. Т. 21.
13. *Кареев Н.И.* Мое изгнание из профессоров университета // НИОР РГБ. Ф. 119. П. 44. Д. 14.
14. *Золотарев В.П.* Историческая концепция Н.И. Кареева. Л., 1988.

15. *Золотарев В.П.* Историк Николай Иванович Кареев и его воспоминания «Прожитое и пережитое» // Кареев Н.И. Прожитое и пережитое.
16. *Лантева Л.П.* Русский историк Н.И. Кареев (1850–1931) и его взаимоотношения с политическими режимами // Проблемы славяноведения. Вып. 2. Брянск, 2000.
17. РГИА.
18. *Золотарев В.П.* Николай Иванович Кареев (1850–1931) // Новая и новейшая история. 1992. № 4.
19. «Многие его взгляды отразились и на моих исторических высказываниях». Письмо Н.И. Кареева в редакцию “Малой советской энциклопедии” о его отношении к марксизму / Подг. В.П. Золотарев // Исторический архив. 2002. № 6.
20. ЦГИА СПб.
21. *Ростовцев Е.А.* Н.И. Кареев в среде историков Петербургской школы // Николай Иванович Кареев: человек, ученый, общественный деятель. Сыктывкар, 2002.
22. НИОР РГБ.
23. *Ростовцев Е.А.* Н.И. Кареев и А.С. Лаппо-Данилевский: из истории взаимоотношений в среде петербургских ученых на рубеже XIX–XX вв. // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3. № 4.
24. *Кизеветтер А.А.* На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881–1914. М., 1997.
25. *Петербургский филиал Архива РАН (ПФ АРАН).*
26. *Русские ведомости.* 1909. № 21. 27 января.
27. *Кареев Н.И.* [Рец. на кн.:] В. Бузескул. История афинской демократии. СПб., 1909 // Гермес. 1909. № 6.
28. *Кареев Н.И.* [Рец. на кн.:] Проф. В. Бузескул. Исторические этюды. СПб., 1910 // Русские ведомости. 1910. № 234. 12 октября и наст. сб.
29. [Рец. на кн.:] Проф. В. Бузескул. Афинская демократия. Общий очерк. Харьков, 1920 // Педагогическая мысль. 1922. № 1–2.
30. *Бузескул В.П.* Перикл. Историко-критический этюд. Харьков, 1889.
31. *Бузескул В.П.* Афинская полития Аристотеля, как источник для истории государственного строя Афин до конца V в. Харьков, 1895.

Розділ VIII

Рецензії

В.В. ПЕТРОВСЬКИЙ

РЕЦЕНЗІЯ

(на кн.: Л. Зашкільняк Сучасна світова історіографія: посібник для студентів історичних спеціальностей університетів. — Львів: ПАІС, 2007. — 312 с.)

Про значення історіографічної підготовки майбутнього фахівця-історика написано й сказано чимало. Втім, навряд чи цю тему можна вважати вичерпаною. По-перше, історіографічні курси досі сприймаються як неосновні і дійсно часто-густо віднесені до так званих «ненормативних» курсів в навчальних планах історичних факультетів. По-друге, питання «яку історіографію і кому читати» залишається актуальним.

У зв'язку із цим, безперечно подією не лише фахової освіти, а й наукового життя став навчальний посібник для студентів університетів Л.О. Зашкільняка «Сучасна світова історіографія», який вийшов друком у 2007 р. у видавництві «ПАІС».

Л.О. Зашкільняк — знаний український історіограф, автор цікавих і змістовних наукових праць та навчальних посібників. Серед останніх справжніми бестселерами стали його посібники з методології, які фактично також виконують функцію підручників з історіографії, бо чітко й послідовно подають по суті історіографічний матеріал.

«Сучасну світову історіографію» не можна не вітати вже тому, що автор наважився заповнити ту лакуну, яка характеризується словом «сучасна». Без перебільшення взятися за таке завдання як «подати студентам та фахівцям систематизовану інформацію про сучасний стан і тенденції еволюції світової історичної думки та історіографії» сьогодні в Україні наважитися не кожен, а, відверто кажучи, якщо й наважитися, — навряд чи виконає його. Л.О. Зашкільняк блискуче впорався із цією нелегкою задачею.

Цілком слушно він розпочав виклад матеріалу з визначення об'єкту, предмету, методів і термінологічного апарату історіографії. Окремий розділ присвячено загальній характеристиці історіографічного процесу з найдавніших часів до середини ХХ ст. Основна ж частина тексту обіймає другу половину ХХ ст. і початку ХХІ ст. і присвячена характеристиці методологічних та тематичних здобутків і проблем провідних історіографій світу, насамперед Європейських країн та США, а також Центрально-Східної Європи, Китаю, Японії та Африки.

Вже у вступі автор зазначив, що він не претендує на те, щоби матеріал посібника вичерпав термін «світова історіографія», своє завдання він окреслив так: «сформувати уявлення про провідні тенденції історичних студій в світі, їх відомих виконавців та пізнавальні здобутки». Дійсно, завдяки цьому посібнику можна не лише з'ясувати перебіг подій в розвитку історичної науки за останні 50 років, а й побачити основні тенденції, оцінити розмаїття методологічних підходів, розібратися в нових наукових напрямках.

Посібник супроводжується уривками з праць видатних істориків сучасності, які мають «ілюструвати» певні проблеми, а також списком літератури, який дає можливість, при бажанні, поглибити свої знання.

Звичайно, як і будь-яка подібна праця, цей посібник має свої певні «плюси» та «мінуси». У даному випадку серед останніх – стиль викладення матеріалу, який тяжіє до наукового (хоча такий підхід можна й прийняти, якщо зважити на ту обставину, що посібник розраховано на магістрів), а також надто дрібний шрифт цитат, які до того ж в деяких випадках вельми розлогі (можливо, це ще раз актуалізує проблему необхідності історіографічної антології*).

Книга примушує замислитися й над деякими загальними проблемами. Зокрема, що стосується фахової підготовки істориків, то вважаємо за необхідне зазначити, що в Харківському університеті на рівні бакалаврів читається курс «Основи історіографії» (програма опублікована в останньому випуску «Харківського історіографічного збірника»), який дає загальні уявлення про історіографію як наукову дисципліну, має на меті сформувати навички історіографічного аналізу, дати розуміння певних тенденцій в розвитку історичної науки. Такий курс, на нашу думку, є необхідним вже на початковому етапі прилучення до наукової творчості (що й має бути одним із важливіших завдань університетської освіти). Тобто ми переконані, що «Сучасна світова історіографія» (на рівні магістра) має йти у спарингу із курсом «Основи історіографії» (на рівні бакалавра).

З наукової точки зору також можна висловити певні застереження чи міркування. Так, вважаємо недостатньо обґрунтованою тезу про сучасну світову історіографію як наукову дисципліну, бо виникає запитання: а чим в предметному плані відрізняється від самої «історіографії», якщо ж останню бачити як синтетичну наукову дисципліну (щось на зразок джерелознавства) то виникає питання про інші суб-дисципліни. Також дещо штучним виглядає розташування російської історіографії в одному ряду з польською та чеською.

Втім, висловлені міркування є лише свідченням того, що книга не залишила нас байдужими. Поринання у царину світової історіографії, без перебільшення, породжує бажання шукати й знаходити, принаймні вільно висловлювати свої думки. За що ми ще раз дякуємо авторів.

* Цей момент примушує згадати ідею «історіографічного трикутника» (підручник/посібник – антологія – термінологічний словник), яка декілька разів висловлювалася на «Астаховських читаннях».

С.И. ПОСОХОВ

ИСТОРИОГРАФИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

(рец. на кн.: Попова Т.Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета. – Одесса: Астропринт, 2007. – 536 с.)

*«Историография – это способ
самопознания и самоидентификации
историка и самой Исторической науки»
(Т.Н. Попова)*

Изложить свои впечатления о новой работе Татьяны Николаевны Поповой и легко, и сложно. Легко, потому что многолетнее общение позволяет лучше понять автора. Т.Н. Попова неоднократно выступала на «Астаховских чтениях», опубликовала немало статей в «Харьковском историографическом сборнике» (частью они вошли в монографию в качестве ее составных частей). Многие проблемы, озвученные в книге, были обсуждаемы с ней в живом общении. И все же, быть рецензентом данного труда нелегко. Книга начинается с вопросов и вопросами заканчивается. Как истинный историограф, Татьяна Николаевна далека от категоричности, она не склонна утверждать, она склонна размышлять. Соответственно, на читателя возлагается функция собеседника. Отсюда эти «экскурсы», «ремарки». В ходе этой «беседы» идет поиск ответов на вопросы о том, что такое историография, как объяснить перипетии ее истории, что ждет ее в будущем. Конечно, эта книга не для «среднего читателя», и потому высказывать свое мнение о ней сродни своего рода претензии на понимание. Но работа наполнена множеством смыслов, она не однопланова. Убежден, что ее захочется перечитать еще не раз, и каждый раз будет найден новый смысл. И все же, наберусь смелости.

Обращает на себя внимание тот факт, что, уже исходя из структуры, книга состоит как бы из двух частей: проблемы теории историографии и история исторической науки в Новороссийском университете. Причем эти две «части» сплетены между собой так, что через какое-то время начинаешь понимать органичность этого процесса. Это что-то сродни художественному творчеству, когда яркие, подчас контрастные цвета, соединяются в гармоничную картину. Как не вспомнить здесь знаменитые

слова: «Суша теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Автор книги словно хочет сказать, что за абстракциями — жизнь реальных людей, а «рефлексия» — это не только мнения о «них», но и о «нас».

Теоретический «раздел» монографии наполнен разнообразным материалом. Вообще мы привыкли к тому, что «тексты Поповой» всегда теоретически нагружены, но сведенные воедино, они приобрели новое звучание. Прежде всего, обращают на себя внимание терминологические сюжеты. В ряде случаев они вполне самостоятельны. Такие понятия как «историографический процесс», «институционализация историографии», «историографические модели», «социокультурный контекст», «научное сообщество», «научная дисциплина» и другие показаны как интеллектуальные конструкции, имеющие немалую познавательную ценность. Т.Н. Попова поясняет как возникло понятие, приводит варианты его интерпретации, заставляет задуматься о его применении в историографической практике. Безусловно, науковедческий подход зачастую предопределяет этот взгляд, но разве историография в одной из своих ипостасей не является, по сути, науковедческой дисциплиной? Особую ценность, по нашему мнению, представляют те страницы, где автор ведет речь об историографических методах и предлагает определенного рода «образцы»: варианты институционального анализа (С. 143–145) или модели биоисториографического анализа (498–503). На наш взгляд, проблема историографических методов сегодня стоит как никогда остро, именно в совершенствовании методов — магистральный путь дальнейшего развития историографии.

Собственно «исторический раздел» состоит из двух частей: в первой идет речь о «проблемно-дисциплинарной структуре исторических исследований» в Новороссийском университете, во второй — анализируются судьбы выдающихся ученых-историков (А.И. Маркевича, П.М. Бицилли, Е.Н. Щепкина, В.Э. Круссмана). Как уже было сказано, это раздел не «провисает», он увязан с остальным материалом. Новороссийский университет умело вплетается в сюжеты, связанные с появлением и развитием историографии как учебной и научной дисциплины. Он вполне соответствует тезису о том, что «процесс «дисциплинизации» всегда имеет не только конкретно-временную окраску, но и регионально-национальную» (С. 166). По ходу изложения конкретного, например биографического, материала автор высказывает общие небезынтересные суждения о проблемах историографической классификации (направления, течения, школы), типичных чертах украинской историографии и т.п. В конечном итоге, этот «раздел» воочию демонстрирует нам, что такое «специфика социокультурной ситуации». Данная часть текста написана с привлечением широкого круга источников, написана ярко и увлекательно. Читая этот «раздел» поневоле задумываешься об университетских традициях, о связи «учитель-ученик», о прошлом и будущем.

Конечно, некоторые положения, высказанные в книге, не бесспорны (об «образах» и «моделях», об историографическом анализе сквозь «призму культурного кода нации» и некоторые другие), но, в данном случае, спорить не хочется, хочется размышлять...

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Богдашина Олена Миколаївна — канд. іст. наук, доц., докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Болебрух Анатолій Григорович — д-р іст. наук, професор кафедри історіографії та джерелознавства історичного факультету Дніпропетровського національного університету

Булигіна Тамара Олександрівна — д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри історії Росії Ставропольського державного університету

Голубкін Юрій Олексійович — канд. іст. наук, доц. кафедри стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Журба Олег Іванович — д-р іст. наук, доц., завідувач кафедри історіографії та джерелознавства історичного факультету Дніпропетровського національного університету

Зайцев Борис Петрович — канд. іст. наук, доц., ст. наук. співробітник історичного факультету, заслужений викладач Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Колесник Ірина Іванівна — д-р іст. наук, проф., провідний науковий співробітник відділу української історіографії та спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України

Король Ганна Іллівна - аспірантка кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету

Куделко Сергій Михайлович — канд. іст. наук, проф. кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Ліман Сергій Іванович — канд. іст. наук, доц. Харківської державної академії культури

Малиновська Наталя Михайлівна — наук. співробітник Харківського історичного музею

Маловичко Сергій Іванович — д-р іст. наук, завідувач кафедри історії Російського державного аграрного університету — МСГА імені К. А. Тимирязєва

Матяш Ірина Борисівна — д-р іст. наук, проф., директор Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Медреш Євген Валентинович — директор гімназії «Очаг» (м. Харків), експерт Українського Центру оцінювання якості освіти

Михальченко Сергій Іванович — д-р іст. наук, проф., директор Центру слов'янознавства, проректор з наукової роботи Брянського державного університету ім. І. Г. Петровського

Мохначова Марина Петрівна — д-р іст. наук, проф. Історико-архівного інституту Російського державного гуманітарного університету

Орлов Ігор Борисович — д-р іст. наук, проф. кафедри загальної та вітчизняної історії Державного університету — «Вища школа економіки» (м. Москва)

Петровський Володимир Володимирович — д-р іст. наук, проф. кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Пікалов Валерій Григорович — доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Попова Тетяна Миколаївна — канд. іст. наук, проф. кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова

Посохов Сергій Іванович — д-р іст. наук, проф., завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Посохова Людмила Юріївна — канд. іст. наук, доц., докторант кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Руднев Михайло Альбертович — канд. іст. наук, доц. кафедри історіографії та джерелознавства історичного факультету Дніпропетровського національного університету

Сальникова Алла Аркадіївна — д-р іст. наук, проф., завідувач кафедри історіографії Казанського державного університету

Сінкевич Євген Григорович — канд. іст. наук, проф. кафедри міжнародних відносин та закордонної політики Миколаївського державного гуманітарного університету, ст. наук. співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Чернов Євген Абрамович — ст. викладач кафедри історіографії та джерелознавства історичного факультету Дніпропетровського національного університету

Філімонов Володимир Альбертович — канд. іст. наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Сиктивкарського державного університету

Зміст

Розділ I ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ

<i>Болебрух А. Г.</i> История истории: муки повторной самоидентификации ..	4
<i>Журба О.І., Чернов Є.А.</i> Функція історіографії в сучасному пізнавальному просторі	15
<i>Колесник І. І.</i> «Міждисциплінарність» як концепт	23
<i>Маловичко С.И.</i> «Измельчение» исторической науки: актуальные историографические практики	35
<i>Попова Т.Н.</i> Историография в поисках своего обновления	44

Розділ II НОВІ НАПРЯМКИ ТА КАТЕГОРІЇ

<i>Матяш І.Б.</i> Архівна україніка: зміст поняття та відображення в канадській і українській історіографії	62
<i>Мохначева М.П.</i> О диалоге культур историографических практик в современном интеллектуальном пространстве: мысли вслух участника первого Всероссийского съезда историков- регионоведов	75
<i>Орлов И.Б.</i> Человек в историческом пространстве и времени: антропологизация истории и/или историзация антропологии?	86
<i>Сальникова А.А.</i> Детство и гендер — две вещи несовместные?: К вопросу о соотношении некоторых категорий исторического анализа	95

Розділ III ІСТОРІЯ ІСТОРІЇ

<i>Богдашина О.М.</i> Про міжпредметні зв'язки та методологічні основи історичної науки в Україні у другій половині XIX ст. — на початку XX ст.	106
<i>Булыгина Т.А.</i> Традиции и новации изучения социально-гуманитарных наук в советской историографии 50-х — начала 80-х годов	114
<i>Король Г.І.</i> В.Г. Сарбей і проблеми біографістики: до 80-річчя вченого	123

<i>Пикалов В.Г., Куделко С.М.</i> Судьба одной книги (К 50-летию учебника В.И. Астахова «Курс лекций по русской историографии»)	129
<i>Синкевич Є.Г.</i> Проблеми біографістики в польській історичній науці (на прикладі Краківської історичної школи)	136

Розділ IV ПРОБЛЕМНА ІСТОРІОГРАФІЯ

<i>Голубкин Ю. А.</i> Дискуссия о «раннем» Лютере и его «озарении в башне»	144
<i>Лиман С.И.</i> Кирилло-мефодиевская проблема в научном наследии И. В. Платонова (1803–1890)	154
<i>Михальченко С.И.М.В.</i> Довнар-Запольский об образовании и государственном устройстве Великого княжества Литовского	164
<i>Руднев М.А.</i> «Крестьянский вопрос» в предреформенной России в научно-идеологических кампаниях конца 1920-х – 1930-х годов (Н.М. Дружинин contra М.Н. Покровский)	173

Розділ V ІСТОРІЧНА ОСВІТА

<i>Малиновська Н.М.</i> А.П. Ковалівський як історик-викладач	184
<i>Медреш Е.В.</i> Как изучают всемирную историю американские школьники: опыт академической компаративистики	191
<i>Посохова Л.Ю.</i> «Что браху, что оставляху?»: викладання історії в православних колегіумах України в XVIII ст.	203

Розділ VI СПОГАДИ

<i>Зайцев Б.П.</i> Незабываемое	218
---------------------------------------	-----

Розділ VII ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

<i>Филимонов В.А.</i> Н.И. Кареев и В.П. Бузескул: материалы к характеристике взаимоотношений историков	230
---	-----

Розділ VIII
РЕЦЕНЗІЇ

<i>Петровський В.В.</i> Рецензія	252
<i>Посохов С.И.</i> Историография вчера, сегодня, завтра	254
Відомості про авторів	257

Наукове видання

Харківський історіографічний збірник

Випуск 9

В авторській редакції
Комп'ютерна верстка *І. С. Кордюк*

Підписано до друку 12.05.2008. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Ум. друк. арк. 15,23. Обл.-вид. арк.19,5. Наклад 300 пр.

Видавництво
Народної української академії
Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.